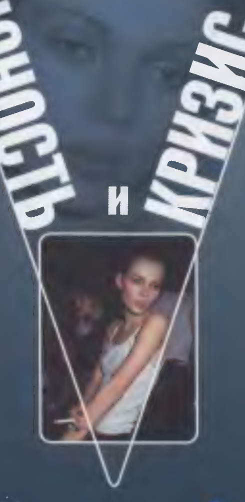
Э. Эриксон

ИДЕНТИЧНОСТЬ: ЮНОСТЬ И КРИЗИС



МПСИ  ПРОГРЕСС  ФЛИНТА

УДК 316.6
ББК 88.5
Э77

Переводчики:
Андреева А.Д. (гл. 4), *Прихожан А.М.* (гл. 5, 6),
Ривош В.И. (гл. 1, 2, 7, 8),
Толстых Н.Н. (гл. 1, 2, 3, 7, 8)

Эриксон Э.

Э77 Идентичность : юность и кризис : пер. с англ. / Э. Эриксон ; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. — 2-е изд. — М. : Флинта : МПСИ : Прогресс, 2006. — 352 с. — (Библиотека зарубежной психологии).

ISBN 5-89349-860-7 (Флинта)
ISBN 5-89502-952-3 (МПСИ)
ISBN 5-01-004772-1 (Прогресс)

Данная книга посвящена проблемам юношеского возраста, связанным с социальным становлением личности. Анализируя основные аспекты юношеского кризиса идентичности, автор прослеживает индивидуальные жизненные циклы, последовательность поколений и структуру общества. В традициях неофрейдизма Эриксон ищет истоки судьбы отдельной личности в особенностях ее жизнедеятельности на ранних этапах жизни.

Для студентов и преподавателей психологических и социологических факультетов вузов, а также всех интересующихся данной проблематикой.

УДК 316.6
ББК 88.5

ISBN 5-89349-860-7 (Флинта)
ISBN 5-89502-952-3 (МПСИ)
ISBN 5-01-004772-1 (Прогресс)

Неизвестный классик

Жанр предисловия оставляет не так уж много возможностей для вольностей и фантазий. Глупо пересказывать содержание того, что, собственно, предстоит прочитать читателю на последующих страницах, еще глупее это последующее критиковать или восхвалять. Разумнее всего подготовить читателя к восприятию содержания книги через рассказ о том, что за человек был ее автор и каков тот контекст — исторический, научный, библиографический, — в котором эту книгу следует воспринимать. Этим я и займусь, оставив прочие побуждения (например, развивать какие-то размышления автора или с ними поспорить) для более приличествующего случая.

Начать все-таки придется с того, что Эрик Эриксон долгое время был знаком поколениям советских психологов и интересующейся психологией публике под пресловутой рубрикой «Критика современных буржуазных теорий». Именно так, в предвзятом пересказе с непременной уничтожительной разборкой, советский читатель имел возможность познакомиться с идеями крупнейшего ученого XX века. Для цензуры Эриксон, несомненно, являлся ярким представителем того «направления» в научной литературе, которое получило емкое название «спецхран», знакомиться с содержанием коего можно было только самым доверенным, только самым проверенным, только «критикам идей». А среди последних нередко встречались персонажи, разделявшие «методологию» одного сталинского философа-академика, прославившегося высказыванием: «Я не могу читать Гегеля, я могу только его критиковать!»

Впрочем, оставим эти прелести «зоологической» эпохи в нашем общении с современной западной научной классикой своему времени и порадуемся возможности встре-

титься не только с мыслителями прошлого, но и современниками, встретиться без дурных посредников, не в пересказе, а в полноте авторского текста.

Думаю, что разворошу не ложную интригу, задавшись вопросом: почему труды Эриксона шли к нашему читателю дольше всего и труднее всего? Именно так: уже давно опубликовано практически все, что было ранее запрещено. Сегодня в России сочинения Солженицына купить легче, чем Горького, продавщицы книжных магазинов легко оперируют именем Хосе Ортеги-и-Гассета, а труды многострадального Фрейда (в коих после клейма пансексуализма, которым его наградили упомянутые выше «критики», массы могли ожидать едва ли не образцы порнографии) пылятся на книжных развалах, являя собой такое сугубо капиталистическое явление, как перепроизводство товара. В этой ситуации, когда издано практически все и никто не забыт и ничто не забыто (вплоть до последнего полуграмотного эмигранта и начинающего «антисоветчика»), Эриксон на русском языке практически не существует (отдельные статьи, препринты, рефераты не в счет). Почему? Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что разгадка этой «тайны» весьма проста и ее позволяет извлечь самый примитивный из подходов — комплексный. Здесь всего понемножку и все одновременно: конечно, Эриксон не Фрейд (не та слава, в том числе и скандальная); личность его (Эриксона) хотя и известная в ученых кругах, но не легендарная; политически нейтрален — ни вашим, ни нашим; область занятий (психология жизненного цикла человека) для отечественной психологии традиционно периферийная и малоизученная (все ограничивалось детской психологией); нет ни одного влиятельного соотечественника (ученого или издателя), который бы захотел сделать Эриксону то, что называется на языке шоу-бизнеса promotion; к тому же уже немного «объелись» их классикой, вспомнили, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». В общем, как я уже сказал, комплексный подход ясно указывает, что причина непоявления Эриксона на своем законном месте на полке переводной психологической классики прозаическая: не судьба. С судьбой нельзя бороться, но можно поспорить: Эрик Эриксон — живой и

нужный персонаж нынешнего психологического театра. Без него не обойдешься. Попытаюсь это показать.

XX век — век жестокий и прагматичный — склонен к весьма жесткому редактированию классических сюжетов: будучи внебрачным сыном матери-еврейки и неизвестного отца-датчанина, маленький Эрик (родился 15 июня 1902 г.) вряд ли мог рассчитывать на мелодраматический сценарий своей жизни в жанре авантюрного романа (как, например, Филдингов Том Джонс, найденыш). Скорее он был обречен на борьбу за выживание в непростой истории Германии начала века, отмеченной революциями и войнами. Забегая вперед и справедливости ради заметим, что и идея happy end'а также является придумкой нашего века и жизненный путь маленького бастарда окончился куда счастливее версии английского повесы эсквайра, упомянутого выше Тома Джонса, а именно: всемирным признанием в номинации выдающихся психологов современности.

Выжить малютке Эрику помог некто Хомбургер (про которого в анналах упоминается лишь то, что был он педиатром и евреем), женившийся на его матери и усыновивший мальчика. Именно с этой фамилией — Хомбургер — Эрик прожил первые тридцать лет своей жизни.

Первую четверть своей жизни Эрик вовсе не планировал стать профессиональным психологом. В двадцать пять лет — в возрасте весьма зрелом — мы находим его художником, специализирующимся на детских портретах. Случайное знакомство с Анной Фрейд, которая заинтересовала его детским психоанализом, решило судьбу ученого. Он начинает работать преподавателем рисования в детской школе Анны Фрейд, а с 1927 г. Эрик Хомбургер участвует в семинарах Венской школы.

В 1933 г. молодой человек получил диплом школы Венского психоаналитического общества. Некоторое время занимался проблемами детского психоанализа под руководством Анны Фрейд.

В том же году Эрик эмигрировал в США. Он поступил так же, как сотни тысяч европейских евреев, спасавшихся от преследований нацистов. Однако у Эрика были весьма непростые отношения к своему этническому и религиозному происхождению, и переезд в Америку оказывается

отмеченным характерным поступком (особенно для человека, бо́льшую часть своей жизни занимавшегося проблемой идентичности): он меняет фамилию. Память о неизвестном отце, видимо, обусловила нордическое звучание — Эриксон, хотя психологически более интересно, что за основу фамилии взято собственное имя (Эрик Эриксон — буквально: Эрик, сын Эрика, т.е. сын самого себя), и это явно не случайность, а, похоже, разборчивая подпись под гамбургским счетом всей предыдущей жизни. Впрочем, в этом вопросе, судя по творческому наследию Эриксона, и особенно по автобиографическим рассказам, на протяжении всей жизни он, остро и даже противоречиво ощущал, с одной стороны, свои еврейские и нордические корни, а с другой — без колебаний принял христианское вероисповедание и подчеркнуто относился к христианской этике. Ниже нам еще придется убедиться в том, что поиск личностью своей идентичности — процесс весьма непростой и неоднозначный. Кстати, особая эмоциональная заряженность текстов Эриксона, а порой и их пристрастность свидетельствуют о том, что проблема поиска человеком своей психосоциальной идентичности была для него не только теоретической научной задачей, но и, говоря более близким нам психологическим языком, «задачей на смысл», несла моменты глубоко личностные.

Судя по всему, у Эриксона в Штатах не возникало проблем со своей профессиональной идентичностью (что, заметим в скобках, является одной из главных проблем эмигрантов): он — психолог, детский психолог, психоаналитик фрейдовской школы, благо последняя в тогдашней Америке была весьма модной. Это подтверждается послужным списком престижных университетов и интересных проектов, с которыми связано имя Эрика Эриксона.

Итак, он занимался психоаналитической практикой. Преподавал в университетах. В 30-х годах был связан с Гарвардской психологической клиникой (исследования по игровому анализу). В 1937 г. перешел в Йельский институт человеческих отношений, изучал (вместе с антропологом Микелем) индейские резервации племени сиу в Южной Дакоте и племени юроков, обитающих на берегах реки Кламани, впадающей в Тихий океан. Собранный в этих исследованиях материал послужит в дальнейшем Эриксону базой для неоднократного обсуждения вопроса

о детерминации индивидуальной идентичности исторической идентичностью своей социальной группы, других проблем коллективной и этнической идентичности.

Во время войны (1940–1945) провел ряд исследований по заказу Пентагона — изучал психологию подводников, особые заболевания военных (в терминологии тех лет — «военный невроз»). Отметим особо, что именно в этих исследованиях была впервые выдвинута идея идентичности. В военные же годы Эриксон опубликовал аналитическую статью о роли образа Гитлера для немецкой молодежи.

После войны Эриксон занимается в основном психологией и психотерапией детского и юношеского возраста. Он сотрудничает с Институтом человеческого развития Университета Беркли (Калифорния) и в 50-х годах — с Остин Риггз Центром в Беркшире. В 1950 г. публикует книгу «Детство и общество» («Childhood & Society»), ставшую психологическим бестселлером, с которой начинается пересмотр Эриксоном некоторых установок классического фрейдизма и оформление учения об идентичности. Эта книга на долгие годы стала одним из самых распространенных и выбираемых учебников по детской психологии среди американского студенчества.

В 1958 г. выходит из печати книга Эриксона «Молодой Лютер» («Young Man Luther»), ставшая первым опытом применения психоисторического метода и датой рождения созданной им психоистории, продолженной книгой «Истина Ганди» («Gandhi's Truth», 1969) и другими работами. Книга о Ганди принесла Эриксону приз Пулитцера и Национальную премию США — награды более чем престижные.

Факты, изложенные в предыдущем абзаце, стоит кратко прокомментировать. Не следует путать психоисторию с психобиографией — методом психологического анализа биографий и личностей конкретных лиц и соответствующим ему жанром жизнеописаний, уделяющим особое внимание психическим факторам жизни людей. Особую роль в становлении психобиографии сыграли осуществленные Фрейдом «патографические исследования» жизни и личности Леонардо да Винчи, Вудро Вильсона, Федора Михайловича Достоевского и др. Вслед за Фрейдом в русской школе психоанализа аналогичные исследования лич-

ности и творчества Александра Сергеевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя осуществил профессор Ермаков. Под влиянием «патографических исследований» основатель психоистории Эриксон и провел свои психобиографические (психоисторические) исследования жизни и личности Мартина Лютера, Махатмы Ганди, Максима Горького, Франциска Ассизского и др.

С 1960 г. Э. Эриксон, профессор Гарвардского университета, читает авторский курс «Цикл человеческой жизни» в Гарварде.

С середины 70-х годов — почетный профессор Гарвардского университета.

Умер Эрик Эриксон 12 мая 1994 г. в Гарвиче, Массачусетс, о чем «New York Times» сообщила в некрологе 13 мая 1994 г.

«Официально», т.е. по принятой в советские времена системе маркирования персоналий принадлежностью к научному направлению («позитивист», «экзистенциалист» и т.д.) и «заслуживаемому» рангу («великий», «выдающийся», «известный» и пр.), Эриксон классифицировался как «представитель социологического направления в неофрейдизме» — без приличествующей классику приставочки в виде определяющего прилагательного. Надо сказать, что наше «западоведение» Эриксона особо не жаловало — в официальные советские «who is who» (энциклопедии, словари и пр.) он не попадал, а был предметом всевозможных «разборов» — диссертационных, «статейных», «монографических» и т.д., где опять же преимущественно упоминался в ряду других «представителей».

К Эриксону эта глуповатая манера разложить все по полочкам, расставить по порядку и снабдить разъяснительными ярлычками подходит еще хуже, чем к другим. Конечно, трудно скрыто то, что он начинал свой научный путь во фрейдовской школе, впитал и сохранил до конца своей творческой деятельности психоаналитическую терминологию, многие ключевые принципы теоретической и клинической работы. Бесспорно, многое скажет понимающему читателю указание на принадлежность к «эго-психологии» и внимание к социологическому методу. Однако при этом в стороне останутся другие ипостаси эриксонов-

ской личности и присущего ему исследовательского стиля: Эриксон-этнограф, Эриксон-историк, Эриксон-биограф, Эриксон-литератор, Эриксон-политолог и т.д.

В этом месиве ярлыков и определений не может потеряться факт генетической близости Эриксона к фрейдизму и неофрейдизму, который выглядит весьма тривиально после упоминания уроков, взятых им в Венской психоаналитической школе. Безусловно также влияние Анны Фрейд на образ мыслей молодого Эриксона, ибо именно она в отличие от энтузиастов социологизированного фрейдизма Карен Хорни, Эрика Фромма и Гарри Салливена пролагает путь модификации классического фрейдизма не за счет введения новых теоретических конструктов и постулатов вместо наиболее сомнительных, но за счет уточнения структурных аспектов ортодоксального фрейдизма, в частности путем придания «я» более автономного отношения к Оно. Я, конечно, имею в виду прежде всего «"я" и механизмы защиты» Анны Фрейд, из которой возникла вся последующая «эго-психология».

Эго-психологи сосредоточились на анализе строения личности (на материале детского психоанализа и исследований личностной проблематики с акцентом на вопросы развития и адаптации личности, автономии, свободы и особенности функционирования «я», взаимодействия «я» и влечений), и именно в этом направлении проходит обсуждение вопросов об общих механизмах психического развития ребенка. Помимо самой Анны Фрейд и Эрика Эриксона, заслуживает упоминания в этом контексте Гейнц Гартман. Впрочем, для читавшего работы Анны Фрейд, Эриксона и Гартмана ясна не только их генетическая близость, но и бросающиеся в глаза различия. Другими словами, как я уже сказал, и этот ярлычок нам мало что дает для понимания фигуры Эрика Эриксона и особенностей его работ, хотя постепенно, в том числе и благодаря примериваемым определениям, вырисовывается контекст — научный и человеческий, — в котором восприятие Эриксона наиболее адекватно.

Однако есть резон спрямить наш рассказ и перейти к изложению сердцевины того, что́ является в работах Эриксона самым сокровенным и, собственно, и является его вкладом в мировую психологию. Здесь просто: мы гово-

рим «Эриксон» — слышится «идентичность». Пора объяснить, что́ означает этот иноязычный термин.

Идентичность, просто говоря, — это тождественность человека самому себе. Однако простота такого определения лукава и даже «хуже воровства» (по известной русской пословице), ибо «эта тождественность самому себе» для человека — первый вопрос и главная загадка, не только пределы, но и сами координаты и параметры обсуждения которых обыкновенно не даны человеку сами по себе. И ищет он то, что на языке гегелевской тарабарщины называется «дух-в-себе-и-для-себя», прежде всего через призму личного опыта взросления и становления развитым человеком (личностью), помноженного на индивидуальный интеллектуальный коэффициент и открытость интуитивному постижению знаний.

Говоря строже, понятие идентичности обозначает твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным «я» независимо от изменений «я» и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития. Идентичность — это прежде всего показатель зрелой (взрослой) личности, истоки и тайны организации которой скрыты, однако, на предшествующих стадиях онтогенеза.

Становление идентичности Эриксон описывает как развивающуюся конфигурацию, которая постепенно складывается в детстве путем последовательных «я-синтезов» и перекристаллизаций. Это такая конфигурация, в которую интегрируется конституционная предрасположенность, особенности либидных потребностей, предпочитаемые способности, важные идентификации, действенные защитные механизмы, успешные сублимации и осуществляющиеся роли.

Эриксон построил оригинальную схему развития человека на протяжении всей жизни, положив в основу «эпигенетический принцип» (отсюда его периодизация жизненного пути и получила название «эпигенетической»). Термин «эпигенез» заимствован из биологии (в которую его ввел еще в 1651 г. знаменитый английский врач Харви Уильям Гарвей). Эпигенез — это учение о зародышевом развитии организма как процессе, осуществляемом путем

последовательных новообразований в противовес признанию в половых клетках и зачатках зародыша изначального многообразия структур. Перенося данный принцип на психологию жизненного пути человека, Эриксон выступает против всевозможных разновидностей идеи преформизма в психологии, против грубости рефлекторной теории поведения, а также любых других фаталистских, механистических схем. При этом Эриксон весьма изящно уходит от тупиковой логики теории «двух факторов» (биологического и социального), включая взросление в фундаментальный биологический контекст.

Согласно Эриксону, человек на протяжении жизни переживает ряд психосоциальных кризисов. Сам по себе этот подход неоригинален и не отличается от взглядов, господствующих в том числе и в отечественной психологии (Лев Семенович Выготский, Даниил Борисович Эльконин и др.). Более того, если вы подвергнете сравнению периодизацию возрастов по Эриксону, то вы с удивлением заметите, что она буквально совпадает с десятком подобных схем (по датировкам кризисных годов, например). Однако не стоит заблуждаться — перед нами абсолютно оригинальная исследовательская разработка.

Надо обратить внимание читателя на таблицу (см. гл. III), в которую Эриксон свел определенные им этапы жизни. Над таблицей он работал более 20 лет, публикуя ее при этом трижды, каждый раз внося существенные изменения. Итак, Эриксон выделяет восемь стадий развития идентичности, на каждой из которых человек делает (должен сделать!) выбор между двумя альтернативными фазами решения возрастных и ситуативных задач развития. Характер выбора сказывается на всей последующей жизни в смысле ее успешности и неуспешности.

На первой стадии, которую он в верность своим фрейдистским основам называет орально-сенсорной (или инкорпоративной, вбирающей), младенец решает фундаментальный вопрос всей своей последующей жизни — доверяет он окружающему его миру или не доверяет. Естественно, решается этот вопрос о базовом доверии к миру не в дискурсивно-логическом плане, а в общении ребенка со взрослым и контакте со средой своего обитания через впитывание звуков, цветов, света, тепла и холода, пищи, улыбок и жестов и т.д. В полном согласии с идеями оте-

чественной психологии (например, Майи Ивановны Лисиной и др.) и устоявшейся точкой зрения в других психологических теориях и направлениях Эриксон указывает на ключевую роль матери в положительном решении задачи возраста (формировании базового доверия к миру). При этом оригинальность его подхода состоит в том, что критерием сформированности доверия к миру он считает способность ребенка спокойно переносить исчезновение матери из поля зрения.

Прогрессирующая автономность младенца (прежде всего способность передвигаться — ползком, а позже — шагом, и развитие речи, манипулятивных способностей и пр.) позволяет ребенку перейти к решению второй жизненной задачи — обретению самостоятельности (альтернативный/негативный вариант — неуверенность в себе, стыдливость, непрерывные сомнения [18 мес. — 4 года]). Если взрослые сверхтребовательны к ребенку или, напротив, спешат сделать за него то, что ему под силу сделать самому, то у него развиваются стыдливость и нерешительность. Когда ребенка ругают за запачканные штаны или разбитую чашку, то это также вклад в развитие чувства стыда и неуверенности в себе. В этом возрасте ребенок интериоризирует то, что удачно названо Эриксоном «глазами мира», т.е. то, что́ видят в нем люди.

Третья стадия [4 года — 6 лет] называется Эриксоном локомоторно-генитальной, или эдиповой. Здесь решается альтернатива между инициативой и чувством вины. В этом возрасте расширяется пространство жизнедеятельности ребенка, он начинает сам себе ставить цели, придумывать занятия, проявлять изобретательность в речи, фантазировать. Это возраст игры, антиципации ролей, овладения реальностью посредством экспериментирования и планирования. В пространстве ребенка появляется все больше людей. Уже не только отец и мать, но и другие взрослые являются предметом идентификации ребенком себя со взрослыми как основы становления новой ступени идентичности.

Четвертая стадия [6–11 лет] связана с овладением ребенком различными умениями, в том числе и умением учиться. Ребенок активно овладевает символами культуры. Этот возраст — оптимальное время для учения — готовность к тяготам дисциплины, усвоению знаний, стремление

делать все хорошо, заряженность на дух соревнования. Здесь формируется чувство умелости, компетентности, а при негативном протекании возраста — неполноценности. Овладевая основами знаний, дети начинают идентифицировать себя с представителями отдельных профессий, для них важным становится общественное одобрение их деятельности.

Пятая стадия [11–20 лет] — ключевая для приобретения чувства идентичности. В это время подросток колеблется между положительным полюсом идентификации «я» и отрицательным полюсом путаницы ролей. Перед подростком стоит задача объединения всего, что он знает о себе самом как сыне/дочери, школьнике, спортсмене, друге и пр. Все это он должен объединить в единое целое, осмыслить, связать с прошлым и спроецировать на будущее. При удачном протекании кризиса подросткового возраста у юношей и девушек формируется чувство идентичности, при неблагоприятном — спутанная идентичность, сопряженная с мучительными сомнениями относительно себя, своего места в группе, в обществе, с неясностью жизненной перспективы.

Здесь Эриксон вводит совершенно оригинальный термин — «психологический мораторий», — которым обозначает кризисный период между юностью и взрослостью, в течение которого в личности происходят многомерные сложные процессы обретения взрослой идентичности и нового отношения к миру. Согласно Эриксону, психический мораторий может, при определенных условиях, принимать затяжной характер и длиться годами, что особенно характерно для наиболее одаренных людей. Непреодоленный кризис влечет состояние «диффузии идентичности», которая составляет основу специфической патологии юношеского возраста. В предельных случаях психический мораторий и «диффузия идентичности» сами по себе предполагают целесообразность применения соответствующих психотерапевтических мер.

Шестая стадия [21–25 лет], по Эриксону, знаменует переход к решению уже собственно взрослых задач на базе сформировавшейся психосоциальной идентичности. Молодые люди вступают в дружеские отношения, в брак, появляются дети. Решается глобальный вопрос о принципиальном выборе между этим широким полем установле-

ния дружеских и семейных связей с перспективой воспитания нового поколения и изоляционизмом, свойственным людям со спутанной идентичностью и другими, еще более ранними ошибками в линии развития.

Седьмая стадия [25–50/60 лет], занимающая львиную долю человеческой жизни, связана с противоречием между способностью человека к развитию, которую он получает на основании благоприобретенного на предыдущих стадиях, и личностным застоем, медленным регрессом личности в процессе обыденной жизни. Наградой за овладение способностью к саморазвитию является формирование человеческой индивидуальности, неповторимости. Поднимаясь над уровнем идентичности, человек обретает редкостную способность быть самим собой.

Восьмая стадия [свыше 60 лет] завершает жизненный путь, и здесь, пожиная плоды прожитой жизни, человек либо обретает покой и уравновешенность как следствие целостности своей личности, либо оказывается обречен на безысходное отчаяние как итог путаной жизни.

Отдельного разговора заслуживает обсуждение Эриксоном проблемы, которую без натяжки можно считать абсолютно не разработанной в отечественной психологии, — темы связи индивидуального жизненного цикла с циклом поколений и вообще проблемы динамики поколений. Понятие идентичности помимо личной тождественности (неизменность в пространстве) подразумевает также и целостность (преемственность личности во времени), а следовательно, идентичность мыслится не только как персональная, но и как групповая (расовая, общественная, половая и т.д.).

Вообще, Эриксон замечательно разнолик. Один перечень «объектов», попавших в зону его внимания, впечатляющ. Причем ничто упомянутое выше отнюдь не отменяется! Дети и подростки, индейцы и подводники, студенты и хиппи, Лютер, Ганди и Гитлер, невротики и демонстранты, евреи и протестанты, феминистки и коммунисты и, как говорится, и прочая и прочая. Причем заметим, что за Эриксоном вовсе не наблюдался грех всеядности — были широкий кругозор и универсальность при доминирующей проблематике (всепоглощающий интерес к человеческой идентичности в ее разнообразии).

За Эриксоном прочно закрепилась характеристика властителя умов университетской молодежи — качество редкое в профессорской среде. При этом следует учитывать, что пик преподавательской активности Эриксона падает на 60–70-е годы, с их неотъемлемым акцентом на год 1968-й, знаменовавший собой существенный сдвиг в молодежном самосознании (и в отношении к молодежи взрослого сообщества), если не смену парадигмы взросления современного человека. Через хиппизм, бунты, увлечение наркотиками и «свободным» сексом, через «Битлз», Вудсток, Джанис Джоплин и Джимми Хэндрикса, через крайности негативизма молодежь прорывалась в новое пространство своего развития. Когда к концу 70-х этот бурный поток молодежных страстей поуспокоился и был канализирован поумневшим обществом в виде молодежной субкультуры, моды и пр., стало ясно, насколько глобальное потрясение пережило общество. На этом фоне сказанное об Эриксоне — фаворите студенчества — получает совершенно особое звучание, ничего общего не имеющее с образом милашки профессора. Именно своей чувствительностью к истории дня, конкретной исторической психологии окружающих нас людей с их сегодняшними страстями и интересами, умением озвучивать спрямленные фрейдовские мантры фактологией и фразеологией свежих газет Эриксон пришелся по душе бунтующему студенчеству.

Последнее также хотелось бы уточнить, чтобы у читателя не возникло упрощенное представление о том, как профессор Эриксон соединяет теорию и практику, историю и современность. То, что он делал, вовсе не было попыткой осовременить фрейдизм и уж тем более популяризировать свои научные взгляды. Осмысливая происходящее, Эриксон поступал как ученый, вводя в научный оборот, скажем, такой термин, как «историческая актуальность», обозначающий способность личности к максимальному соучастию в социокультурных процессах при минимальном ущербе для собственной личности и деятельности ее «защитных механизмов». Историческая актуальность преодолевает (и исключает) примитивистские представления о некой тотальной необходимости постоянной или эпизодической жертвенности людей (и людьми) во имя общественного прогресса «любой ценой». Он также,

ощущая мучительность поиска окружающей молодежью нравственных опор своей жизни, творчески переработал знаменитый кантовский категорический императив («Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие относились к тебе»), превратив его в американской манере в «золотое правило поведения»: «Поступай по отношению к другому так, чтобы это могло придать новые силы другому и тебе». Естественно, что человек, который на таком уровне способен участвовать в бестолковщине выяснений отношений по оси «отцы» и «дети», заслуживает уважение и первых и вторых.

Кстати, о современности. В терминах теории идентичности Эриксона весьма удобно и поучительно говорить о некоторых актуальных проблемах наших соотечественников. Когда серьезные аналитики, политологи и «колумнисты» (каждый второй из которых неудавшийся и переквалифицировавшийся психолог) пишут о кризисе ценностей целых поколений, о потере нравственных и прочих ориентиров для масс и отдельных личностей, то не лучше ли было бы назвать это кризисом идентичности, посетовать на то, что для множества людей эта идентичность замутнена и заменена смешением авторитетов, низвержение которых — за грехи подлинные и мнимые — приводит личность к саморазрушению. В терминах Эриксона можно было бы выразиться и круче и обсудить расползание в нашем обществе «массовой патологии идентичности», а именно такого неприятного психосоциального синдрома, который характеризуется наличием массовой неудовлетворенности людей, сопровождаемой чувствами тревоги, страха, изоляции, опустошенности, утратой способности к эмоциональному общению с другими людьми. В предельных случаях патология идентичности провоцирует выбор в качестве единственного способа самоутверждения индивида и масс людей настойчивое стремление «стать ничем», самоубийственную логику «чем хуже — тем лучше».

Несколько слов о композиции книги. Автор не скрывает, что в ней собраны статьи разных лет. При таком порядке вещей бессмысленно ожидать некоего систематического изложения проблемы, как это свойственно, к примеру, диссертациям. Вместе с тем перед нами вовсе не сборник статей и не «избранные труды». Проигрывая в систематичности изложения, автор выигрывает по сущест-

ву, ибо позволяет нам увидеть генезис идеи — ее возникновение, «разматывание», «расползание» по новым областям и аспектам. Более того, меняя ракурс рассмотрения и чередуя в изложении различные подходы к идентичности — биографический, патологический, теоретический, — Эриксон как бы заставляет термин говорить сам за себя во всем множестве своих значений. Такой подход не только правомерен, но и продуктивен: все-таки психология не математика и не физика, и точные формулы не играют в ней решающей роли. Вникая в глубину психологических смыслов, важно не столько «усвоить» ключевые определения, набор признаков, логику классификации, сколько прочувствовать и всесторонне понять пластичность и неисчерпаемую многоликость описываемых конфигураций, теряющихся во всех вариантах редуцирования к простым слагаемым. Сила Эриксона (которую, кстати, многочисленные критики вменяют ему как слабость) в том, что он понимает неисчерпаемость той реальности, которая описывается как развитие человеческой психики, и не пытается придавать ей характер слишком жесткого каркаса. Как очки «сами по себе» не несут нового знания об окружающем мире, так и используемые в этой книге понятия являются просто способом «лучше видеть» этот мир.

И последнее. Не стану в этом предисловии критиковать идеи Эриксона, хотя они не истина в последней инстанции и не свободны от крупных и мелких недостатков. И дело не только в идеосинкразии к деятельности критика идей буржуазных ученых, с одной стороны, и не в отчаянной вере в то, что читатель сам найдет слабые места, — с другой. В конце концов, на исходе XX века, особенно после работ по гуманитарной методологии Михаила Михайловича Бахтина, мы вправе призвать читателя услышать живой, неискаженный голос автора. А звучащий с этих страниц голос Эрика Эриксона — одного из титанов современной нам психологии — столь характерен, мощен и неповторим, что, право, к нему стоит внимательно прислушаться.

Александр Толстых,
доктор психологических наук,
член-корреспондент Российской
академии образования

Памяти Роберта П. Найта и Давида Рапапорта

Предисловие

Одним из моих учителей в Венском институте психоанализа в конце двадцатых годов был доктор Пауль Федерн, удивительный человек, изобретательный как по части новых идей, так и обмолвок. В это время широко обсуждалась его идея о границах «я», важная, но недостаточно ясная. Мы, студенты, в отчаянии попросили его посвятить разъяснению этой темы столько семинаров, сколько он сочтет нужным. Он занимался этим три долгих вечера. Заканчивая последний семинар, он сложил свои конспекты с видом человека, наконец-то все объяснившего, и спросил: «Nun – hab ich mich verstanden?» («Ну вот – сам-то я себя понял?»). Перечитывая написанное мною об идентичности, я много раз задавал себе тот же вопрос и спешу заявить, что в этой книге я не даю окончательного определения данного понятия. Чем больше пишешь на эту тему, тем более широким и всеобъемлющим кажется содержание этого термина. Единственный путь определить его – попытаться понять, в каких контекстах без него нельзя обойтись.

Каждая глава этой книги – переработка одной из больших статей, написанных в последние двадцать лет, дополненная выдержками из докладов, относящихся к тому же периоду. Некоторые статьи публиковались в серии монографий по психологии с предисловием Давида Рапапорта, который решительно определяет мое место в теории психоанализа – так, как оно виделось ему десять лет назад. Я так и не смог привыкнуть к тому, что должен публиковать в своих работах данные клинических наблюдений. Но усилиями студентов и читателей этот вопрос вышел из-под моего контроля. Ведь то, что сначала предназначалось профессионалам, нашло путь в аудитории и

книжные магазины и, значит, может быть использовано в переработанном обзоре, каковым и является эта книга. Дело совсем не в нездоровом любопытстве: современный исследователь, чтобы лучше определиться, хочет иметь информацию не только о вариативности человеческого поведения, но и об отклонениях от нормы, причем достаточно подробную, чтобы можно было распознать явление, взглянуть на него со стороны, поставить себя на место другого.

Помимо обычного для человека моей профессии желания собрать и опубликовать разрозненные работы, не оформленные в книгу, появились и некоторые другие соображения. Во-первых, отдельные статьи и доклады всегда содержат недостаточно проверенные гипотезы. Только в процессе написания книги начинаешь понимать, в чем предмет каждой из них по отдельности и как они соотносятся друг с другом. Перерабатывая их годы спустя после написания, удивляешься тому, насколько по-разному ты говорил с разной аудиторией, особенно если успел забыть, к кому ты в данном случае обращался и с кем полемизировал. И все же я сохранил в статьях, написанных в разное время, прежние акценты, а в книге в целом — тон отчета. Дело в том, что я врач-практик и достаточно долго помню результаты некоторых наблюдений. Сначала они всегда вызывают смешанное чувство: удивляют своей неожиданностью, но в то же время подтверждают ожидания. Поэтому в разных аудиториях я могу по-разному излагать одно и то же, стремясь прийти к более глубокому пониманию проблемы.

И во-вторых, погружение в проблемы идентичности дает ценный опыт тому, кто занимается вопросами развития человека: здесь не обойтись без переоценки своих идей в свете резких исторических перемен. В ретроспективном введении я попытаюсь в какой-то степени объяснить исключительную и зачастую странную притягательность терминов «идентичность» и «кризис идентичности» в то двадцатилетие, когда готовился материал, легший в основу книги. Читатель в свою очередь должен будет призвать на помощь свою осведомленность в истории, чтобы решить, в чем общее направление этой книги подтверждается современностью, а какие соображения более не убедительны. (Читателю поможет в этом список первых публикаций, помещенный в конце книги.) Замечу, что последняя

глава предвосхищает ту открытость, с которой с недавних пор обсуждаются новые формы поведения и некоторые внутренние процессы (иногда вызванные воздействием химических веществ), происходящие с самой яркой и неагрессивной частью современной молодежи. И это хорошо. Ведь лишь разглядев за модой и шутовством суть явления, можно понять, какую старую как мир мысль они пытаются донести до нас. Когда создавалась эта книга, проблема насилия на улицах тоже еще не достигла такой взрывоопасной силы, как сейчас. Но и в этом случае проблема молодежи и ее взрослых лидеров требует пристального рассмотрения.

Тем, что это сочинение вообще можно читать, я обязан подготовительной работе, проделанной Джоан Эриксон и Памелой Даниэлс.

Памела Даниэлс, мой главный ассистент при чтении в Гарварде курса о жизненном цикле, просмотрела статьи, умело сведя повторы к необходимому минимуму и тактично уточняя то, что, по ее наблюдениям, с трудом воспринималось студентами.

Джоан Эриксон — мой постоянный редактор. Никто лучше ее не знает, что именно я хочу сказать, и никто более бережно не сохранил бы мою манеру письма с ее неизбежными длиннотами. Но эта книга — и продукт нашей совместной работы в Центре Остен Риггс, где она разработала новую «Программу деятельности» для пациентов. Эта программа стала неотъемлемой частью психотерапии и оказалась продуктивной при тестировании и стимулировании внутренних ресурсов молодых людей, находящихся в состоянии острого кризиса.

В каждой главе я упоминаю тех, перед кем я в долгу, но в сносках невозможно выразить признательность всем, кому я был обязан на протяжении двадцати лет работы, преподавания, консультаций и путешествий. Я посвятил эту книгу двум покойным друзьям не только потому, что их смерть — огромная утрата, но и потому, что они живут во всем, что актуально в этой книге, так же как и в книгах других авторов. Роберт П. Найт был главным врачом, а Давид Рапапорт — научным руководителем Центра Остен Риггс в Беркшире. Они были удивительной парой — абсолютно разные и внешне, и в отношении жизненного опыта, темперамента, стиля мышления и тем не

менее не только достигли каждый выдающихся результатов, но и создали вместе уникальный лечебный и теоретический центр, история которого, несомненно, еще будет написана. В нем в атмосфере теснейшего сотрудничества я работал в течение двадцати лет. Именно Центру Остен Риггс специальный фонд предоставил средства на исследование проблем личности. Работая над этим предисловием, я одновременно работаю над другой темой — пишу книгу о зрелых годах Ганди. Позднее Фонд Форда предоставил Центру Остен Риггс средства на дальнейшие исследования. Менее масштабные изыскания постоянно финансировались Фондом Шелтер Рок. Наконец, Фонд психиатрических исследований финансировал мою работу «Молодой Лютер» — продолжение этой книги, поскольку в ней к биографии одного человека применяется то, что в этой книге исследуется на примере многих биографий и эпох.

Однако по названию эта книга — продолжение моей работы «Детство и общество». Будучи тесно связанными, все три книги содержат сходные положения и даже повторы, которые, надеюсь, простительны — как прощается семейное сходство в кругу друзей.

Эту рукопись печатали несколько машинисток, но наиболее умело и быстро — Энн Берт из Сантуита.

Э.Х.Э.
Котуит, Массачусетс, 1967

Глава I

Введение

1

Рассмотрение понятия «идентичность» предполагает обзор его истории. За двадцать лет, прошедшие с тех пор, как этот термин был впервые употреблен в том смысле, как он понимается в этой книге, он приобрел столько значений, а объем его настолько расширился, что, казалось бы, пришло время расширить границы его употребления. Но понятие, обозначаемое столь объемным термином, по самой своей природе подвержено историческим изменениям.

Термины «идентичность» и «кризис идентичности» и в широком и в научном употреблении описывают нечто столь широкое и на первый взгляд самоочевидное, что, казалось бы, настаивать на точном определении означает придираться; в то же время иногда они применяются столь узко, что общий смысл термина теряется и с таким же успехом можно было бы использовать какой-нибудь другой. Если, например, вы видите в газете заголовок «Кризис идентичности Африки», или читаете о «кризисе идентичности» стекольной промышленности Питтсбурга, или если уходящий в отставку президент Американской ассоциации психоаналитиков называет свою речь «Кризис идентичности психоанализа», или, наконец, студенты-католики Гарварда объявляют, что в четверг ровно в восемь устраивается вечер «Кризис идентичности», — все эти примеры широкого употребления данного термина весьма неравноценны. Кавычки здесь не менее важны, чем сами заключенные в них слова: все наслышаны о «кризисе идентичности». Термин вызывает смесь любопытства, иронии и тревоги, и в то же время само слово «кризис» вселяет надежду, что все еще может кончиться хорошо. Иными словами, многозначный термин стал употребляться ритуально.

С другой стороны, социологи иногда пытаются в целях большей точности применять такие термины, как «кризис идентичности», «тождественность самому себе» или «сексуальное самосознание», к более поддающимся измерению явлениям, которые они в данный момент исследуют. Ради логической или экспериментальной гибкости (и в угоду научному сообществу) они пытаются толковать эти термины в связи с социальными ролями, чертами характера или представлениями людей о себе, игнорируя менее податливые и более зловещие — а часто это означает и более важные значения термина. Эти термины стали употребляться столь неразборчиво, что недавно один немецкий рецензент книги, в которой я впервые употребил термин «кризис идентичности» в контексте психоаналитической теории «эго»+, назвал его любимой темой «американской популярной психологии».

Вместе с тем можно с удовольствием отметить, что концептуализация идентичности привела к появлению ценных исследований, если и не проясняющих, что же такое идентичность, то нашедших применение в социальной психологии. Хорошо, наверное, и то, что слово «кризис» больше не вызывает в представлении неминуемую катастрофу, что в свое время затрудняло его понимание. Кризис теперь понимается как неизбежный поворотный пункт, критический момент, после которого развитие повернет в ту или иную сторону, используя возможности роста, способность к выздоровлению и дальнейшей дифференциации. О кризисе можно говорить во многих случаях: в процессе развития индивида или появления новой элиты, в процессе лечения индивида или в период тяжелых и быстрых исторических перемен.

Если мне не изменяет память, термин «кризис идентичности» впервые был употреблен во время Второй мировой войны в очень определенной ситуации в клинике реабилитации ветеранов на горе Сион. В ней в атмосфере сотрудничества работали психиатры разных убеждений и направлений, среди них Эмануэль Виндхольц и Джозеф Вилрайт. Большинство наших пациентов, как мы тогда считали, не были ни «контуженными», ни симулянтами.

+Комментарии к словам и понятиям, помеченным крестиком, даны в конце книги. — *Прим. ред.*

Попав в экстремальные условия войны, они потеряли ощущение тождества личности и непрерывности времени. Они утратили тот контроль над собой, который с точки зрения психоанализа обеспечивается лишь «внутренней силой» «эго». Поэтому я говорил о потере «эго-идентичности»[1]. Позже мы обнаружили такие же существенные нарушения у раздираемых противоречиями молодых людей. Тут они объяснялись скорее внутренними конфликтами. Похожие явления наблюдались у зашедших в тупик бунтарей и деструктивно настроенных правонарушителей, находящихся в антагонистических отношениях с обществом. Итак, во всех этих случаях термин «смешение идентичности» предполагает определенный диагноз, который должен влиять на оценку и лечение подобных отклонений. Молодые пациенты могут быть агрессивны или депрессивны, совершать правонарушения или замыкаться в себе, но их состояние — это скорее острый и, возможно, временный кризис, а не такой срыв, при котором пациенту ставится мрачный диагноз со всеми вытекающими из него последствиями. И, как всегда бывало в истории психоаналитической психиатрии, то, что сначала принималось за общую функциональную закономерность нескольких серьезных расстройств (например, истерии в начале века), впоследствии оказывалось патологическим обострением, затяжным проявлением или регрессией к обычному кризису, характерному для определенного этапа развития индивида. Таким образом, мы стали считать «кризис идентичности» явлением, нормальным для юности или ранней зрелости.

Говоря о первом употреблении термина «кризис идентичности», я сказал «если мне не изменяет память». Наверно, такие вещи следует держать в памяти. Но дело в том, что термин, которому впоследствии стало придаваться такое значение, сначала часто употреблялся как нечто само собой разумеющееся. В связи с этим я вспоминаю одну из многочисленных историй, рассказанных Норманом Рейдером однажды во время войны. «У одного старика, — рассказывал он, — каждое утро была рвота, но никакого желания показаться врачу он не проявлял. В конце концов родственники уговорили его провериться в клинике на горе Сион». На осторожный вопрос доктора Рейдера «Как вы себя чувствуете?» он быстро ответил: «Прекрасно. Лучше не бывает». И действительно, обследование пока-

зало, что организм функционирует прекрасно. Наконец доктор Рейдер несколько раздраженно сказал: «Но говорят, у вас каждое утро рвота». Старик слегка удивленно ответил: «Ну да. А разве у кого-нибудь ее не бывает?»

Пересказывая этот случай, я не имею в виду, что я просто приписывал другим собственную болезнь — «кризис идентичности», — хотя и это отчасти не исключено. Но я действительно считаю, что дал наиболее точное название тому, что рано или поздно приходится пережить всем и что можно, следовательно, диагностировать у тех, кто переживает это в острой форме.

Исходя из клинического происхождения этих терминов, было бы целесообразно соотнести патологический и эволюционный аспекты проблемы и посмотреть, чем отличается патологический «кризис идентичности» от возрастного кризиса как атрибута жизненного пути человека. Однако акцент на индивидуальные явления сделал бы более широкое употребление терминов «идентичность» и «кризис идентичности» еще более ненадежным — простой аналогией, не удовлетворяющей требованию ясности. Когда студенты-католики собираются вместе обсудить свои кризисы, вместе получить от этого удовольствие и за один вечер их изжить — это по крайней мере говорит о том, что у них есть чувство юмора. Но как соотносится понятие «юность» с положением негров или с состоянием научного сообщества? Когда о нации говорят, что она исторически и экономически находится в «юношеском периоде» или что ей свойственен «параноидный политический стиль», — что это: просто аналогия или смесь хвастовства и смущения? А если о нации нельзя сказать «юная», может ли индивидуальный «кризис идентичности» переживаться значительной частью молодежи? И, возвращаясь к модному термину «смешение идентичности», проявляли бы некоторые молодые люди столь очевидные нарушения, если бы они *не знали*, что у них *должен* быть «кризис идентичности»?

Последние двадцать лет показали, что некоторые медицинские термины берутся на вооружение не только врачами, но и теми, кто подвергся гипердиагностике, в данном случае это часть целой возрастной группы, которая использует нашу терминологию и открыто демонстрирует

конфликт, который мы когда-то считали внутренним, проходящим тихо, в подсознании.

2

Прежде чем попытаться понять смысл сегодняшнего отзвука нашей терминологии, мне хотелось бы оглянуться назад: на наших профессиональных и идейных предшественников. Сегодня, когда термин «идентичность» чаще всего ассоциируется с шумными проявлениями, с более или менее отчаянными «поисками» или с почти намеренно запутанными «исканиями», я хотел бы предложить две формулировки, хорошо показывающие, что такое идентичность — в тех случаях, когда действительно имеешь дело с таковой.

Мои собеседники — два бородатых патриарха, родоначальники психологических школ, заложивших основы нашего понимания идентичности. *Субъективное вдохновенное ощущение тождества и целостности*, которое я бы назвал ощущением идентичности, кажется, лучше всего описано В. Джеймсом в письме к жене:

«Характер человека проявляется в том его умственном или моральном состоянии, когда в нем наиболее интенсивно и глубоко ощущение собственной активности и жизненной силы. В такой момент внутренний голос говорит ему: "*Это* и есть настоящий я!"»[2]

Такой опыт всегда предполагает «...элемент активного напряжения, некоторой стойкости и веры в то, что внешние обстоятельства помогут ему, но не полную *уверенность* в этом. При полной уверенности это состояние переходит в нечто косное и тупое. Отнимите уверенность, и я испытаю (при условии, что я überhaupt* в этом энергичном состоянии) какое-то восторженное блаженство, горькую решимость сделать все, что угодно, и все преодолеть... и хотя это всего лишь настроение или эмоция, не выраженная в слове, она является глубочайшей основой всех моих практических и теоретических устремлений...».

Джеймс употребляет слово «характер», но я позволю себе утверждать, что он описывает чувство идентичности

*Вообще (*нем.*). — *Прим. перев.*

и что описанное им в принципе доступно опыту любого человека. Для него это понятие психологическое и моральное, в смысле «моральной философии»+ того времени. Он переживает состояние, возникающее скорее внезапно, неожиданно, как узнавание, а не то, которого упорно «ищут». Это — активное напряжение (а не оставляющий тебя в недоумении вопрос), напряжение, которое должно побудить человека к действию, но без гарантии успеха, а не такое, которое без этой гарантии сменяется бессилием. Но вспомним, что, когда Джеймс писал это, ему было за тридцать, что в юности он столкнулся с «кризисом идентичности» (и описал его), по-настоящему серьезным и глубоким, и что он стал знаменитым психологом и философом американского прагматизма уже после того, как примерил к себе различные культурные, философские и национальные модели самосознания: непереведенное немецкое слово «überhaupt» в середине цитаты — вероятно, отголосок наполненных противоречиями студенческих лет, проведенных в Европе.

На примере биографии Джеймса можно изучать затянувшийся «кризис идентичности», а также возникновение в новой и склонной к экспансии американской цивилизации *«self-made»* идентичности. Мы не раз будем возвращаться к Джеймсу, но сейчас в поисках другого определения обратимся к суждению, утверждающему единство личной и культурной идентичностей, берущих начало в прошлом народа. Обращаясь к членам общества Бнай Брит в 1926 г., Зигмунд Фрейд сказал:

«Меня не связывали с еврейством (признаюсь в этом к своему стыду) ни вера, ни национальная гордость, потому что я всегда был неверующим и не получил религиозного воспитания, хотя уважение к тому, что называют «этическими нормами» человеческой цивилизации, мне прививалось. Я всегда старался подавлять в себе склонность к национальной гордости, считая это вредным и неправильным; меня беспокоили подобные явления в народах, среди которых мы, евреи, живем. Но было много другого, что делало евреев и еврейство неотразимо притягательными, — много смутных эмоциональных сил, тем более сильных, чем труднее они поддавались выражению словами, а также ясное осознание внутреннего тождества с ними, уютное сознание общности психологического ус-

тройства. Кроме того, было ощущение, что именно своему еврейскому происхождению я обязан появлению у меня двух черт, свойственных мне в течение всей моей трудной жизни. Будучи евреем, я чувствовал себя свободным от многих предрассудков, ограничивающих интеллект других людей; будучи евреем, я готов был примкнуть к оппозиции, не заручаясь согласием "сплоченного большинства"»[3].

Ни один перевод не передаст изысканного стиля немецкого оригинала: «смутные эмоциональные силы» — «dunkle Gefuehlsmaechte». «Сохранение интимности, общности психологического устройства» — «die Heimlichkeit der inneren Konstruktion» — то есть не просто «психологического» и, конечно, не «интимного» — речь идет о глубокой общности, знакомой лишь тем, кто ее испытал, и выразимой не в понятии, а в мифе.

Эти основополагающие заявления взяты не из теоретических работ, а из конкретных посланий: из письма к жене от поздно женившегося человека, из речи к «братьям» от оригинального наблюдателя, которого долго не понимали коллеги. Однако при всей их поэтической непосредственности они — продукт изощренного ума и поэтому почти полно иллюстрируют основные параметры положительного ощущения идентичности. Гений с изощренным умом — это, конечно, особая идентичность, с особыми проблемами, которые часто вызывают в начале карьеры продолжительный кризис. И все же он дает первичную формулировку того, что мы потом изучаем как нечто общечеловеческое.

Это единственный случай, когда Фрейд использовал термин «идентичность» не просто мимоходом, а в очень существенном этническом смысле. И, как и следовало ожидать, он точно указывает на те стороны проблемы, которые я назвал зловещими и вместе с тем очень важными — тем более важными, чем «труднее они поддаются выражению словами». Ведь «сознание внутренней идентичности» у Фрейда включает в себя чувство горькой гордости, сохраненное его рассеянным и часто презираемым народом на протяжении долгой истории гонений. Оно коренится в особом (в данном случае интеллектуальном) даре, который успешно преодолел ограничение его возможностей со стороны враждебного окружения. В то же время

Фрейд противопоставляет *позитивную* идентичность бесстрашной свободы мыслить *негативной* черте «народов, среди которых мы, евреи, живем», а именно «предрассудкам, ограничивающим интеллект других людей». И тогда мы понимаем, что идентичность человека или группы может быть соотнесена с идентичностью другого или других и что гордость за сильную идентичность может свидетельствовать о внутренней свободе от более влиятельной групповой идентичности, например идентичности «сплоченного большинства». В утверждении, что те же исторические обстоятельства, которые ограничили интеллектуальную свободу предвзятого большинства, интеллектуально укрепили изолированное меньшинство, слышится беспредельное торжество. Ко всему этому мы вернемся при обсуждении национальных отношений[4].

А Фрейд идет дальше. Он мимоходом признает, что должен был «подавлять в себе склонность к национальной гордости», характерную для «народов, среди которых мы, евреи, живем». Здесь, как и в случае с Джеймсом, только анализ гордости молодого Фрейда показал бы, как он пожертвовал другими устремлениями ради применения методов естественных наук к изучению психологических «факторов достоинства». Кстати, именно в снах Фрейда прекрасно отразились подавленные (или, как бы назвал их Джеймс, «отброшенные» или даже «уничтоженные») аспекты его «эго» — ведь наша «негативная идентичность» преследует нас по ночам[5].

3

Эти два высказывания и биографии их авторов выявляют несколько параметров идентичности и в то же время позволяют объяснить, почему эта проблема столь всеобъемлюща и все же столь трудноуловима. Ведь мы имеем дело с процессом, «локализованным» *в ядре индивидуальной, но также и общественной культуры*, с процессом, который в действительности устанавливает идентичность этих двух идентичностей. Если сейчас остановиться и перечислить несколько минимальных условий постижения сложного феномена идентичности, стоит начать со следующего (и давайте сделаем это не спеша): с точки зрения психологии формирование идентичности предполагает про-

цесс одновременного отражения и наблюдения, процесс, протекающий на всех уровнях психической деятельности, посредством которого индивид оценивает себя с точки зрения того, как другие, по его мнению, оценивают его в сравнении с собой и в рамках значимой для них типологии; в то же время он оценивает их суждения о нем с точки зрения того, как он воспринимает себя в сравнении с ними и с типами, значимыми для него. К счастью, этот процесс протекает большей частью подсознательно — за исключением тех случаев, когда и внутренние условия и внешние обстоятельства усиливают болезненное или восторженное «сознание идентичности».

Далее, описанный процесс находится в постоянном изменении и развитии: в наиболее благоприятном варианте это процесс постоянной дифференциации, и он становится все более содержательным по мере того, как расширяется круг значимых для индивида лиц: от матери до всего человечества. Он начинается где-то во время первой «настоящей» «встречи» матери и ребенка — двух людей, познающих друг друга через прикосновение[6], и не «кончается» до тех пор, пока в человеке не гаснет способность узнавать другого. Но, как уже указывалось, этот процесс в юности обычно претерпевает кризис, который во многом определяется предшествующими событиями и влияет на многие из последующих. И наконец, теперь мы видим, что, говоря об идентичности, нельзя отделить (как я пытался показать в «Молодом Лютере») «кризис идентичности» отдельного человека от современных ему исторических кризисов, поскольку они помогают понять друг друга и действительно взаимосвязаны. В сущности, взаимосвязь между психологией и обществом, между развитием отдельного человека и историей, по отношению к которой формирование идентичности играет роль прототипа, может быть осмыслена только как род *психологической относительности*. Здесь важно следующее: безусловно, просто поочередно исполняемые «роли», обыкновенные неловкие «внешние проявления» или напряженные «позы» не составляют сути, хотя могут стать доминирующими аспектами того, что сегодня называют «поисками идентичности». Ввиду всего этого было бы явно неправильно переносить на изучаемое нами некоторые термины индивидуальной и социальной психологии, часто применяемые к

идентичности или к расстройствам идентичности, — такие, как представление о себе, образ «я», самоуважение — с одной стороны, и конфликт ролей, утрата роли — с другой, хотя на данный момент объединение усилий — лучший метод исследования этих общих проблем. Но данному подходу не хватает теории развития человека, которая попыталась бы подойти ближе к явлению, выясняя его истоки и направление. Ведь идентичность — это не то, что «создается» в результате «победы», это не доспехи, не нечто статичное и неизменное.

С другой стороны, традиционный психоанализ не в состоянии целиком постичь идентичность, потому что он не выработал терминологии, описывающей среду. Определенные приемы психоаналитического рассуждения, приемы рассмотрения среды как «внешнего мира» или «объективного мира» не учитывают ее всеобъемлющей реальности.

Немецкие этологи ввели термин «Umvelt», обозначающий не просто окружающую среду, но среду, существующую в человеке. И действительно, с точки зрения развития «прошлое» окружение всегда присутствует в нас; а поскольку мы живем в процессе постоянного превращения настоящего в «прошлое», мы никогда — даже в момент рождения — не сталкиваемся со средой — людьми, которые избежали воздействия какой-либо другой среды. Итак, одной из методологических предпосылок постижения идентичности является психоанализ, изощренный настолько, что он может учитывать среду; другой предпосылкой является социальная психология, изощренная в психоанализе; во взаимодействии они, очевидно, создали бы новую науку, которой пришлось бы располагать своим собственным историческим кругозором. Пока же мы можем лишь попытаться понять, где эпизод из прошлого или этап нормального развития, этап истории болезни или биографическое событие проясняются, если предположить развитие идентичности. И разумеется, это поможет детально зафиксировать, почему и как именно данное обстоятельство проясняется.

Но, признав необходимость исторической перспективы, мы сталкиваемся с вероятностью того, что процитированные мной в качестве ключевых высказывания действительно говорят о формировании идентичности, зависящем от условий существования малоподвижного среднего класса.

Правда, и Джеймс и Фрейд принадлежали к среднему классу раннеиндустриальной эпохи, когда он мигрировал из сельской местности в города и из города в город, и Джеймс был, конечно, сыном иммигранта. Тем не менее их клиники и их исследования, их научные и медицинские связи, будучи революционными в академическом смысле, были чрезвычайно стабильны в том, что касалось морали и идеалов. Возможно, то, что «принимается за само собой разумеющееся» (так Фрейд описал свое отношение к морали), предрешает и область успешных дерзаний. И они дерзали, революционеры из среднего класса XIX века: Дарвин утверждал родство человека с его животными предками; Маркс показал, что сама ментальность среднего класса является классово обусловленной, а Фрейд соотнес наши идеалы и само сознание с бессознательной психической жизнью.

С тех пор войны на почве национальной розни, политические революции и духовные бунты подорвали традиционные основы человеческой идентичности. Чтобы найти примеры совершенно иного понимания связи позитивного и негативного в идентичности, достаточно обратить взгляд в другую сторону — на современных американских негритянских писателей. Что, если ни помыслы ушедших поколений, ни ресурсы современного общества не способны изменить негативный образ меньшинства, сложившийся у «сплоченного большинства»? Тогда, видимо, творческая идентичность должна принять негативный образ в качестве основного пути к спасению. И вот у негритянских писателей мы видим почти ритуальные заявления о «невнятности», «невидимости», «безымянности», «безликости» — «пустота безликих лиц, беззвучных голосов вне истории», по выражению Ральфа Эллисона. Но серьезные негритянские писатели продолжают писать и пишут сильно, потому что литература, даже говоря о пропасти небытия, может помочь выздоровлению общества[7]. Негативный образ, как мы увидим, вообще характерен для эксплуатируемых. Не случайно один из самых интересных документов об освобождении Индии получил «отрицательное» название: «Автобиография неизвестного индуса». Неудивительно, что молодые люди, не склонные к литературной рефлексии, могут вместить в себя столь глубокую негативную идентичность лишь путем агрессии, а то и вспышек насилия.

4

Заглянем теперь из глубины ушедшего двадцатилетия вперед и, забыв о теориях и клиниках, *всмотримся* в современную молодежь. Молодежь во все времена — это не только шумные и заметные люди, но и тихие страдальцы, становящиеся объектом внимания психиатров или литераторов. В самой экзотической части молодого поколения мы наблюдаем обострение «сознания идентичности», которое, кажется, опрокидывает не только наши представления о позитивной и негативной идентичности, но и представление о явном и латентном поведении, о сознательных и бессознательных процессах. То, что нам представляется весьма относительным, ими проявляется как релятивистская «позиция».

Современная молодежь не похожа на молодежь двадцатилетней давности. Это мог бы сказать в любую эпоху любой пожилой человек, считая, что сказанное и ново и соответствует истине. Но сейчас мы имеем в виду нечто конкретно связанное с нашей теорией. Ведь если двадцать лет назад мы осторожно предположили, что некоторые молодые люди, возможно, страдают от более или менее бессознательного конфликта идентичности, то сегодня определенная часть молодежи заявляет нам прямо (открыто демонстрируя то, что мы когда-то считали латентным), что да, действительно, они страдают от конфликта идентичности и не скрывают этого. Расстройство сексуальной идентичности? Да, на улице и вправду иногда невозможно отличить юношу от девушки. Негативная идентичность? О да, кажется, они во всем стремятся быть не такими, какими хочет их видеть «общество»: по крайней мере в этом они «конформисты». Что касается таких затейливых терминов, как «психосоциальный мораторий»+, они выждут и злорадно примут их, пока не решат, нужны ли им те модели идентичности, которые предлагают конформисты.

Но имели ли мы в виду то, на что они предъявляют права? И не изменились ли мы сами и то, что́ мы имели в виду, после тех событий, которые внесли изменения в понятие конфликта идентичности? Этот вопрос открывает психоисторическую перспективу, рассмотрение которой мы можем здесь лишь начать. Но сделать это нужно, посколь-

ку ускорение перемен и в будущем, и в современном мире неизбежно. Либо мы пойдем с ними в ногу, либо отстанем от времени.

В каком-то смысле совершенно естественно, что та возрастная группа, которая ни за что не согласна принести в жертву развитие и участие в событиях тому, что старшее поколение устало называет «реальностью», — эта группа претворяет теорию в действие и демонстрирует нам, что и теория действенна. Мы говорили, что именно в юности идеологическая структура среды становится для «эго» важной, потому что без идеологического упрощения мира «эго» юного человека не способно организовать опыт в соответствии со своими конкретными возможностями и все большей вовлеченностью в события. Юность в таком случае — это период, в котором индивид гораздо ближе к данному историческому моменту, чем на более ранних стадиях развития, в детстве. В то время как в детстве идентичность осознается гораздо слабее и меняется очень медленно, сама проблема идентичности претерпевает исторические изменения, и это естественно. В таком случае рассматривать разные аспекты проблемы идентичности сейчас, когда к нам, врачам, прислушиваются, — значит писать историю культуры или, возможно, быть ее орудием.

Итак, многое из того, что мы раньше считали латентным, сейчас открыто выражается в лозунгах, на демонстрациях и в популярных журналах. Но если смешение сексуальных ролей превратилось для некоторых молодых людей в позу и способ бросить громкий вызов, означает ли это, что они — поколение в целом — хуже осознают половые различия, или парализованы, или в самом деле не ценят верность? Не думаю. Традиционное распределение сексуальных ролей, против которого они возражают, ни в коем случае не было для сексуальной жизни однозначно благотворным. Или они действительно находятся под таким сильным влиянием негативной модели идентичности, как это кажется, судя по их непочтительному поведению? Не думаю. Им действительно доставляет удовольствие нервировать родителей своей внешностью, ведь бравирование своим видом — средство заявить о позитивной идентичности, не основанной на конформизме или притязаниях родителей. Но подобный нонконформизм — это в свою очередь призыв признать родство, и тем самым

он приобретает новый ритуальный характер; это один из парадоксов идентичности всех бунтовщиков. Возможны, конечно, и более опасные проявления, по-настоящему негативные и уродливые. Например, девиз, которым щеголяли юнцы на мотоциклах, таков: «Чем отвратительнее выглядишь при въезде в город — тем лучше». Это уже ближе к потенциально преступной идентичности, которая подпитывается неприятием другими людьми, охотно это неприятие подтверждающими.

Иногда кажется, что некоторые молодые люди читают наши книги и употребляют наши термины почти как обиходные слова. Иногда они просто признают, что мы их понимаем, и я не всегда оказываюсь выше того, чтобы принять это как комплимент. Но вместе с тем я бы назвал это одной из сторон той старой игры, которую Фрейд называл «превращением пассивного в активное», то есть новой формой молодежного эксперимента. Своим поведением они часто как бы говорят: «Кто сказал, что мы *страдаем* от «кризиса идентичности»? Мы сами выбрали его, *мы делаем все, чтобы он наступил*». То же относится и к другим, прежде скрытым моментам, и прежде всего к естественной двойственности в отношениях между поколениями. Если когда-то мы осторожно доказывали ранимым молодым людям, что они ненавидят родителей, от которых зависят, то теперь они проявляют неприкрыто уродливое или равнодушное неприятие родителей, и нам трудно доказать им, что они все же любят их — по-своему. Слушая нас, многие из них понимают это и сами. Возможно, это новая, более явная форма адаптации к распространению психологического просвещения, которое раньше проходило в менее опасных, ибо чаще всего вербальных, формах. Со времен раннего Фрейда образованные люди под влиянием его теорий изменились: они громко произносят названия своих неврозов — и не желают расставаться с ними.

Вероятно, в прошлом эта игра была более опасной. Занимаясь историей истерии, мы определенно обнаружили, что сексуальные желания, подавляемые тогда, когда истерия котировалась на психиатрическом рынке очень высоко, в результате просвещения публики вдруг заявили о себе: симптомы истерии пошли на убыль, на их место пришли проблемы характера. То, что во времена Фрейда

было невротическими эпидемиями с социальной подоплекой, сегодня превратилось в общественные движения с невротической подоплекой. Это по крайней мере дает возможность совместно проанализировать много скрытых проблем и, может быть, говорит о том, что молодое поколение, отрицая мораль своих родителей, умело разрабатывает свою собственную этику и ищет свои источники жизнеспособности. В то же время мы, клиницисты, должны иметь в виду, что во всех этих шумных расстройствах идентичности много такого, что на горе Сион мы обычно называли «механизмом Пинск — Минск» — еще один непреходящий вклад еврейского остроумия в постижение фокусов бессознательного. В Польше на вокзале один человек встречает конкурента и спрашивает его, куда тот едет. «В Минск», — говорит тот, пытаясь убежать. «В Минск! — кричит первый вдогонку. — Вы говорите «в Минск», чтобы я подумал, что вы едете в Пинск! Лжец! Ты таки едешь в Минск!»

Иными словами, некоторые молодые люди, у которых спутанность идентичности носит какой-то нарочитый и злостный характер, действительно этим страдают. Полезно, однако, знать, что такого рода кризис в их возрасте естественен и что некоторые сейчас проявляют его более открыто, так как знают, что он должен у них быть. Но нам нельзя терять зоркости независимо от того, проявляется ли кризис в экстравагантном поведении, в психопатоподобных состояниях, в правонарушениях, в фанатических движениях, в творческих взлетах или даже в сумасбродных общественных взглядах. Когда к нам обращаются за советом, мы можем лишь попытаться оценить силу «эго» индивида, степень, в которой противоречивые инфантильные стереотипы определяют его поведение, определить, каковы его шансы найти себя, отдав себя служению какой-нибудь увлекательной общественной идее.

5

Глядя на современную молодежь, иногда забывают, что формирование идентичности, хотя и носит в юности «кризисный характер», в действительности является *проблемой смены поколений*. И не стоит забывать о том, что старшее поколение в какой-то степени пренебрегло своим долгом

и не предложило молодежи сильных идеалов, которые нужны для формирования молодого поколения, — хотя бы для того, чтобы молодежь могла восстать против хорошо сформулированного набора старых ценностей.

Недавно по телевидению был показан один документальный фильм о молодых людях, проживающих в Лексингтоне, штат Массачусетс. Выбор города, полагаю, объясняется тем, что Лексингтон — колыбель американской свободы. Этот фильм с необычайной откровенностью продемонстрировал *поведение «свободных» молодых американцев*. Родителей, за исключением одной матери, распахнувшей свой дом для молодежи, мы видим только во время собрания, на котором подростки обсуждались так, как если бы они были пришельцами с другой планеты. Именно так средства массовой информации и показывают молодежь. Однако они уже не довольствуются просто передачей информации, а быстро и эффективно становятся посредниками между поколениями. Иногда это превращает молодежь в карикатуру на тот образ, который они сами «выдали» более или менее в порядке эксперимента. Родители же стараются держаться подальше. Одобрение часто сменяется у родителей негодованием, и нередко создается впечатление, что молодежь скорее предпочла бы избавиться от жестких родителей, чем иметь таких, которые вообще не стоили бы упоминания. Ведь если я не ошибаюсь, родители сами часто ведут себя как детишки-переростки, увлекаясь миром техники, покупая власть, которая позволяет им забыть о грозной проблеме смысла жизни грядущих поколений технологической вселенной в эпоху ядерного оружия и противозачаточных средств.

Где же в таком случае главные источники силы идентичности в наше время? Под «нашим временем» я понимаю настоящее, *предваряющее будущее*, поскольку мы должны постараться преодолеть медицинскую точку зрения, заставляющую нас думать, что, объяснив прошлое, мы сделали свое дело. Поэтому я не стану сейчас рассматривать проблему традиционных основ силы идентичности — экономических, религиозных и политических, региональных или национальных, близко связанных с идеологическими аспектами, в которых картина ожидаемого, фактически планируемого будущего технологического прогресса практически вытеснит традиционные основы. На-

зывая эти основы «идеологическими», я имею в виду универсальную психологическую потребность в системе идей, дающих убедительную картину мира.

Следует признать, что по крайней мере те из нас, кто занимается интерпретацией историй болезни или биографий (при поверхностном рассмотрении так часто напоминающих истории болезней), и те, кто преподает молодым психиатрам или студентам-гуманитариям, часто не понимают истоков идентичности, понятных большинству молодых людей, чья идеология — продукт технического века. Эта молодежь в целом не нуждается в нас, а те, кто нуждается, соглашаются на предложенную нами роль «пациентов». Да мы, кажется, и не считаем, что наши теории должны принимать их во внимание. И все же мы должны допустить, что массам молодых людей как в нашей стране, так и за границей в силу их дарований и способностей технологические тенденции и научные методы нашего времени достаточно близки, чтобы чувствовать себя естественно. Мне, например, всегда было непонятно утверждение, что торговец, крестьянин или литератор чувствуют себя менее отчужденными, нежели люди, связанные с технологическим миром. Я думаю, что это наша романтизация прошлого заставляет нас считать, что крестьяне, или купцы, или охотники были в меньшей степени зависимы от технологии своего времени. Выражая это в терминах той проблемы, которая должна изучаться общими усилиями, можно сказать так: при любой технологии и в любой исторический период есть индивиды («правильно» воспитанные), которые в процессе развития идентичности успешно приспосабливаются к господствующей технологии и *становятся* тем, что они *делают*. Независимо от второстепенных преимуществ или недостатков они могут опереться на *культурное единство*, обеспечивающее им подтверждение подлинности их бытия или временное блаженство, основанное на правильной совместной деятельности. Ее правильность доказывается щедрой отдачей «природы» в виде убитой дичи или собранного урожая, произведенных товаров, заработанных денег, решенных технологических проблем. При такой сплоченности и таком устройстве общества множество будничных задач и дел выполняются по устоявшейся практике и спонтанным ритуалам, соблюдаемым как лидерами, так и подчиненными, мужчинами

и женщинами, взрослыми и детьми, богатыми и бедными, особоодаренными и теми, кто вынужден выполнять рутинную работу. Дело в том, что только подобная сплоченность обеспечивает систему координат, в рамках которой в данный период формируется идентичность, и вдохновляет ее на деятельность, хотя многих или большинство людей эта сплоченность ставит в очень узкие рамки или заставляет трудиться по принуждению или довольствоваться низким статусом. Такая сплоченность всегда, в силу одного того, что она «работает» и поддерживается обычаем и привычкой, приводит к образованию стабильных привилегий, вынуждает к жертвам, закрепляет неравенство и создает неизбежные противоречия, очевидные для критиков любого общества. Но каким образом такая консолидация создает ощущение принадлежности к данному сообществу, к постоянному изменению элементов его материальной культуры; как она способствует упрочению определенных критериев совершенства и стиля самовосхваления и как в то же время она позволяет человеку настолько ограничить свой кругозор, что он перестает воспринимать окружающий его мир как непредсказуемый, а сам становится беззащитным (прежде всего перед страхом смерти и насилием), — все это почти не исследовалось с точки зрения психологии бессознательного. Проблема «эго» приобретает здесь новые измерения.

История культур, цивилизаций и технологий — это история таких консолидаций. Новаторы появляются только в явно выраженные переходные периоды: это те, которые слишком умны, чтобы оставаться приверженцами господствующей системы, слишком честны или раздираемы внутренними противоречиями, чтобы не понимать простых жизненных истин, заслоняемых бытовыми «нуждами», которые сострадают «бедным», оставшимся за бортом. Нам, врачам и идеологам, лучше знакомы проблемы высшего и низшего слоев общества. А обширную среднюю прослойку, за счет которой мы в основном существуем, мы часто воспринимаем как само собой разумеющееся. Но так как наша цель — «здоровая психология», мы должны научиться понимать суть этой культурной и технологической консолидации — ведь она и наследует Землю.

И вместе с этим пониманием должно прийти новое определение зрелости, без которого постановка вопроса об

идентичности — бессмысленная роскошь. Проблема зрелости заключается в том, как *заботиться* о тех, кто вверен нам тогда, когда наша идентичность уже сформирована, о тех, формирование чьей идентичности теперь на нашей совести.

Другая проблема состоит в том, от чего способен и хочет отказаться «типичный» взрослый человек данного периода консолидации и отказа от чего он потребует от других ради сохранения гармонии общества и, возможно, достижения им совершенства. Судя по тому, как Сократ в своей «Апологии» описывает суть афинской консолидации, говоря в самом конце, что смерть — единственное лекарство от жизни, он имеет в виду не только себя. Фрейд на материале торговой и раннеиндустриальной эпохи показал, сколь разрушительные последствия имеет ханжеская мораль не только для своего времени, но и для всех времен и историй. Сделав это, он заложил основы того, что Филипп Рифф назвал *терапевтической ориентацией*, выходящей далеко за пределы лечения отдельных симптомов. Но нельзя понять, какое воздействие технологический конформизм оказывает *на* человека, не зная, что́ он делает *для* него. Рост населения, разумеется, сначала превращает многие изначально качественные проблемы в чисто количественные.

Итак, если большинство молодых людей могут жить в согласии со своими родителями, идентифицируя себя с ними, то это потому, что и те и другие уверены в своем завтрашнем дне благодаря технологии и науке.

Вероятно, старшее поколение ждет от молодежи и формирования новых ценностей. Но ценности, связываемые с бесконечным прогрессом (так как он требует умения ориентироваться и воображения), часто связаны с невероятно старомодными идеями. Так, технологическую экспансию можно рассматривать как награду за тяжелый труд многих поколений американцев. Необходимость умерить экспансионистский идеал не ощущается, пока живы — наряду с производственной дисциплиной — старомодные представления о порядочности и существующие политические механизмы с их доморощенной риторикой. Всегда остается надежда (подспудно ставшая важной частью американской идеологии), что в последний момент появятся необходимые сдерживающие механизмы, корректирующие неизбеж-

ные издержки супертехнологии, и можно будет обойтись привычными принципами. А супертехнология, организации и ассоциации, пока они «срабатывают», обеспечивают достаточно «хорошее» или, во всяком случае, приемлемую идентичность для тех, кто активно вовлечен в них или на них работает.

Точно так же та часть молодежи, которая не видит причин возражать против войны во Вьетнаме, движима идеологией глобального милитаризма, антикоммунизма, соблюдения воинской дисциплины и, наконец, тем высоким чувством непоколебимой мужской солидарности, источник которого — отказ от одних и тех же удовольствий, столкновение с одинаковыми опасностями и необходимость выполнения одних и тех же отвратительных приказов. Но во всем этом есть новый элемент, коренящийся в технологической идеологии и превращающий солдата в военного специалиста. Его преданность проявляется в почти безличном подчинении политике или стратегии, указывающей на определенную *цель* в радиусе действия замечательного оружия, находящегося в его распоряжении. Без сомнения, одни «личностные структуры» вписываются в такую картину мира лучше, другие — хуже, но все-таки каждое поколение в целом имеет какой-то набор общих установок.

Но до тех пор, пока новая этика не догонит прогресс, есть опасность, что пределы технологической экспансии и национального самоутверждения могут определяться не известными фактами и этическими соображениями, короче — определенной идентичностью, а игровым испытанием границ супертехнологии, на которую, таким образом, перекладываются функции человеческой совести. Так все могут превратиться в состоятельных рабов, и, видимо, именно это пытается предотвратить новая, «гуманистическая» молодежь, требуя к себе внимания и настаивая на таком уровне жизни, который способен лишь минимально обеспечить существование.

6

Обратимся теперь к другой, многим лучше знакомой идеологической основе идентичности, а именно к неогуманизму, который и привлек пристальное внимание молодежи к проблемам идентичности. Те, кого молодежь, иден-

тифицирующая себя с технологической экспансией, презрительно называет «пацифистами», — гуманисты. Их способ консолидации также предполагает довольно старомодные сантименты и идеалы (они, видимо, часто восходят к установкам низших слоев средневекового города). В то же время эти идеалы созвучны идеалам гражданского неповиновения и отказа от насилия, в их современном варианте идущим от Махатмы Ганди, но ни в коей мере не ограниченным его взглядами. Сопротивление бездумной автоматизации идет в этом случае рука об руку с неприятием жесткой регламентации жизни и армейского духа, а также с тонким осознанием экзистенциальной неповторимости каждого, кто может оказаться в радиусе досягаемости ружья. Этот и технократический взгляды всегда противоположны, поскольку даже частичное принятие одного из них ведет за собой изменение всей системы представлений. Отсюда и возникающее непонимание между людьми различных группировок, если речь заходит о той или иной системе ценностей

Двадцать лет назад мы с большим сомнением (поскольку сам термин был под подозрением) соотносили проблемы идентичности *с идеологическими потребностями* молодежи, в значительной мере приписывая ее острое замешательство своего рода идеологическому голоду той ее части, которая не успела приобщиться ни к военному угару мировых войн «за кордоном», ни к радикальному движению первых послевоенных лет внутри страны. Американская молодежь, говорили мы, была антиидеологична. Да, она превозносила определенный образ жизни — комфортный. Конечно, мы опасались, что «материалистическое» течение, столь усиленное технологией, не найдет поддержки у молодежи, для которой идеология стала отождествляться с политикой и чем-то иностранным, тем более что маккартизм посеял почти во всех американцах страх перед радикальным мышлением, ведущим к болезненной смене прежде высокоценимой трансформации идентичности в идентичность негативную.

С тех пор некоторые молодые американцы, проявившие себя в движении за гражданские права и в деятельности Корпуса мира, доказали, что они способны переносить непривычные лишения и подчиняться дисциплине, если в основе их деятельности — убедительная идеология, направ-

ленная на реальные и универсальные нужды. Действительно, в таких делах, как противодействие гонке вооружений или поддержке безумной эскалации войны во Вьетнаме, молодежь оказалась более дальновидна, чем многие взрослые. К ужасу своих родителей, подвергшихся «промыванию мозгов» во времена маккартизма+, она восстановила в правах некоторые идеалы, утраченные родителями.

Но, только поняв, насколько это позволяют рамки данного рассуждения, ту бóльшую часть молодежи, которая черпает силу личности в идеологии технологической экспансии, можно приступить к более взвешенному рассмотрению нашей неогуманистической молодежи. Но разве не соотношение между новым господствующим классом *специалистов* — тех, кто «знает, что делает», — и активной новой группой универсалистов — тех, кто «понимает, что говорит», — всегда определяет спектр возможностей идентичности той или иной эпохи? А последние часто становятся защитниками третьей группы, всеми забытой. В наше время это те, кто не получил технических навыков или образования, те, кто в силу отсутствия способностей или возможностей или и того и другого стоит вне идеологии вообще. В революционные периоды сверхпривилегированные и обделенные, стоя вне консолидированного «сплоченного большинства», часто приходят к взаимодействию.

Наши наиболее зрелые молодые неогуманисты ищут в человеческой жизни общий знаменатель — какую-то универсальную идентичность, сближающую богатых и бедных. Для некоторых людей, которые иначе, вероятно, бессмысленно бунтовали бы или совершенно замкнулись бы в себе, возможность выразить свой внутренний конфликт в общественно значимом и активном движении, безусловно, может играть благотворную роль. В то же время очевидно, что «терапевтическое», так же как и политическое, значение таких групп определяется силой их общего потенциала, а также дисциплиной и изобретательностью их лидеров.

Протест гуманистической молодежи принимает разные формы: от романтического эдвардианства и пестрого Wandervogeltum*, чрезвычайно идейного движения «но-

---

*Склонность к перемене мест (*нем.*). — *Прим. перев.*

вых левых» до идентификации со слепым героизмом везде, где «машины» угрожают сокрушить волю человека. Иными словами, все, от реакционного сопротивления любому конформизму машинной цивилизации до переосмысления прав человека и понятия человеческого достоинства в неотвратимом технологическом будущем. Если порой этими требованиями молодые ставят нас в тупик, следует помнить, что именно традиции Просвещения, приняв за само собой разумеющееся стабильный средний класс и свободный мир, подвергли все ценности безжалостному анализу. Теперь молодежь экспериментирует с тем, что осталось от этого «просвещенного» и «проанализированного» мира. Например, просвещение в области психоанализа предполагало, что детская сексуальность и извращения должны стать предметом общественного внимания и что их подавление должно уступить место просвещенному анализу. Теперь следует решить, насколько привлекательны в литературе и в жизни перверсии, как и все извращения вообще. Следовательно, лишь относительная свобода эксперимента сможет скорректировать положение там, где сочетание радикального просвещения и старомодной морали родителей не сумело этого сделать. Но я думаю, что молодежь стремится не к полной вседозволенности, а скорее к тому, чтобы по-новому, прямо и смело взглянуть на реальные факты.

Несомненно, мы еще станем свидетелями трагической переоценки первых попыток молодежи самой, в противостоянии нам, ритуализировать свою жизнь и того, что перед лицом такого вызова старшее поколение слишком легко и быстро откажется от функции законодателя и критика. Ведь без лидера, которому в случае необходимости оказывается сильное сопротивление, молодые гуманисты могут остаться не у дел и кончат тем, что каждый индивид и каждая группировка будут эпизодически предаваться «экспансии осознания».

Теперь перейдем от теории к утопии. Возможность настоящей поляризации новой специализированно-технологической и универсалистско-гуманистической идентичностей реальна по одной простой причине: подобная поляризация характерна для любого исторического периода. Новое поколение, вырастающее в атмосфере научно-технического прогресса, ежедневно сталкиваясь с новыми

практическими возможностями, естественно, будет подготовлено к совершенно новому образу мыслей. Это может создать связующее звено между новой культурой и новыми формами общественного устройства, позволяя как-то сочетать специализацию с новой внутренней свободой. А неогуманистическая молодежь как-то приспособится к машинному веку, к которому в силу своего образа жизни она уже полностью принадлежит. Таким образом, каждая группа найдет в другой ту степень уязвимости или стойкости, которую она способна активизировать. Но поляризация — это постоянное напряжение и динамическое взаимодействие. Говоря это, я не предрекаю того, что сотрется резкость противостояния технологической и неогуманистической идентичностей, и не выражаю желания, чтобы это случилось. Ведь динамическое взаимодействие предполагает ясно выраженные различия. Я хочу сказать, что молодежь, при всем ее разнообразии, имеет общую судьбу, то есть что изменится сам процесс смены поколений. Это утверждение не означает отказа от идеи жизненного цикла человека или значения в нем идентичности. Я скорее утверждаю, что функции поколений несколько иначе распределятся между важнейшими этапами становления идентичности. Уже сегодня простое разделение на старшее поколение, то есть поколение родителей, и молодое, то есть поколение людей, еще не ставших родителями, как понятно из вышесказанного, достаточно устарело. Быстрое развитие технологии приводит к тому, что традиционные способы старения не успевают институализироваться так быстро, чтобы молодое поколение могло непосредственно следовать за старшим или, напротив, оказать ему революционное сопротивление. Например, старение будет проходить (или уже сейчас проходит) совершенно по-разному для тех, кто не соответствует более современным профессиональным требованиям, и для тех, кто на что-то еще способен. Точно так же молодое взрослое поколение будет делиться на старших и младших молодых взрослых, при этом не слишком молодые и не слишком старые специалисты, вероятно, займут положение главных арбитров — на ограниченный период профессионального роста каждой из этих групп. Их влияние в значительной мере заменит традиционное родительское. Но это также означает, что «молодое поколение» будет более четко разделено или уже

разделено (о чем говорит мой преподавательский опыт) на старшее и младшее молодое поколение, при этом старшее должно будет (и хочет) перенять многое из поведения младшего. Таким образом, относительный отход от дел родителей и появление молодых взрослых специалистов — постоянной и постоянно сменяющейся авторитетной силы — приведет к тому, что старшая молодежь, ведомая этой молодой силой, должна будет брать на себя все большую ответственность за младших молодых, а также и ответственность за ориентацию специалистов и старшей молодежи. Но сделать это можно, лишь признав и развивая в старшей молодежи присущую этому возрасту *этическую* способность — истинный критерий идентичности. То, что мы постоянно недооцениваем этот потенциал и даже патерналистски отрицаем его, не нравится молодежи гораздо сильнее, чем наши вялые и неэффективные попытки поддерживать порядок при помощи запретов. Во всяком случае, в условиях большей продолжительности жизни, новых половых ролей на всех ее этапах, когда возможность выбора идентичности станет общепризнанной ценностью и в принципе будет гарантирована любому ребенку и везде, этика будущего будет озабочена не столько взаимоотношениями поколений, сколько взаимодействием индивидов.

Поскольку это никогда уже не будет регулироваться раз и навсегда установившейся традицией, это, вероятно, не будет, как раньше, заботой «движений». Вместо этого общество придумает что-то новое, но это новое может возникнуть лишь на основе новой, обновленной этики, в состав ценностей которой войдет витальный момент в процессе постоянного изменения.

7

В заключение я вернусь от утопических рассуждений назад, к прошлому человечества, на этот раз к очень длительному периоду его развития, а именно к его социогенетической эволюции, бросив краткий взгляд на сады Эдема.

Как у человека появилась потребность в индивидуальной идентичности? До Дарвина ответ был ясен: Господь создал Адама по своему образу и подобию, как отражение

Его Идентичности, и тем самым завещал человечеству блаженство и отчаяние индивидуализации и веры. Признаюсь, лучшего объяснения я так и не придумал. Рай, конечно, много раз подвергался утопическому переосмыслению со времени отторжения человека от единства мироздания — отторжения, которое навеки привязало человеческую идентичность к способу производства, совместному труду, а также к технологической и социальной гордыне.

Однажды житель Новой Англии работал у себя в саду. Проходивший мимо священник поздравил его с хорошим урожаем, выращенным с Божьей помощью. «Да, — ответил тот, — а видели бы вы, каково приходилось Господу одному». В этой истории Бог не мертв, а просто поставлен на свое место. Каждая культурная общность на определенном этапе технологического развития по-своему осваивает Неведомое. Но человек века просвещения и технологии, кажется, более, чем люди всех предшествующих эпох, склонен думать, что мир принадлежит ему и что Бог, склонный к экспериментам, очень похожий на человека, готов посторониться. Во всяком случае, я слышал, как очень умные мужчины (женщины — никогда) утверждали, что ничего в принципе непознаваемого в природе нет. Одна женщина спросила такого технократа-метафизика: «А смерть тоже познаваема?» Загадочно улыбнувшись, он утвердительно кивнул. Поэтому человек, сказал он, может добиться изменений в природе или в себе самом в соответствии с любой заданной целью. «Чьей целью?» — спросила женщина. Он опять улыбнулся. Таким образом, для современного сознания характерно, что человек снова интериоризирует бессмертную Идентичность, ранее спроецированную им на небеса (теперь в принципе досягаемые), и пытается переделать себя по образцу технологического сознания. Однако, поскольку человек сегодня способен полностью уничтожить весь людской род, формирование общечеловеческой идентичности становится абсолютной необходимостью.

Но для этой цели возрожденные формы гуманизма и свободомыслия не годятся. Следует помнить, что их первым сторонникам не были известны две вещи: большая бомба и маленькая пилюля, которые, хотя и не дают человеку полной власти над жизнью и смертью, предоставляют ему возможность решать вопрос о жизни и смерти

конкретных людей — и эта возможность потребует новых «политических» форм.

Это заставляет нас перейти к рассмотрению другого аспекта проблемы, который, во всяком случае, поможет понять, сколь важна проблема идентичности, и будет лучшим доводом в пользу того, чтобы не торопиться с выбором определенной методологии или дефиниции. Ведь потребность человека в психосоциальном тождестве коренится именно в его социогенетической эволюции. Уоддингтоном было сказано, что для социогенетической эволюции человека характерно именно признание авторитета. Я считаю, что формирование личности неотделимо от этого, так как настоящий авторитет может существовать только внутри определенной групповой идентичности.

Человек как биологический вид выжил, будучи подразделен на группы, которые я называю *псевдовидами*. Сначала такими псевдовидами были отдельные стаи или племена, классы, нации, но затем и каждое религиозное сообщество стало считать себя единственным настоящим представителем человечества, а всех остальных — странным и непонятным изобретением какого-нибудь незначительного божка. Иллюзия избранности укрепляется наличием у каждого племени собственной теории, мифологии, а позднее — и истории: этим обеспечивалась верность определенной экологии и морали. Не совсем ясно было, откуда же взялись все остальные племена, но, раз уж они появились, их можно было по крайней мере использовать в качестве экрана, на который проецировались негативные модели идентичности — необходимые, хотя и неприятные дубликаты положительных. Такая проекция и территориальное разделение оправдывали истребление друг друга in majorem gloriam*. Таким образом, если и можно сказать, что идентичность — «полезная вещь» в эволюции человека, поскольку полезно то, что служит выживанию, не следует забывать, что эта полярная категоризация служила подтверждению превосходства одного из псевдовидов над другими. Возможно, мы и наша молодежь обращаемся к размышлениям об идентичности именно потому, что мировые войны показали: прославление псевдовидов

*Для вящей славы (*лат.*). — *Прим. перев.*

может привести к гибели всего человечества как вида, поэтому до создания универсальной технологии необходимо сформировать универсальную человеческую идентичность. Именно она объединит часть большинства и меньшинства нашей молодежи в одно целое. Но это же подвергнет все типы идентичностей смертельной угрозе. Люди «с предрассудками» смогут начать смертельную войну в их защиту, а новые нации и даже те древние, чья «новая» национальная идентичность окажется под угрозой, вполне могут замедлить и поставить под вопрос общемировую.

Итак, псевдовиды — один из самых зловещих аспектов любой групповой идентичности. Но и в любой идентичности есть «псевдоаспекты», которые представляют угрозу для индивида. Ведь развитие человека не начинается и не кончается идентичностью: сама идентичность для зрелого человека становится относительной. Психосоциальная идентичность необходима как якорь в быстротечном существовании человека «здесь и теперь». То, что оно временное, не значит, что им можно пренебречь. Если Норман Браун призывает тех, кто жаждет обрести свою идентичность: «Затеряйтесь», а Тимоти Лиэри: «Уйдите», то я бы сказал, что для того, чтобы затеряться, надо сначала найти себя, а чтобы откуда-то уйти, надо сначала стать членом какой-то общности. Опасность экзистенциализма, который по-прежнему адресуется молодым, в том, что он уклоняется от ответственности за процесс смены поколений и, таким образом, защищает бесплодную идентичность. Изучение биографий разных людей показало, что за пределами детства, закладывающего этические основы нашей идентичности, и идеологии юности только этика зрелого возраста может гарантировать следующему поколению возможность пройти полный цикл человеческой жизни. А только это позволяет индивиду преодолеть границы своей идентичности — по-настоящему достичь действительной индивидуальности и одновременно шагнуть за ее пределы.

Итак, мы видим, что рамки проблемы идентичности расширяются. Работая с ветеранами войны и с молодыми людьми, имеющими серьезные психические нарушения, мы сформулировали понятие нормального кризиса в индивидуальном развитии. Анализируя преступность и вспышки насилия, мы пришли к мысли о важности иден-

тичности в социогенетической эволюции. Анализ обусловленности идентичности обществом сформировал у нас представление о расширении ее границ. Далее мы дадим обзор этих шагов, приводя подробно результаты наших наблюдений, чтобы знать, из чего мы исходили, вводя этот термин, и к чему, возможно, это нас приведет.

Когда речь идет о важнейших аспектах человеческого существования, мы можем в каждый данный момент строить предположения о том, что́ по личным, концептуальным или историческим причинам является для нас существенным. Но даже в этот момент факты и выводы из них будут меняться у нас на глазах. Особенно сейчас, когда наши объяснительные теории осознаются в определенном историческом контексте, с которым наши выводы столь непосредственно связаны, что никакая новая «традиция» просто не успевает образоваться, — в такое время любая концепция человека превращается в эксперимент с жизнью. Новое самосознание человека и его внимание к этому самосознанию сначала привели к возникновению научной мифологии сознания, то есть к мифологическому употреблению научных терминов и методов, как будто наука об обществе может пройти и пройдет, ввиду безотлагательности стоящих перед ней задач, весь долгий путь естественных наук от натурфилософии до разделения на чистую и прикладную науки. Но человек, объект индивидуальной и общественной психологии, слишком изменчив, чтобы его можно было адекватно описать в терминах точно измеримых величин. Обзор и анализ двух десятилетий исследований не дают оснований утверждать, что их результаты сложились в систему, которая заменит собой ранее отброшенные; это фрагмент умозрительного жизненного опыта, сила которого в его актуальности и исторической определенности.

Глава II
Принципы исследования

I. Дневник врача

Психоаналитическое изучение «эго» еще не сумело объяснить соотношение между этой «внутренней силой» и общественной жизнью. Люди, относящиеся к одной *этнической группе*, являющиеся современниками одной *исторической эпохи* и взаимодействующие в сфере *экономики*, имеют и общие представления о добре и зле. В бесконечном разнообразии этих представлений отражается трудноуловимая природа культурных различий и исторических перемен; преобразуясь в социальные модели данной эпохи, они приобретают окончательную конкретность в борьбе каждого индивида за целостность «эго» — и в неудачах, которые терпят в этой борьбе наши пациенты. Но в традиционной истории болезни именно сведения о месте жительства пациента, его национальном происхождении и профессии могут быть указаны неправильно, если нужно сохранить его инкогнито. При этом полагается, что сама динамика болезни всем этим не определяется. Итак, считается, что истинная природа ценностей, характеризующих окружение человека, настолько «очевидна», что вряд ли представляет интерес для психоаналитика. Я не буду сейчас говорить о том, как это обосновывается[1], а просто изложу некоторые наблюдения из своего дневника. Они, как мне кажется, показывают, что социальные модели данной эпохи значимы и практически и теоретически, от них нельзя отделаться краткими и снисходительными упоминаниями о роли, «также» играемой «социальными факторами»[2].

Пренебрежение этими факторами, безусловно, не способствовало сближению психоанализа с науками об обществе. С другой стороны, исследователи общества и историки продолжают игнорировать то простое обстоятельство, что все люди рождены матерями, что все когда-то были

детьми, что жизнь людей и народов начинается в детской, что общество состоит из людей, которые из детей превращаются в родителей и которым суждено впитать в себя исторические перемены, происходящие при их жизни, и самим делать историю для своих потомков.

Только общими усилиями психоанализ и науки об обществе смогут наконец описать жизнь индивида в меняющемся обществе. Энергичные шаги в этом направлении были предприняты видными психоаналитиками — их обычно называют «неофрейдистами», которые вышли за рамки «эго-психологии»+. Не прибегая к их терминологии, которая, по-моему, неоправданно приспосабливает некоторые основные понятия фрейдизма к новому стилю научного мышления, я ограничусь изложением наблюдений, которые, возможно, помогут по-новому сформулировать соотношение «эго» и общественного устройства.

1. Групповая идентичность и «эго-идентичность»

А

Первые положения Фрейда, касающиеся «эго» и его отношения к обществу, естественно, определялись общим состоянием психоанализа того времени и формулировками, предлагаемыми тогда социологией. В центре внимания было «ид» — инстинктивная сила, движущая человеком изнутри. В своих первых рассуждениях о психологии групп Фрейд ссылался на наблюдения французского социолога Лебона над поведением масс. Это наложило отпечаток на последующие рассуждения психоаналитиков о «массах», поскольку «массы» у Лебона — это общество разочарованных людей, беспомощная толпа в период анархии, охватившей общество в промежутке между двумя этапами консолидации; толпа, и в лучших и в худших своих проявлениях следующая за вождем. Такие толпы действительно существуют; их определение верно и по сей день. Однако между этой социологической моделью и психологической, составляющей основу психоаналитического метода, лежит глубокая пропасть. В последнем случае реконструкция прошлого индивида на основании данных позитивных и негативных перенесений проводится в ситуа-

ции, когда пациент находится с глазу на глаз с врачом. Расхождение в методах закрепило в психоанализе искусственное и преувеличенное противопоставление изолированного индивида, все время проецирующего семейную обстановку периода раннего детства на «внешний мир», «индивиду в толпе», погруженному в то, что Фрейд называл «аморфной массой». Но то, что человек вообще может быть психологически одинок, что «одинокий» человек существенно отличается от того же человека в составе какой-либо группы, что человек, временно находящийся в одиночестве или запертый в кабинете психиатра, перестает быть «политическим» животным и выключается из общественных действий (или бездействия), к какому бы классу он ни принадлежал, — все эти и подобные им стереотипы требуют тщательного пересмотра.

Понятие «эго» сначала было описано через определение этих двух противоположностей: биологического «ид»⁺ и общественных «масс». «Эго», индивидуальный центр организованного опыта и разумного планирования, подвергается опасности и со стороны хаоса первобытных инстинктов, и со стороны необузданной толпы. Если Кант, говоря о бюргере, считал, что его нравственная опора — это «звезды над ним» и «моральный закон внутри него», то ранний Фрейд поместил напуганное «эго» между «ид» внутри человека и толпой вокруг него.

Для охраны непрочной нравственности загнанного индивида Фрейд поставил внутри «эго» «супер-эго»⁺. И в этом случае акцент был сделан на инородную силу, навязанную «эго». «Супер-эго», указывал Фрейд, — это интериоризация всех запретов, которым должно подчиняться «эго». Они навязываются в детстве посредством критического влияния сначала родителей, а позднее профессиональных воспитателей и «неопределенного множества людей», которые и составляют «окружение» и «общественное мнение»[3].

В обстановке всеобщего неодобрения изначальная наивная любовь ребенка к себе оказывается под угрозой. Он начинает искать модели, по которым может себя оценивать и которым может подражать, желая стать счастливым. Если ему это удается, он приобретает самоуважение, не слишком адекватный заменитель первоначального нарциссизма⁺ и ощущения всесилия.

Эти ранние умозрительные модели долго определяли направление исследований и лечебной практики психоанализа, хотя центр исследований переместился на различные генетические проблемы, а также на наблюдения, подтверждающие важность общества для конструктивного развития индивида. От изучения того, как «эго» растворяется в аморфной массе других людей, нам необходимо перейти к проблеме формирования «эго» ребенка, живущего в обществе. Вместо того чтобы выяснить, чего давление общества лишает ребенка, мы хотим понять, что́ оно дает ребенку, поддерживая его жизнь, и как, удовлетворяя его потребности, общество включает его в определенный стиль культуры. Вместо того чтобы принимать на веру в качестве обязательной модели иррационального поведения человека такие «данности», как Эдипов комплекс, мы исследуем, как общественное устройство определяет структуру семьи; ведь, как сказал в конце жизни Фрейд, «супер-эго» определяется не только личными качествами самих родителей, но и всем тем, что повлияло на них, вкусами и нормами общественного класса, к которому они принадлежат, и их национальными особенностями»[4].

Б

Фрейд показал, что сексуальность начинается в детстве, он также оставил в нашем распоряжении средства для доказательства того, что истоки общественной жизни лежат в самом раннем этапе жизни каждого индивида.

Эти средства можно применить к изучению так называемых примитивных обществ, в которых ребенок, видимо, включен в четко определенную экономическую систему и имеет перед глазами ограниченный, статичный набор социальных прототипов. Воспитание в таких группах — это процесс формирования «эго» ребенка, когда через ранние телесные ощущения ему передаются основные способы организации опыта, характерные для данной группы, — то, что можно назвать групповой идентичностью.

Я хотел бы проиллюстрировать понятие групповой идентичности ссылкой на антропологические наблюдения, проведенные в 1938 г. Г.С. Мекеелем и мной[5]. Мы описывали, как в процессе обучения одного индейца из племени су исторически сложившаяся идентичность охотника

на бизонов вошла в противоречие с классовой и профессиональной идентичностью его воспитателя, работника американской государственной службы. Мы указывали на то, что идентичность этих двух групп основана на полярно противоположных географических и исторических представлениях (коллективное «эго»-пространство-время), а также противоположных экономических задачах (коллективных жизненных целях).

В остатках идентичности индейцев су доисторическое прошлое — мощная психологическая реальность. Судя по поведению покоренного племени, его жизненной целью были пассивное сопротивление настоящему, которое не позволяет собрать воедино осколки идентичности, характерной для экономического уклада прошлого, и реставрация прошлого в будущем: время снова перестанет быть векторным, охотничьих угодий опять будет сколько угодно, — реставрация, которая возродит абсолютно центробежную жизнь охотников-кочевников. Их воспитатели, наоборот, проповедуют ценность центростремительных и локализованных целей: родной дом, семейных очаг, счет в банке — все это значимо в рамках той жизненной модели, в которой прошлое преодолено, а полнота осуществления желаний в настоящем приносится в жертву ради более высокого уровня жизни в будущем. Путь к этому будущему — не внешняя реставрация, а внутренние изменения.

Очевидно, что каждый элемент жизненного опыта членов каждой из этих двух групп, одобряемый или оспариваемый членами другой группы, должен быть определен через его место на сетке координат этих двух сосуществующих укладов жизни. В примитивном обществе люди имеют прямой доступ к источникам и средствам существования. Их орудия — продолжение человеческого тела. Дети в таких группах участвуют в производстве и в магических обрядах; для них тело и среда обитания, детство и культура могут быть полны опасностей, но они составляют единый мир. Набор социальных прототипов невелик и устойчив. В нашем мире машины уже не продолжение нашего тела. Наоборот, целые организации людей становятся продолжением машин; магия обслуживает лишь промежуточные звенья; а детство стало отдельным периодом жизни со своим собственным фольклором. Расширение цивилизации, а также ее стратификация и специализация

вынуждают детей строить модель своего «эго» на основе меняющихся, изолированных и противоречивых прототипов.

Неудивительно, что индейские дети, вынужденные жить по обеим схемам одновременно, часто оказываются разочарованными в своих надеждах и не знают, к чему им стремиться. Ведь вдохновляющее растущего ребенка ощущение контакта с реальностью происходит из осознания того, что его индивидуальный способ освоения опыта, синтез его «эго» — один из успешных вариантов группового самосознания и что оно не противоречит его ощущению пространства-времени и жизненной схеме. Например, ребенок, который только что научился ходить, очевидно, не только хочет повторить эти движения и усовершенствовать этот навык. Стремясь к чувственному удовольствию в смысле локомоторного эротизма по Фрейду или к совершенству в смысле рабочего принципа Айвза Гендрика, он одновременно осознает себя в новом статусе, в качестве «того, кто умеет ходить», какие бы следствия это осознание ни имело в системе координат жизненной схемы данной культуры — означает ли это «тот, кто сможет быстро догнать убегающую добычу», или «тот, кто далеко пойдет», или «тот, кто будет держаться прямо», или «тот, кто может зайти слишком далеко». Быть «тем, кто умеет ходить», — одна из ступеней развития ребенка, способствующих, через сочетание физического совершенства и культурной значимости, функционального удовольствия и общественного признания, появлению у ребенка реалистичного *самоуважения*. Это самоуважение ни в коем случае не является всего лишь нарциссическим продолжением детского ощущения всесилия. Оно постепенно перерастает в убеждение, что «эго» может эффективно способствовать достижению реального коллективного будущего, убеждение, формирующее в данной общественной реальности хорошо организованное «эго». Это ощущение я предварительно назвал «эго-идентичностью». Попробуем теперь передать объем этого понятия как отражения субъективного опыта и динамичных фактов, как явления психологии групп и предмета медицинского исследования.

Но здесь необходимо различать идентичность индивида и идентичность группы. Идентичность индивида основывается на двух одновременных наблюдениях: на ощущении

тождества самому себе и непрерывности своего существования во времени и пространстве и на осознании того факта, что твои тождество и непрерывность признаются окружающими. Но то, что я назвал «эго-идентичностью», имеет отношение не просто к самому факту существования; это как бы качество существования, придаваемое ему этим «эго». В таком случае «эго-идентичность» в его субъективном аспекте — это осознание того, что синтезирование «эго» обеспечивается тождеством человека самому себе и непрерывностью и что *стиль индивидуальности* совпадает с тождеством и непрерывностью того *значения, которое придается значимым другим* в непосредственном окружении.

В

Вернемся к «ид». Когда Фрейд применил в психологии понятие физической энергии, это было важнейшим шагом вперед. Но упор на теоретическую модель, согласно которой энергия инстинктов передается, перемещается и трансформируется по аналогии с законом сохранения энергии в закрытой системе, уже недостаточен для объяснения данных, полученных при изучении человека в его историческом и культурном окружении.

Нам нужно найти связь между социальными представлениями и организмическими силами — не только в том смысле, что эти представления и силы, как обычно говорят, «взаимосвязаны». Более того, взаимодополнительность групповой идентичности и «эго-идентичности», этоса и «эго» создает более сильный энергетический потенциал как для синтеза «эго», так и для организации общества. Сначала я попытался найти подход к этой проблеме, сравнивая детские травмы, которые, как показывают клинические наблюдения, были у всех людей, с антропологическими наблюдениями над тем, какие формы принимают травмы в данном племени. Такой травмой может стать отнятие от материнской груди. «Типичная» детская травма, переживаемая всеми индейцами племени су, «случается» тогда, когда кормящие матери в наказание за то, что младенец кусает грудь, отнимают его от груди, тогда как ранее он не знал отказа в материнском молоке. Говорят, все дети реагируют на это очень гневно. Итак,

онтогенетическое «изгнание из рая» приводит к «фиксации», которая, как мы обнаружили, имеет решающее значение для групповой идентичности индейцев су и для индивидуального развития членов этого племени. Исполнитель солнечного танца в высший момент религиозного обряда втыкает себе в грудь маленькие палочки, привязывает их к веревке, веревку к шесту и в трансе движется назад до тех пор, пока веревка не натягивается и не пробивает кожу на груди так, что кровь заливает тело. Это экстремальное поведение имеет как бессознательное, так и культурное значение. Индеец мужественно искупает тот грех, за который он поплатился потерей райского блаженства — привычной близости к материнской груди, но в качестве главного действующего лица обряда он также воспроизводит в игровой форме общий опыт[6].

Индеец ирокез после сношения с женщиной парится в бане до тех пор, пока его кожа не смягчится и не увлажнится настолько, что он может пролезть через очень маленькое овальное отверстие в стене, а потом прыгает в холодную реку. Возродившись, он освобождается от опасных женских пут и становится достаточно чист и силен для того, чтобы ловить священного лосося. В этом случае самоуважение и чувство безопасности мужчины восстанавливаются путем ритуального искупления. С другой стороны, те же индейцы, совершив ежегодный инженерный подвиг: перекрытие реки дамбой, что обеспечивает запас лосося на всю зиму, предаются беспорядочным половым сношениям и неистовым разнузданным излишествам, что раз в год сводит искупление на нет. Во всех этих ритуальных действиях «ид» и «супер-эго» находятся в конфликте — таком же, какой мы научились распознавать в «тайных ритуалах», то есть в импульсивных и навязчивых симптомах наших пациентов.

Но если попытаться определить состояние относительного равновесия между двумя этими крайностями, если задать себе вопрос, что́ представляет собой индеец, когда он просто размеренно живет своей индейской жизнью, занимаясь повседневными домашними делами, тогда нашему описанию будет не хватать системы отсчета. Мы пытаемся показать, как сменяющие друг друга эмоции и представления во всех условиях выдают в человеке вечный конфликт, проявляющийся в смене настроений — от чрезвычайно по-

давленного через то, которое Фрейд называл «некоей промежуточной стадией», до интенсивного ощущения благополучия. Но так ли уж несущественна с функциональной точки зрения эта промежуточная стадия, чтобы можно было ограничиться ее отрицательным определением, указанием на то, чем она не является, на то, что в это время ни маниакальные, ни депрессивные тенденции явно не выражены; что в это время на поле битвы внутри «эго» наступает кратковременное затишье: что «супер-эго» временно сложило оружие, а «ид» согласилось на перемирие?

Г

Необходимость дать определение относительному равновесию между двумя «состояниями души» остро встала тогда, когда понадобилось оценить боевой дух войск во время войны. У меня была возможность провести некоторые наблюдения в одной из самых крайних ситуаций, а именно во время жизни на подводной лодке.

Во время службы на подводной лодке эмоциональная гибкость и социальная находчивость членов команды подвергаются суровой проверке. Мечты о геройстве и фаллические локомоторные фантазии, с которыми молодой доброволец приступает к службе на подводной лодке, в обстановке повседневной рутинной работы, ежедневного пребывания в замкнутом пространстве, и при том, что, выполняя свои обязанности на борту, он становится слеп, глух и нем, в целом оказываются иллюзорными. Крайняя степень зависимости членов команды друг от друга, общая ответственность за поддержание нормальных условий жизни при длительных и серьезных лишениях — все это вскоре вытесняет старые фантазии. Команда и капитан образуют симбиоз, управляемый не только официальными инструкциями. С поразительным тактом и природной мудростью заключается молчаливое соглашение, по которому капитан становится чувствительной системой, мозгом и совестью всего этого подводного организма, состоящего из тонко настроенных механизмов и людей. По этому соглашению члены команды мобилизуют в себе компенсаторные механизмы, позволяющие им переносить однообразие жизни и в то же время быть в постоянной боевой готовности (например, совместное потребление обильной пищи). Та-

кая общая автоматическая адаптация к экстремальной обстановке на первый взгляд имеет «психоаналитический смысл»; здесь прослеживается очевидная регрессия к первобытной стае и к некой речевой летаргии. У психиатров не так уж редко лишь на основании аналогий возникают подозрения в том, что целые подразделения, команды, профессиональные группы людей движимы главным образом гомосексуальными или психопатическими склонностями; и действительно, бывали случаи, когда индивиды, заподозренные в явном гомосексуализме, подвергались со стороны команды подводной лодки крайне презрительному и жестокому обращению. И все же, если мы опять спросим себя, почему люди выбирают такую жизнь, почему они не уходят, несмотря на ее невероятное однообразие и на то, что временами она сопряжена с большой опасностью, и особенно как им удается выполнять свои обязанности, сохраняя хорошую физическую форму, не унывая, иногда героически, — удовлетворительного функционального ответа у нас нет.

То, что объединяет моряка-подводника, работающего индейца и растущего ребенка со всеми людьми, отождествляющими себя с тем, чем они занимаются в данный момент или в данном месте, сродни тому «промежуточному состоянию», которое, как мы надеемся, сохранят наши дети, став взрослыми, и которого с восстановлением синтезирующей функции «эго» достигнут наши пациенты. Когда это состояние достигнуто, игры становятся более изобретательными, здоровье — пышущим, сексуальность проявляется свободнее, а в работе появляется больше смысла. Таким образом, нам нужны понятия, которые пролили бы свет на *взаимодополнительность* синтеза «эго» и социальной организации, дальнейшее развитие которых — цель любой психотерапевтической деятельности, общественной и индивидуальной.

2. Патология «эго» и исторические перемены

А

В распоряжении ребенка много возможностей идентифицировать себя более или менее экспериментальным путем с реальными или воображаемыми людьми обоего пола, с различными привычками, свойствами, идеями, профес-

сиями. Иногда кризисный момент заставляет его сделать решительный выбор. Но каждый данный исторический период предлагает ограниченный набор социально значимых моделей, которые могут успешно сочетаться в процессе идентификации. Их приемлемость зависит от того, насколько они удовлетворяют одновременно потребностям созревающего организма, способу синтеза «эго» и требованиям данной культуры.

Ужасная интенсивность проявления невротических симптомов или преступных склонностей многих детей может выражать потребность незрелого «эго» в защите от бездумного «руководства» или наказания. То, что наблюдателю может показаться особенно сильным проявлением полового инстинкта, часто лишь отчаянная мольба позволить синтезировать и сублимировать «эго» единственно возможным для ребенка способом. Поэтому можно предположить, что наши молодые пациенты отреагируют лишь на такое лечение, которое поможет им добрать недостающие или упорядочить существующие элементы формирующейся идентичности. В процессе лечения и воспитания можно попытаться заменить нежелательные идентификации на более приемлемые, но изначальное направление, в котором идет формирование идентичности, остается неизменным.

Я вспоминаю об одном немецком солдате, который эмигрировал в Америку из-за того, что не принимал нацизма, или наоборот — потому, что был неприемлем для нацистов. Его маленький сын во время отъезда в Америку еще не мог впитать в себя нацистские теории, и, как большинство детей, он американизировался быстро и легко. Но через какое-то время у него начался невротический бунт против любых авторитетов. То, *что* он говорил о «старшем поколении», и то, *как* он это говорил, совершенно очевидно восходило к нацистским сочинениям, которых он никогда не читал; его поведение было бессознательным индивидуальным бунтом по образцу бунта гитлеровской молодежи. Поверхностный анализ показал, что мальчик, идентифицируя себя с лозунгами молодежи гитлеровского времени, идентифицировал себя с врагами отца.

Родители решили послать его в военное училище. Я ожидал бурного протеста. Но как только на него надели форму и пообещали золотые нашивки, он сильно изме-

нился. Как будто эта армейская символика произвела в его внутреннем устройстве внезапную и решительную перемену. Мальчик бессознательно стал членом гитлерюгенда американского образца, курсантом военной школы. Отец, обыкновенное гражданское лицо, теперь был не опасен и вообще не имел значения.

Однако когда-то именно отец и те, кто играл его роль, бессознательно (особенно рассказывая о подвигах времен Первой мировой войны) способствовали формированию у мальчика военного идеала — составного элемента групповой идентичности многих европейцев, а для немцев имеющего особое значение: принадлежности к малочисленной группе этнически чистых немцев-профессионалов. Как историческое средоточие многих более частных идентификаций, идентичность военных продолжает по-прежнему доминировать даже у тех, в ком в результате политических событий она не успела сформироваться.

Есть более тонкие способы заставить детей считать образцами добра и зла исторических персонажей или живых людей — мелкие проявления эмоций, например любви, гордости, гнева, вины, тревоги, сексуальной напряженности. Именно эти проявления, а не просто слова, или стоящее за ними значение, или философия дают ребенку понятие о том, что́ в этом мире действительно значимо, то есть о переменных величинах группового пространства-времени и о жизненной перспективе. Столь же трудноуловимы охватывающие семью мелкие социоэкономические и культурные страхи, вызывающие регрессию индивидов к инфантильному искуплению, возврат к примитивным этическим установкам. Когда такие страхи функционально и во времени совпадают с одним из психосексуальных кризисов ребенка, они играют важную роль в «выборе» симптомов, ибо в любом неврозе проявляются и общие страхи, и личная тревога, и соматическая напряженность. Но это значит, как и в приведенном выше примере, что какой-нибудь симптом может сочетать в себе индивидуальную и историческую регрессию. В результате в нашей культуре, один из элементом которой — комплекс вины, случаются не только индивидуальные регрессии к раннему чувству вины и стремлению искупить ее, но и реакционный возврат к содержанию и форме исторически более ранних и жестких принципов поведения. Когда со-

циальный и экономический статус группы в опасности, имплицитные этические установки приобретают более ограниченный, магический, более замкнутый и нетерпимый характер, внешняя опасность как бы кажется идущей изнутри. С медицинской точки зрения важно понять еще одно: то, что наши пациенты настойчиво описывают как среду своего детства, часто является уплотнением нескольких отдельных периодов, в которых слишком много одновременных перемен имело следствием паническую атмосферу, «заряженную» различными противоречивыми аффектами.

В случае с пятилетним мальчиком, у которого начались приступы судорог после того, как он несколько раз стал свидетелем насилия и внезапной смерти, восприятие им самой идеи насилия объясняется историей его семьи. Его отец был восточноевропейским евреем, которого «мягкие», кроткие родители привезли в пятилетнем возрасте в Нью-Йорк, Ист-Сайд, где выжить можно было, лишь восприняв элементы идентичности парня, который бьет первым. Этот образ отец старательно внедрял в незрелую идентичность нашего маленького пациента, не скрывая, чего это стоило ему самому. Добившись умеренного достатка, отец открыл магазин на главной улице маленького североамериканского городка, поселившись в районе, где необходимость в жестком поведении отпала. Он уговорами и угрозами попытался внушить своему уже дерзкому и любопытному сынишке, что сын лавочника должен учтиво обращаться с неевреями. Эта переоценка элементов идентичности произошла в тот момент, когда мальчик переживал фалло-локомоторную стадию развития и нуждался в четкой линии поведения и в новых возможностях самовыражения. Кстати, он находился в том самом возрасте, в котором его отец стал жертвой миграции. Семейные страхи («Будем учтивы, а то у нас перестанут покупать»), тревога мальчика («Как мне быть учтивым, если я должен вести себя жестко, чтобы быть в безопасности?»), проблема Эдипова комплекса: перенос агрессии с отца на посторонних, и соматическое напряжение, вызванное безадресным гневом, — все это сплелось в один клубок и вызвало короткое замыкание. Наступила эпилептическая реакция, поскольку одновременные перемены в организме,

в среде, в «эго» не были урегулированы относительно друг друга[7].

Б

Теперь я обращусь к описанию того, как исторические прототипы оживают в перенесениях и сопротивлении врачу у взрослых пациентов. Вот пример, иллюстрирующий связь кризиса идентичности, пережитого в детстве, со стилем жизни взрослого.

У одной танцовщицы, имевшей весьма привлекательную внешность, но очень маленький рост, появился неприятный симптом: она держала корпус так напряженно и прямо, что танец стал неуклюжим и некрасивым. Анализ показал, что ее истерическая прямизна была проявлением бессознательной зависти к пенису, спровоцированной в детстве и принявшей у нее эксгибиционистский характер. Пациентка была единственной дочерью американца немецкого происхождения, удачливого бизнесмена, в некоторой степени склонного к эксгибиционистскому индивидуализму, что выражалось, в частности, в гордости за свое могучее телосложение. Он настойчиво вырабатывал прямую осанку (вероятно, уже неассоциируемую сознательно с прусской выправкой) у своих светловолосых сыновей, но не требовал того же от дочери-брюнетки. Он вообще, наверное, не придавал значения осанке женщины. Такое неравенство обострило желание пациентки перещеголять братьев и продемонстрировать в танце «исправленную» осанку, ставшую карикатурой на прусских предков, которых она никогда не видела.

Исторический смысл подобных симптомов обнаруживается путем анализа сопротивления, оказываемого врачу пациентом. Пациентка, которая в своих сознательных и «позитивных» мыслях всегда проводила параллель между сложением отца и «нордической» статью высокого врача, к своему ужасу, во сне видела врача в облике маленького, грязного, скрюченного еврея. Этим образом человека низшей расы, лишенного мужественности, она, очевидно, отказывала врачу в праве проникнуть в тайну ее болезни. Но этот же образ раскрыл опасность, которую представляло для ее хрупкой «эго-идентичности» сочетание двух несовместимых исторических прототипов: идеального (не-

мец, высокий, фаллический) и дурного (еврей, маленький, кастрат). В результате «эго-идентичность» пациентки попыталась устранить эту опасную альтернативу и сублимировать ее в роли очень современной танцовщицы с очень прямой осанкой — находчивое решение, в котором, однако, было слишком много от эксгибиционистского протеста против ущербности ее женского тела. Мужской эксгибиционизм отца, так же как и его немецкие предрассудки, был внушен пациентке через детские впечатления, которые сохранились в ее подсознании, приведя к серьезным нарушениям.

Этот анализ позволяет, по-моему, сделать следующее обобщение: существующий в подсознании негативный образ, на который «эго» больше всего боится походить, часто включает в себя представление об оскверненном, кастрированном теле, об этническом изгое, об эксплуатируемом меньшинстве. Проявляясь в большом разнообразии синдромов, такие ассоциации тем не менее универсальны для мужчин и женщин, представителей как большинства, так и различных меньшинств, для всех классов данного национального или культурного сообщества. Ведь «эго» в попытках синтеза старается свести наиболее сильные образцы добра и зла (так сказать, финалистов), а вместе с ними и всю систему представлений о высшем и низшем, хорошем и плохом, мужественности и женственности, свободе и рабстве, силе и бессилии, красоте и уродстве, черном и белом, большом и маленьком к одной простой альтернативе, чтобы вместо бесчисленных мелких стычек вести одну битву, выработав общую стратегию. В связи с этим скрытое представление о более однородном, чем на самом деле, прошлом оказывает реакционное воздействие на пациента в форме различных способов сопротивления врачу. Это воздействие надо изучать, чтобы понять происхождение альтернативы, в поисках которой находится «эго» пациента.

Можно добавить, что бессознательная ассоциация национальных прототипов с этическими и сексуальными неизбежна при формировании любой группы. Посредством ее изучения психоанализ совершенствует свой метод лечения и в то же самое время способствует постижению бессознательных факторов образования групповых предрассудков. Но, описывая идеальные и плохие прототипы на-

ших пациентов, мы вплотную сталкиваемся и с клиническими данными, на которых Юнг основывал свою теорию врожденных прототипов («архетипов»+).

Противоречивая теория Юнга напоминает, помимо прочего, и о том основополагающем факте, что концептуальные противоречия могут пролить свет на проблемы идентичности самого наблюдателя, особенно на начальных стадиях наблюдения. Видимо, Юнг мог найти себя в психоанализе лишь путем противопоставления религиозного и мистического пространства-времени своих предков тому, что ему виделось в еврейском происхождении Фрейда. Поэтому его научный бунт привел и к некоторой идеологической регрессии и в конце концов к (слабо отрицаемым им) реакционным политическим действиям. Этому явлению соответствовала реакция на его открытия психоаналитиков. Как будто боясь подвергнуть опасности групповую идентичность, основанную на идентификации с величием Фрейда, психоаналитики проигнорировали не только крайности теории Юнга, но и универсальные явления, действительно им открытые.

Во всяком случае, такие понятия, как анима и анимус, то есть образы, представляющие женственную «сторону» мужчины и мужественную — женщины, узнаваемы в карикатурных образах мужественности и женственности моей пациентки, а также в некоторых более обычных ее представлениях. Синтезирующая функция «эго» постоянно сводит фрагменты и разоренные части всех детских идентификаций ко все более ограниченному набору образов и персонифицированных *гештальтов*+. Для этого оно использует не только исторические прототипы, но и механизмы конденсации и зрительной репрезентации, действующие при формировании коллективных представлений. В *персоне* Юнга слабое «эго», видимо, уничтожается под влиянием неотразимого социального прототипа. Образуется ложная «эго-идентичность», которая не синтезирует, а скорее подавляет тот опыт и те функции, которые представляют опасность для «вывески». Например, господствующий прототип «мужественности» заставляет мужчин исключить из «эго-идентичности» все характерное для слабого пола или кастратов. В результате восприимчивость и материнские склонности оказываются у мужчин в значительной степени скрытыми, неразвитыми, они задавлены чувством вины; остается лишь внешняя оболочка мужественности.

В

Опыт подтверждает грустную истину, что в любой системе, основанной на подавлении, запретах и эксплуатации, подавляемые, исключенные и эксплуатируемые бессознательно принимают тот плохой образ, который навязывается им господствующей группой.

Однажды у меня был пациент — высокий, умный владелец ранчо, влиятельная фигура в сельском хозяйстве американского Запада. Никто, кроме его жены, не знал, что он по происхождению еврей, выросший в еврейском районе большого города. Внешне он шел в гору и преуспевал, но жизнь его была омрачена многочисленными навязчивыми идеями, фобиями, которые, как выяснилось в процессе анализа, воспроизводили обстановку его детства, и это накладывало отпечаток на его поведение на просторах Запада. Друзья и враги, люди, стоящие выше и ниже его на социальной лестнице, — все, сами того не зная, выступали в роли немецких мальчишек и компаний ирландцев, обижавших маленького еврейского мальчика, когда он выходил с изолированной добропорядочной еврейской улицы и направлялся через район многоквартирных домов, где воевали шайки, в хрупкий рай демократической школы. Анализ этого случая явился печальным комментарием к тому факту, что описанный Штрайлером образ плохого еврея не хуже, чем образ, живущий в представлении многих евреев, которые — с парадоксальным результатом — все еще пытаются иногда искупить свое прошлое, хотя оно уже не имеет особого значения в силу того, чем этот человек является сейчас.

Этот пациент был искренне убежден, что единственное спасение для еврея — пластическая операция. При такой болезненной «эго-идентичности» части тела, которые в первую очередь характеризуют данную нацию (в данном случае — нос, у танцовщицы — спина), играют такую же роль, как поврежденная конечность у калеки или гениталии у невротиков. Данная часть тела имеет другой тонус; она кажется больше и тяжелее или меньше, бесплотней, но в любом случае она ощущается как бы от-

дельно от тела и в то же время привлекающей внимание окружающих. Людям с нарушенной «эго-идентичностью», калекам снятся сны, в которых они безуспешно пытаются спрятать привлекающую внимание часть тела или случайно ее утрачивают.

Итак, пространство-время «эго» индивида сохраняет социальную топологию обстановки его детства, так же как и основные его представления о собственном теле. Изучение и того и другого необходимо для того, чтобы соотнести детство пациента с существованием его семьи в прототипических регионах востока, юга, на западных или северных окраинах, постепенно включенных в американскую разновидность англосаксонского культурного единства, с миграцией его семьи из, через или в те регионы, которые в разные периоды могли представлять оседлый или подвижный вариант формирующегося американского характера; с переходом семьи в другую религию или с ее религиозным расслоением и соответствующими социальными последствиями; с неудачными попытками достичь определенного социального положения, с потерей такого положения или с отказом от него и, самое важное, с тем человеком или частью семьи, с которыми, где бы они ни были и чем бы ни занимались, сильнее всего связывалось в последнее время ощущение культурного единства.

Покойный дед одного пациента, страдающего навязчивыми идеями, построил особняк в центре большого города на востоке Америки. По завещанию особняк следовало сохранить как семейную крепость, хотя вокруг вырастали небоскребы и многоквартирные дома. Этот особняк стал неким зловещим символом консерватизма. Он как бы говорил миру, что семье *X* нет нужды ни переезжать, ни продавать собственность, ни расширять ее, ни стремиться куда-то выше. Современные коммуникации воспринимались лишь как уютно изолированные дороги, соединяющие особняк с его продолжениями: клубом, загородным домом, частной школой, Гарвардом и т.п. Портрет деда до сих пор висит над камином, маленькая лампочка освещает розовые щеки на его энергичном и довольном лице. Его «индивидуалистская» манера вести дела и почти первобытная власть над судьбой детей известны, но не подвергаются сомнению; скорее они уравновешиваются чуткими проявлениями уважения, скрупулезности и бережливости.

Внуки таких людей знают, что для того, чтобы обрести себя как личность, им надо вырваться из особняка и вступить в кипящую вокруг безумную борьбу. Некоторым это удается; для других этот особняк становится интериоризованной моделью, основным пространством «эго», определяющим защитные механизмы гордой и болезненной замкнутости и ее проявления: одержимость навязчивыми идеями и сексуальную бесчувственность. Их лечение обычно занимает очень много времени, отчасти потому, что стены кабинета врача становятся новым особняком, а задумчивое молчание врача и его теоретический подход к проблеме становятся новым вариантом ритуальной изоляции. Вежливо-«позитивному» перенесению пациента приходит конец, когда немногословность врача начинает напоминать ему скорее сдержанного отца, нежели безжалостного деда. Образ отца, а вместе с ним и перенесение распадаются. Образ мягкого, слабого отца отделен в сознании пациента от образа Эдипа, который слит с образом могущественного деда. Как только врач начинает анализировать этот двойной образ, возникают фантазии, выявляющие огромное значение деда для истинной «эго-идентичности» пациента. Им свойственно властолюбие, яростное чувство превосходства, отчего этим явно заторможенным людям, если им заранее не гарантированы существенные преимущества, трудно участвовать в экономической конкуренции. Этих людей, принадлежащих к высшим слоям общества, сближает с людьми из низших слоев то, что и те и другие в американском обществе — действительно обделенные. И те и другие не могут участвовать в свободной конкуренции, если только не находят в себе сил начать все сначала. Если этого не происходит, они иногда сопротивляются излечению, потому что оно предполагает изменения в «эго-идентичности», новый синтез «эго» в соответствии с изменившейся экономической реальностью.

Единственный способ преодолеть эту глубокую инертность — акцентировать их внимание на воспоминаниях, доказывающих, что на самом деле дед был для ребенка простым, душевным человеком, а его роль в обществе была обусловлена не какой-то первобытной властью, а тем, что исторические обстоятельства благоприятствовали ее проявлению.

Теперь представьте себе мальчика, чьи родители переехали на Запад, «где редко услышишь неодобрительное слово». Дед, сильный и энергичный человек, брался за решение новых и сложных инженерных задач в самых разных районах страны. Дав делу толчок, он предоставлял другим завершать его и ехал в другое место. Жена видела его крайне редко, по случаю зачатия очередного ребенка. Как это часто бывает в семейной жизни, сыновья были на него не похожи — они вели респектабельное оседлое существование в провинции. Разницу в их стиле жизни можно определить так: девиз «убираемся отсюда к черту» сменился лозунгом «останемся здесь, и пусть никто к нам не суется». Довольно характерно, что только его единственная дочь (мать нашего пациента) идентифицировала себя с ним. Однако именно поэтому она не выбрала себе в мужья человека, похожего на сильного отца. Она вышла замуж за слабого человека и вела размеренную жизнь. Сына она хотела воспитать богобоязненным и трудолюбивым. А вырос он безответственным, изворотливым, временами впадал в депрессию, иногда совершал уже неподобающие его возрасту мальчишеские проступки. Временами это был милый, приятный житель Запада, который не прочь выпить в компании.

Встревоженная мать не осознавала того, что на протяжении всего его детства она сама принижала вялого отца и сожалела об отсутствии в своей семейной жизни мобильности — географической и социальной. Идеализируя подвиги деда, она тем не менее впадала в панику от любого проявления в сыне смелости и резвости — они нарушали установившееся спокойствие — и наказывала его за них.

А вот другая проблема. Жительница Среднего Запада, необычайно женственная и деликатная, во время визита к родственникам на Востоке консультируется с психоаналитиком по поводу общей эмоциональной скованности и легкого чувства тревоги. Во время разговора с врачом она кажется почти безжизненной. Через несколько недель у нее иногда стали появляться ассоциации, связанные с ужасными сценами секса и смерти. Многие из этих воспоминаний идут не из глубин подсознания, а из изолированного уголка сознания, куда были загнаны все те ужасы, которые иногда проникали в размеренную обстановку ее

детства, проведенного в среде состоятельного среднего класса. Эта изоляция каких-то фрагментов жизненного опыта похожа на то, что всегда наблюдается у одержимых навязчивыми идеями невротиков. В данном случае она была следствием санкционированного образа жизни, этоса, который действительно стал сковывать нашу пациентку, когда за ней начал ухаживать один европеец и она пыталась представить себе, какой будет ее жизнь в космополитической атмосфере. Перспектива ее привлекала, но в то же время что-то ее удерживало. Воображение ее было разбужено, но сдерживалось тревогой. Желудок отреагировал на этот конфликт неприятным чередованием запоров и поносов. В общем она производила впечатление человека скорее заторможенного, нежели страдающего от бедности воображения в сексуальной или социальной сферах.

Постепенно выяснилось, что в снах никаких ограничений для пациентки не существовало. Если ее свободные ассоциации текли мучительно и вяло, то сны она видела смешные и образные, как если бы они снились не ей, а кому-то другому. Ей снилось, что она приходит на службу в тихой церкви в ярко-красном платье, что она кидает камни в окна респектабельных домов. Но в наиболее ярких снах она снилась себе во времена Гражданской войны сторонницей Южных штатов. Кульминацией был сон, в котором она сидела в туалете с низкими перегородками в середине огромного зала для танцев и махала рукой элегантным офицерам-южанам и их дамам, кружившимся под оглушительные звуки духового оркестра.

Эти сны помогли выявить часть ее изолированного в каком-то уголке сознания детского опыта: нежность и теплоту, подаренные ей дедом, ветераном армии южан, — его прошлое казалось ей сказкой. Несмотря на всю их ритуализованность, патриархальная мужественность и нежная любовь деда были восприняты чуткой девочкой и оказались для ее робкого «эго» более привлекательными, нежели перспектива стандартного преуспевания, ассоциируемая с родителями. Когда дед умер, эмоции пациентки притупились, так как ущербный процесс формирования «эго-идентичности», частью которого они являлись, окончательно зашел в тупик, не получая пищи ни в виде привязанности, ни в форме социальной компенсации.

Психоаналитическое лечение женщин с ярко выраженной идентичностью леди-южанки (идентичностью, характерной не только для представительниц одного определенного класса или нации), видимо, осложняется особым сопротивлением+ пациенток. Обычно наши пациентки — бывшие южанки. «Леди» — защитное амплуа, почти симптом. Желанию вылечиться противодействуют три идеи, связанные в культуре южан с особыми условиями охраны кастовой и расовой идентичности и навязывающие девушке модель поведения леди.

Во-первых, бытует почти параноидное подозрение, что жизнь — это череда решающих испытаний: злостные сплетники пытаются использовать против женщины-южанки ее мелкие слабости и недостатки и безжалостно выносят приговор: леди она или нет. Во-вторых, существует всеобщая убежденность в том, что мужчины, если бы их не сдерживала молчаливо принятая двойная мораль (предоставляющая в их распоряжение худшие, более темные сексуальные объекты в обмен на внешние проявления уважения к леди), не вели бы себя как джентльмены и попытались бы по меньшей мере запятнать имя леди, а значит, и лишить ее возможности найти мужа, социально стоящего выше ее, и лишить такой же перспективы ее детей. Но есть еще одна, столь же двусмысленная установка: мужчина, который не отбрасывает ограничений, налагаемых на джентльмена, когда ему предоставляется возможность одержать победу над женщиной, — тряпка и заслуживает только того, чтобы его безжалостно провоцировали. Таким образом, и обычное чувство вины, и ощущение неполноценности существуют в рамках жизненной перспективы, в которой на уровне сознания доминирует надежда достичь более высокого положения в обществе и которая в силу своей двойственности носит болезненный характер; есть тайная надежда, что появится мужчина, который в миг безрассудной страсти избавит женщину от необходимости вести себя как леди. В основе всего этого — неспособность представить себе, что есть такие сферы жизни, в которых установки мужчин и женщин и их словесное выражение действительно могут совпасть, что можно подняться над уровнем первобытного антагонизма полов. Нет нужды оговаривать, что бессознательные установки такого рода причиняют честным и просвещенным

женщинам тяжелые страдания, но психоанализ возможен лишь при условии вербализации этих интериоризованных стереотипов, а также рассмотрения того, как отражаются в установке пациентки по отношению к врачу ее противоречивые представления о мужчинах.

Конечно, к психоаналитикам идут в основном люди, не выдерживающие напряженности современной американской жизни: множества альтернатив, контрастов, полярных противоположностей. Например, постоянная боязнь быть связанным прочными обязательствами: желание сохранять свободу на случай появления более широких и лучших возможностей. В своих перенесениях[+] и сопротивлениях пациенты воспроизводят предпринятые ими в критические моменты своего детства ущербные попытки совместить быстро меняющиеся и резко противоположные остатки национальных, региональных или классовых идентичностей. Психоаналитик вводится в бессознательные жизненные планы пациента. Его идеализируют, особенно если он по происхождению европеец, сравнивают со своими американскими предками. Или наоборот: ему оказывается противодействие как умному врагу потенциально успешной американской идентичности.

Но пациент может найти в себе смелость воспринимать неожиданности американской жизни и крайности борьбы за достижение экономической и культурной идентичности не как навязанную извне враждебную реальность, а как возможность достижения более универсальной человеческой идентичности. Эта возможность ограничена в тех случаях, когда у индивида в детстве область чувственного восприятия была обедненной или когда «система» мешает ему свободно использовать свои возможности.

Г

Работая с ветеранами, уволенными из армии до окончания военных действий с диагнозом «невротик», мы периодически сталкивались с симптомами частичной потери способности к «эго-синтезу». Многие из этих людей действительно регрессировали до «уровня потери способности функционировать»[8]. Границы их «эго» расплылись, они потеряли способность абсорбировать шоковые впечатления. Любая неожиданность, напряжение, внезапно посту-

пившее извне ощущение, импульс, воспоминание могли вызвать гнев и тревогу. Постоянно «взведенная» нервная система реагировала как на внешние раздражители, так и на телесные ощущения повышением температуры, учащенным пульсом, режущими головными болями. Бессонница не давала восстановить за ночь механизмы эмоциональной защиты, упорядочить во время сновидений эмоции. Потеря памяти, невротическая псевдология+ и путаница в мыслях свидетельствовали о частичной потере ориентации в пространстве и времени. Поддающиеся определению остаточные симптомы «неврозов мирного времени» там, где они были, носили фрагментарный и искаженный характер, как если бы «эго» было неспособно даже на нормальный невроз.

В некоторых случаях причиной такого расстройства «эго» было то, что человек стал очевидцем насилия, в других — постепенное действие множества различных раздражителей. Видимо, эти люди устали от слишком большого количества перемен, затрагивающих одновременно слишком многие стороны жизни. У них всегда наблюдались *соматическое напряжение, социальная паника* и *«эго-тревога»*+. Но главное, эти люди чувствовали, что они больше «не знают, кто они такие»: наблюдалась явная утрата «эго-идентичности». Ощущение тождественности самому себе, целостности и вера в свою социальную роль были утрачены. Именно в процессе этих клинических наблюдений я впервые понял важность допущения о потере чувства идентичности, что и совершенно оправданно, и сразу вносит ясность в дело.

Чувство идентичности в армии было сильнее всего у тех, кто успешно продвигался по службе или входил в высокомеханизированные соединения. Однако люди, чья «эго-идентичность» во время военной службы укреплялась, иногда ломались после увольнения, когда выяснялось, что сформированный у них во время войны образ «я» не соответствовал их более скромным возможностям в гражданской жизни. Но многие не находили в армейской жизни с ее ограничениями и дисциплиной идеальных моделей поведения. Ведь американская групповая идентичность поддерживает «эго-идентичность» отдельного индивида только тогда, когда ему удается сохранить некоторый элемент намеренной неопределенности решения, когда он

смог убедить себя, что следующий шаг зависит от него и что независимо от того, меняется сейчас что-то в его жизни или нет, выбор: уйти или повернуть в противоположном направлении — всегда остается за ним. Переселившемуся в США человеку не понравится, если ему скажут: уезжай; а человеку, живущему где-то постоянно, — если ему скажут: сиди здесь. Стиль жизни и того и другого предполагает наличие альтернативы, которую он может обдумать, принимая самые личные и индивидуальные решения. Для многих солдат идентичность военных была отражением жалкого прототипа простофили, который позволяет сбить себя с толку, помешать ему гоняться, как другие, за удачей и девушками. Но в Америке быть простофилей — значит быть социальным и сексуальным кастратом. Если ты простофиля, даже родная мать тебя не пожалеет.

В высказываниях ветеранов постоянно появлялись воспоминания, которые позволяли им винить за свои военные и мужские неудачи обстоятельства и тем самым уйти от ощущения собственной неполноценности. Их «эго-идентичности» распались на телесные, сексуальные, социальные, профессиональные составляющие, каждая из которых должна была снова уйти от своего плохого прототипа. Их травмированное «эго» пыталось уйти от таких образов, как плачущий ребенок, истекающая кровью женщина, покорный негр, маменькин сынок, паразит, слабоумный, — даже упоминание подобных прототипов могло вызвать у этих людей такую ярость, что они становились способны на убийство или самоубийство; затем ярость сменялась большей или меньшей раздражительностью или апатией. Их старания обвинить в своих проблемах обстоятельства или определенных людей придавали их детским воспоминаниям более отталкивающий характер, а сами они казались психопатами в большей мере, чем на самом деле. А преувеличенно суровый диагноз лишь сужает порочный круг вины и самообвинений. Добиться эффективной и быстрой реабилитации можно было только в том случае, если в центр клинического исследования ставились неосуществленные жизненные планы пациента и если даваемые в результате советы способствовали новому синтезу тех элементов, на которых была основана «эго-идентичность» пациента[9].

Помимо нескольких сотен тысяч человек, утративших во время войны, а затем лишь постепенно или частично вновь обретших свою «эго-идентичность», и десятков тысяч тех, у кого утрата «эго-идентичности» была неправильно определена как психопатия, бессчетное количество людей глубоко пережили угрозу болезненной потери «эго-идентичности» в результате радикальных исторических перемен.

Однако тот факт, что эти люди, их врачи и современники все больше обращались к горьким истинам психоаналитической психиатрии, сам по себе является исторической переменой, требующей критического осмысления. Он говорит о все более широком признании способности психоанализа проникнуть в природу тревоги и болезни каждого данного пациента. И все же представляется, что частичное признание болезненных бессознательных факторов человеческих неудач и акцент на индивидуальное лечение даже тогда, когда пациент вроде бы совершенно не склонен к самонаблюдению и к его словесному выражению, — это проявление широко распространенного нежелания признать, что социальные механизмы в условиях стремительных исторических перемен не срабатывают.

Исторические перемены принудительно коснулись всех и идут во всем мире такими ускоренными темпами, что стали восприниматься как угроза традиционной американской идентичности. Они, кажется, подрывают глубокую убежденность в том, что эта нация может позволить себе совершать ошибки; что она неизменно превосходит всех по неисчерпаемости своих ресурсов, силе предвидения, свободе действий и темпам прогресса; что в ее распоряжении неограниченное пространство и время для развития, проверки и завершения социальных экспериментов. Трудности, возникающие при попытке совместить этот старый образ обособленных просторов с новым представлением о взрывоопасной близости к остальному миру, вызывают глубокое беспокойство. Сначала его обычно пытаются преодолеть при помощи традиционных подходов к новому пространству-времени.

Психотерапевт, не берущий в расчет влияние этих процессов на невротические расстройства, не только может упустить из виду специфическую динамику жизненных циклов в современном мире, он также может направить

энергию индивида в сторону от насущных задач общества. Значительное уменьшение числа душевных расстройств возможно лишь в том случае, если внимание врачей будет уделяться как условиям, так и причинам их возникновения, как фиксации на прошлом, так и жизненным планам, как опасным внешним проявлениям, так и болезненным внутренним процессам.

В этой связи следует заметить, что популярное употребление слова «эго» в Америке имеет, конечно, мало отношения к тому, что понимает под ним психоанализ. Обычно под этим имеют в виду неправомерное или необоснованное самомнение. «Подначивание», поддразнивание, громогласность и другие способы «выставиться» — все это, конечно, в характере американцев. Это пронизывает речь, жесты и свойственно межличностным отношениям. Было бы странно, если бы отношения с врачом были лишены этих элементов. Совершенно другая проблема — постоянное использование американской практики «подначивания», чтобы люди «чувствовали себя лучше», или подавления напряженности и тревоги, чтобы они лучше работали.

Слабому «эго» это большой силы не придаст. Сильное «эго», целостность которого обеспечивается сильным обществом, не нуждается в попытках искусственно его укреплять и просто не реагирует на них. Оно подвергает проверке то, что ему кажется настоящим, стремится совершенствовать то, что эффективно, понять, что является необходимостью, наслаждаться тем, что придает силы преодолевать нездоровые явления. В то же время оно старается способствовать укреплению группового «эго», которое передаст свои достижения следующему поколению.

Эффективность психоаналитической помощи этому процессу может быть гарантирована только постоянными гуманистическими усилиями, не ограничивающимися простыми мерами по приспособлению пациентов к ограничивающим их в чем-то обстоятельствам, направленностью лечения на то, чтобы человек осознал свои возможности, скрытые от него первобытными страхами. Но существуют и исторические факторы, определяющие концепцию психоанализа; кроме того, в течение более чем полувека в ходу были одни и те же понятия, описывающие мотивацию поведения, а ведь они неизбежно отражают *идеологию*

своего времени и впитывают в себя также и *коннотации, рожденные современными общественными переменами.* Идеологические коннотации — неизбежный способ приведения концептуального аппарата, описывающего «эго» — органа, при помощи которого человек проверяет правильность своего восприятия реальности, — в соответствие с историческими переменами.

3. Теория «эго» и социальные процессы

А

Фрейд называл следующие источники самоуважения человека:

1. Остатки детского нарциссизма, то есть природная любовь ребенка к себе.

2. Ощущение всесилия, подкрепляемое опытом, который позволяет ребенку думать, что он осуществляет свой «эго-идеал».

3. Удовлетворение объектного либидо⁺, то есть любви к другим.

Но для того, чтобы здоровые остатки *инфантильного нарциссизма* не исчезли, их должна поддерживать материнская любовь, создающая у ребенка уверенность в том, что жить в данной социальной среде хорошо. Природный нарциссизм, который, как считается, столь смело борется против обескураживающего окружения, на деле подкрепляется тем эмоциональным обогащением и развитием навыков, которые обеспечиваются этим самым окружением. И наоборот, широко распространенное резкое ослабление детского нарциссизма — следствие разрушения того коллективного синтеза, который дает каждому новорожденному и его матери в восприятии общества надындивидуальный статус. А в последующем переходе нарциссизма в более зрелое чувство самоуважения снова решающую роль играет то, может ли подросток рассчитывать на возможность использовать приобретенные в детстве навыки и тем самым найти свое место в обществе.

Для того чтобы опыт подкреплял здоровое *чувство всесилия,* методы воспитания детей должны не только развивать здоровые чувства, помогать совершенствовать навыки, но и обеспечить их реальное общественное призна-

ние. Ибо в отличие от детского чувства всесилия, питающегося игрой и подыгрыванием взрослых, самоуважение, способствующее возникновению чувства идентичности, основано на элементарных знаниях и социальных приемах, обеспечивающих постепенное совпадение игры и сноровки, «эго-идеала» и социальной роли, и тем самым дает надежду на ясное будущее.

Для того чтобы было удовлетворено *«объектное либидо»*, половая любовь и оргастическая потенция должны быть обеспечены экономической и эмоциональной стабильностью, ибо только такой синтез придает законченный смысл всему функциональному циклу генитальности, включающему в себя зачатие, рождение и воспитание детей. Страсть может сделать сегодняшний «объект» собирательным образом инцестуальных детских привязанностей; сексуальная жизнь может помочь двум индивидам удержать друг друга от регрессии; но взаимная половая любовь обращена к будущему и к обществу. Она обеспечивает разделение труда в выполнении той жизненной задачи, осуществление которой возможно лишь совместно двумя людьми разного пола: синтез производства, продолжение рода и воспроизводства в первичной социальной ячейке — семье определенного типа.

Если «эго-идентичность» любовников и партнеров дополняют друг друга, их соединение в браке благотворно скажется на развитии «эго» у потомков. С точки зрения такого слияния личностей «инцестуальная» привязанность к образу одного из родителей не обязательно носит болезненный характер, как часто считают психопатологи. Наоборот, этот выбор — часть этнического механизма в том смысле, что он создает непрерывность между семьей, в которой человек вырос, и семьей, которую он создаст. Тем самым он сохраняет традицию, то есть совокупность всех знаний, которым научились предшествующие поколения, точно так же как в животном мире достижения эволюционного развития сохраняются в потомстве данного вида особей. Однако невротическая фиксация на родителях и жесткие внутренние защитные механизмы, направленные против инцестуальных желаний, говорят об отсутствии, а не о развитии связи поколений.

Однако, как было сказано, многие механизмы приспособления, когда-то служившие психосоциальной эволю-

ции, племенной интеграции, национальной или классовой спаянности в мире повсеместно распространяющихся идентичностей, оказываются ненужными. Воспитание «эго-идентичности», которая черпает силу в исторических переменах, требует осознанного признания взрослыми исторического разнообразия, а также стремления просвещенных людей снова обеспечить любому ребенку чувство осмысленной целостности.

Истории болезни могут что-то дать исследователю, если в них избегаются стереотипы вроде «у пациента была властная мать», стереотипы, которые исторически обусловлены и сами обрастают привычными коннотациями. Психоаналитическая теория вполне могла бы помочь в разработке не только новых методов изучения детей, но и стихийных способов, которыми различные слои современного общества пытаются создать приемлемую традицию воспитания детей в условиях быстро меняющейся технологии. Ведь тот, кто хочет лечить или учить, должен понять, осознать и использовать стихийные тенденции формирования идентичности.

Б

Когда психоаналитик занимается своим пациентом, говорила Анна Фрейд, его позиция наблюдателя должна быть равноудалена от «ид», «эго» и «супер-эго» — чтобы осознавать их функциональную взаимозависимость и чтобы, когда он наблюдает изменения в одном из этих участков психики, он не терял из виду связанных с ним изменений в других участках[10]. То, что здесь представлено как отдельные участки внутреннего мира человека, отражает все время происходящие в нем процессы.

В заключение дадим новое определение задач «эго» (и, возможно, самого «эго»): это один из трех необходимых и непрерывных процессов, посредством которых существование человека непрерывно во времени и оформлено. Первый из них — первый, поскольку его изучение было начато после переноса Фрейдом биологического и физиологического способов мышления на психологию, — это *биологический процесс*, посредством которого организм становится иерархической организацией систем органов, проживающей свой жизненный цикл. Второй процесс —

социальный, при его помощи организмы объединяются в определенные географические, исторические и культурные группы. То, что можно назвать «эго-процессом», есть организационный принцип, который обеспечивает существование индивида как цельной личности, характеризуемой тождеством самому себе и целостностью как в отношении внутреннего опыта, так и в отношении актуальности для других.

Эти процессы изучались в рамках разных дисциплин, сосредоточенных то на биологическом, то на социальном, то на психологическом аспектах, но очевидно, что «физиология» жизни, то есть непрерывная взаимосвязь всех составляющих, определяется *относительностью*, делающей каждый из этих процессов зависимым от другого. Это значит, что изменения, наблюдаемые в одном из них, вызовут изменения в других и в свою очередь будут зависеть от них. Да, действительно, каждый из этих процессов подает свои предупредительные сигналы: боль, тревога, паника. Они предупреждают о возможном органическом функциональном расстройстве, об ослаблении власти «эго», о потере ощущения групповой идентичности, но любой из этих сигналов говорит об угрозе всему целому.

В психопатологии мы наблюдаем и изучаем один из этих процессов как протекающий как бы автономно, когда вследствие утраты взаимной регуляции и общего равновесия он неоправданно выходит на первый план. Так, раньше психоанализ исследовал, как будто это можно изучать отдельно, порабощение человека посредством «ид», то есть чрезмерными требованиями, предъявляемыми «эго» и обществу фрустрированных организмов, не имеющих возможности дать выход своим инстинктам. Затем центр внимания переместился на порабощение человека стремлениями как бы автономных «эго» и «супер-эго» — защитными механизмами, которые, чтобы «сдержать» энергию либидо, ослабляют способность «эго» к переживанию и планированию. Возможно, психоанализ завершит свое изучение неврозов более подробным исследованием порабощения человека историческими обстоятельствами, которые в силу прецедента претендуют на то, чтобы управлять его поведением, и приводят в действие архаические внутрен-

ние механизмы, лишающие человека физической витальности и силы «эго».

Цель лечения психоанализом определялась как одновременное повышение мобильности «ид» (то есть адаптации наших инстинктивных влечений к возможностям их удовлетворения, а также к неизбежным отсрочкам их удовлетворения и к фрустрации+), толерантности+ «супер-эго» (которое осудит определенные действия, но не самого деятеля) и синтезирующей силы «эго»[11]. В связи с последним мы предлагаем, чтобы анализ «эго» рассматривал «эго-идентичность» индивида в соотношении с историческими переменами, доминировавшими в период его детства, подросткового кризиса и зрелости. Ведь преодоление индивидом невроза начинается тогда, когда он становится в состоянии принять историческую необходимость, сделавшую его тем, что он есть. Индивид ощущает себя свободным тогда, когда он может свободно идентифицироваться со своей собственной «эго-идентичностью» и когда он научается использовать данность для достижения стоящих перед ним целей. Только таким образом он сумеет почерпнуть — в совпадении его собственного жизненного цикла и данного исторического периода — силу «эго» для своего и последующих поколений.

II. О тоталитаризме

Исследуя исторический феномен тоталитаризма, психоаналитик может задаться вопросом: какие бессознательные мотивы могут привести к изобретению, установлению и широкому признанию тоталитарных методов? Или, точнее, каким образом в детстве и в юности возникает предрасположенность человека к тоталитаризму? Поиски ответа на этот вопрос затруднены отсутствием установившейся терминологии. А исторические, обществоведческие исследования, работы по истории нравов обычно почти не содержат ни в тексте, ни в справочном аппарате упоминаний того простого обстоятельства, что все люди когда-то были детьми. Большинство ученых считают, что детство скорее входит в сферу компетенции благотворительных организаций, доброхотов, нежели мыслителей. Но из всех живых существ у человека биологический период детства самый

длинный, а цивилизация растягивает психологическое детство на еще больший срок — ведь человеку требуется время на то, чтобы научиться учиться. Высокая степень специализации, сложные навыки, согласованность действия и рефлексии — все это вырабатывается в течение длительного периода его зависимости от других. И только через зависимость от других человек вырабатывает в себе сознание, эту зависимость от себя, которая в свою очередь делает его заслуживающим доверия других; и, только полностью восприняв ряд фундаментальных ценностей, он может стать независимым, учить других и развивать традицию. Но эта полноценность имеет двойственные истоки: это длительный процесс развития от совершенной беспомощности к высокому чувству свободы и совершенства, идущий в рамках социальных систем, которые значительно ограничивают свободу и дают возможность части людей жестоко эксплуатировать других.

Современная антропология, часто используя положения, заимствованные из психиатрии, изучает способы, которыми общества «интуитивно» вырабатывают системы воспитания детей, призванные не только охранять жизнь и благополучие маленького индивида, но и обеспечить через него и в нем продолжение традиции и сохранение своеобразия данного общества. То, что удлинение периода детства способствует развитию его технических навыков, его способности к сочувствию и вере, хорошо известно, но часто это значение носит слишком ограниченный характер. Ибо уже ясно и то, что противопоставление взрослый—ребенок — первое в ряду экзистенциальных противопоставлений (второе — мужчина—женщина), которое позволяет эксплуатировать человека и стимулирует эксплуатацию. Врожденная склонность ребенка ощущать свою беспомощность, покинутость, стыд и вину перед теми, от кого он зависит, систематически используется в процессе его воспитания, часто переходя в его эксплуатацию. В результате даже рациональный человек подвержен иррациональной тревоге и подозрениям, сосредоточенным на проблемах, кто больше и лучше и кто что кому может причинить. Поэтому необходимо глубже вникнуть в самые ранние последствия психологической эксплуатации ребенка. Под этим я имею в виду злоупотребление разделением функций, когда развитию возможностей одного из парт-

неров ставятся препятствия и в результате в нем накапливается бессильная ярость, тогда как свободная энергия должна была бы использоваться для продуктивного развития.

Для тех, кто с этим согласен, ясно, что изучение тоталитаризма должно включать в себя и изучение детства — чтобы преодолеть недооценку огромного значения детства. Следует сказать, однако, что это упущение не случайно и поэтому преодолеть его не так легко. Психоанализ убедительно показал, что все люди забывают важнейшие детские впечатления. Есть основания полагать, что такая индивидуальная амнезия соотносится с универсальными белыми пятнами в интерпретации человека, с тенденцией упускать из виду важнейшую роль детства в обществе. Возможно, нравственный и рациональный человек, столь упорно боровшийся за то, чтобы создать абсолютный, неоспоримый образ цивилизованного человека, не хочет понимать, что каждый человек начинает свой путь с самого начала и поэтому несет в себе возможность разрушения достижений человечества детскими навязчивыми идеями и иррациональными побуждениями. Можно предположить, что отказ понимать это отражает глубоко укоренившийся предрассудок, что рациональный и практичный человек, обернувшись назад и снова столкнувшись лицом к лицу с Медузой Горгоной детской тревоги, утратит жизнестойкость. Тем самым подавляются все попытки рассматривать детство в рамках должной перспективы. Между тем, если бы это было осознано, взрослые люди, возможно, избавились бы от некоторых деструктивных наклонностей, свойственных детям, а в других отношениях вели бы себя как дети, то есть более творчески.

Но новому пониманию проблемы трудно дать окончательную формулировку. Вероятно, из-за упомянутых выше многочисленных белых пятен появившееся сейчас понимание важности детства уравновесилось потерей другой перспективы: я имею в виду тенденцию части психологов и психопатологов объяснять общественные явления, например тоталитаризм, отождествляя их с некоторыми периодами детства или отрочества («подростковый»), с определенными психическими болезнями («параноидный») или с определенными свойствами характера («авторитарная личность»+). В рамках персонологического подхода

появились наводящие на размышления обобщения относительно некоторых аналогий между способами воспитания детей, картиной мира и политическими убеждениями. Но этот подход мало дал для решения важнейшего вопроса: в каких условиях энергия данного стиля мышления и поведения (например, авторитарного) способствует возникновению данного политического учения и вызывает массовые действия? Психопатологический подход ослабил свои позиции использованием медицинской терминологии в применении к народам или людям, активно или пассивно вовлеченным в тоталитарные революции, — говоря о них как о патологических или незрелых существах в попытке объяснить их политическое поведение. Но человек многопланов, а история редко предоставляет ему возможность синтеза кредо, сознательной позиции и практики, чего в нашем протестантском мире привыкли требовать от «зрелого» или, во всяком случае, «рационального» человека.

То, что я хочу изложить, — не попытка найти истоки или причины тоталитаризма в детстве или в способах воспитания детей. Я также не собираюсь интерпретировать его как временный недуг или эпидемию местного значения. Я начну с утверждения, что тоталитаризм основан на универсальных человеческих свойствах и, таким образом, связан со всеми сторонами природы человека, здоровыми и патологическими, зрелыми и детскими, индивидуальными и социальными. На протяжении истории тоталитарная идея, вероятно, часто бывала близка к осуществлению, но должна была дожидаться «своего» исторического часа. Этот момент определяется прогрессом технологии коммуникаций и целым рядом условий, приводящих к возникновению фанатической идеи тоталитарного государства, способствующих ее осуществлению в своевременных революционных действиях и, далее, поддерживающих ее при помощи механизма власти и террора. Только такая историческая перспектива дает правильную шкалу степеней и видов идеологической вовлеченности разных типов людей в тоталитарном государстве: фанатичных апостолов и умных революционеров, лидеров-одиночек и олигархических клик, искренних приверженцев идеи и садистов-эксплуататоров, послушных бюрократов и эффективных управленцев, апатичных работяг и парализованных оппозиционеров, бессильных жертв и сбитых с толку будущих

жертв. Мои знания и опыт позволяют мне попытаться проанализировать лишь один из основных и наименее уловимых факторов всех этих видов участия в тоталитарном государстве, а именно психологические предпосылки возникновения вдохновляющего или парализующего людей сознания законности тоталитаризма.

Я возвращаюсь к отправной точке рассуждения: нечто в самой природе детства может пролить свет на склонность человека в определенных условиях поддаться тому, что немцы называют унификацией, этому внезапному единодушию, сопутствующему внезапно появившемуся убеждению, что государство может и должно иметь абсолютную власть над умами, жизнями и судьбами своих граждан.

Как врач, однако, я должен начать с другого: с примеров полного *внутреннего* переворота. В жизни и нормальных и больных людей, так же как и при некоторых преходящих состояниях, не считающихся патологическими, выделяются внезапные переходы от гармонической «цельности» опыта и суждений к таким состояниям, когда человек чувствует, мыслит и действует «тотально». Самые крайние примеры такой тотальной реорганизации опыта наблюдаются в случаях, граничащих с острой патологией. Как сказал мне с улыбкой один молодой человек, вспоминая свою замкнутость: «Я составлял большинство в единственном числе», — он имел в виду, что, оставшись в полном одиночестве, он ощущал себя вселенной. Одна молодая женщина говорила в том же духе о своем «праве на единичность». Но солипсизм такого рода встречается не только в патологических случаях и не только у взрослых. Уже в раннем детстве естественное чередование сна и бодрствования может смениться нежеланием спать или постоянной сонливостью; нормальное для ребенка чередование общения и одиночества может смениться тревожным или яростным стремлением всегда видеть рядом мать или полным отказом замечать ее присутствие. Многие матери очень тревожатся, когда, вернувшись домой после кратковременного отсутствия, видят, что ребенок «забыл» ее. Полная зависимость или независимость может, на короткое или длительное время, превратиться в состояние, не чередующееся естественным образом с другим; или тотальная добродетельность или порочность могут вдруг выйти из-под контроля родителей, которые, вероятно, предпочли

бы ребенка, который ведет себя в целом хорошо, но иногда шалит. Такая полная реорганизация может быть временной фазой на важных стадиях развития ребенка; она может сопутствовать наступлению психического расстройства, а может присутствовать и во взрослом человеке в скрытом виде.

Что касается полной зависимости от объекта или другого человека, всем нам знакомы фетиши маленьких детей, например негигиенично затасканные куклы — несмотря на возмущение или тревогу родителей, они остаются абсолютным и единственным символом безопасности и комфорта. Впоследствии неистовые приступы любви и ненависти, внезапные перемены и антипатии сопровождаются, так же как и детский фетишизм и страхи, исключительной концентрацией на определенных положительных или враждебных эмоциях, направленных на человека или на идею; примитивизацией этих эмоций и утопическим ожиданием абсолютного выигрыша или провала.

Наконец, можно указать на известный пример внезапного полного разрушения того, что когда-то представляло из себя единство: перемены, происходящие с семейными парами на грани развода. Внезапная трансформация, казалось бы, естественного союза двоих в две взаимоисключающие целостности может быть довольно ужасной, это быстро понимают те, кто пытается сохранить дружеские отношения с обоими.

Хотя такие перемены возникают внезапно, их развитие занимает много времени. Лишь очень мужественные и сознательные люди знают о себе то, что психоанализ выявляет в других, особенно в пациентах, например насколько сильна в человеке и характерна для него склонность к тотальным переменам, часто едва скрытая за преувеличенными пристрастиями, предпочтениями и убеждениями, и сколько энергии тратится на внутреннюю защиту от угрозы полной переориентации, в процессе которой белое может превратиться в черное и наоборот. Только проявляющиеся в таких внезапных приверженностях и антипатиях аффекты дают представление о том, сколько энергии «связано» в таких защитных механизмах. Равным образом показательна много раз и с сожалением описанная, но с медицинской точки зрения полезная тенденция появления даже у наиболее образованных и информированных па-

циентов феномена перенесения и чувства сильнейшей зависимости от своего врача. При этом позитивные и негативные эмоции чередуются: это отрезвляющее проявление той универсальной внутренней склонности к тотальности, которая плохо соотносится с презрением многих интеллектуалов к людям, находящим опору в определенных космологических системах, религиозной вере, в монархии или в идеологии. Во всяком случае, мы теперь понимаем такие перемены, как приспособление на примитивном уровне, вызванное усилением чувства тревоги, восходящим к периоду детства и начинающим действовать в период острых жизненных кризисов. Считать их патологическими или нежелательными — значит не приблизиться ни к их пониманию, ни к их преодолению: для разработки целенаправленной линии лечения необходимо понять их подоплеку, их внутреннюю логику.

Приводя эти примеры, я использовал слова «цельность» и «тотальность». Они означают целостность, и все же я хотел бы подчеркнуть разницу между ними. «Цельность» подразумевает совокупность частей, в том числе весьма разнообразных, вступающих в плодотворное объединение и связь. Это понятие наиболее ясно выражается в таких словах, как «искренность», «здравомыслие», «благодетельность» и т.п. Таким образом, в образе цельности подчеркивается здоровое, органичное, постепенное взаимодействие различных функций и частей в рамках целого, границы которого открыты и подвижны. И напротив, в образе тотальности на первый план выходит представление об абсолютной замкнутости: все, что находится внутри произвольно очерченных границ, не может выйти за их рамки, а то, что находится вовне, не допускается внутрь. Тотальность характеризуется и абсолютной замкнутостью и совершенной всеобъемлемостью — независимо от того, является ли категория, попавшая в разряд абсолютных, логической, и от того, действительно ли ее составляющие имеют какое-то сходство.

Итак, следует предположить, что в тотальности, исключающей выбор или изменение, даже если это предполагает потерю чаемой цельности, есть определенная психологическая потребность. Короче говоря, когда человек по причине случайных или эволюционных изменений теряет цельность, он реорганизует себя и окружающую ре-

альность, прибегая к тому, что мы называем *тотализмом*. Как уже было сказано, не следует считать это просто регрессивным или инфантильным механизмом. Это один из способов, пусть примитивный, существования в окружающем мире, он в какой-то степени помогает, пусть временно, приспособиться и выжить. Это обычное психологическое явление. Психиатр может задаться следующими вопросами: можно ли предотвратить превращение временных средств срочного приспособления к обстоятельствам в конечную цель? Может ли тотализм исчезнуть, когда необходимость в нем отпадает? Могут ли его элементы перегруппировываться в прежнюю цельность?

Одна из задач «эго» — помогать индивиду осваивать жизненный опыт и руководить его действиями таким образом, чтобы из разнообразных и часто противоположных стадий и аспектов его жизни возможно было синтезировать некоторую цельность — из непосредственных впечатлений и ассоциирующихся с ними воспоминаний, влечений и долга, самых интимных и самых публичных сторон его жизни. Для выполнения этой задачи «эго» вырабатывает способы синтеза, а также охранные и защитные механизмы. По мере того как «эго» в процессе постоянного взаимодействия своих растущих сил и среды развивается, возникает противоречие между высшими уровнями интеграции, позволяющими легче переносить напряжение и разнообразие, и низшими уровнями, на которых тотальность и конформность помогают сохранить чувство безопасности. Изучение этих процессов синтеза и распада, которые на индивидуальном уровне успешно способствуют достижению цельности или тотальности, является, таким образом, предметом психоаналитической психологии «эго». Здесь я могу лишь упомянуть об этой области исследований[12].

Истоки «эго» определить трудно, но известно, что оно возникает постепенно на той стадии, когда «цельность» представляет собой физиологическое равновесие, обеспечиваемое обоюдной потребностью младенца получать, а матери — давать. Мать, разумеется, не только существо, производящее на свет детей, она также член общества и семьи. Она в свою очередь должна ощущать благотворную связь между своей биологической ролью и ценностями общества. Только при этом условии она может через язык

телесного общения дать понять ребенку, что можно доверять ей, миру и самому себе. Только относительно «здоровое» общество может обеспечить ребенку, через его мать, внутреннюю уверенность в том, что все разнообразие его телесного опыта и непонятных ему в ранний период жизни социальных ролей может быть сведено к ощущению непрерывности и тождества, которое постепенно сведет в единое целое внутренний и внешний мир. Возникающий таким образом онтологический источник веры и надежды я называю первичным ощущением доверия. Это первичная и основная цельность, поскольку она подразумевает, что внутренний и внешний мир могут восприниматься взаимосвязанно и как благо. Тогда первичное недоверие — это совокупность различных переживаний, не сбалансированных процессом интеграции. Неизвестно, что́ происходит в душе ребенка, но наблюдения, а также многочисленные медицинские данные говорят о том, что возникающее на ранних этапах недоверие сопровождается проявлениями «тотального» гнева, фантазиями на тему тотальной власти над источниками удовольствия и средствами существования или даже их уничтожения; что такие фантазии и проявления гнева не исчезают и в экстремальных состояниях и ситуациях возникают снова.

Фактически все основные конфликты периода детства не исчезают и в какой-то форме проявляются в зрелом возрасте. Наиболее ранние стадии остаются в самых глубинных слоях психики. Любой человек в состоянии усталости может временно регрессировать к первичному недоверию, если его надежды рухнули. Но общественные институты, очевидно, постоянно обеспечивают индивиду уверенность, какие-то коллективные гарантии против тех тревог, которые накапливались с раннего детства. Нет сомнения в том, что именно религиозные институты систематизируют и социализируют первый и самый глубокий жизненный конфликт: они объединяют смутные образы первых кормильцев индивида в собирательные образы первобытных божественных защитников; они объясняют смутное ощущение первичного недоверия, придавая ему метафизическую реальность Зла; они предоставляют человеку возможность периодически сообща с другими людьми через ритуалы восстанавливать ощущение доверия, которое в зрелых людях представляет собой сочетание веры и ре-

ализма. Молясь, человек уверяет сверхъестественную силу в том, что он по-прежнему достоин доверия, и просит подать ему знак, что и он может по-прежнему доверять своему божеству. В первобытных обществах, имеющих дело с одним участком природы и практикующих коллективную магию, к божественным поставщикам пищи и благосостояния часто относятся как к сердитым или даже злым родителям, которых нужно умиротворять молитвой и самоистязанием[13]. Более развитые формы религии и обрядности столь же очевидным образом адресуются к живущему в каждом человеке ностальгическому воспоминанию об изгнании из рая целостности, который когда-то щедро снабжал его, но, увы, утерян, в результате чего у человека осталось неопределенное чувство греховной раздвоенности, скрытой злобы и глубокой ностальгии. Религия регулярно, посредством обрядов, связанных с важными критическими моментами жизненного цикла и с поворотными моментами годичного цикла, восстанавливает ощущение цельности мира, связи вещей[14]. Но, как это обычно бывает, то, что должно было бы отойти на периферию, становится центральным. В некоторые периоды истории церкви господствовала жестокая, холодная и нетерпимая тотальность. Можно было бы задаться вопросом, каким образом идея вселенной, находящейся во власти карающего или милостивого Единого Бога и догматов данной религии, подготовила человечество к идее Единого Тотального Государства и Единого Человечества. Ведь несомненно, что в переходные периоды полное единообразие может способствовать движению по направлению как к цельности, так и к тотальности.

Сегодня ни пренебрежительные насмешки атеистов, ни карательное рвение догматиков не отменяют того удивительного факта, что у большинства людей нет той живой веры, которая придавала цельность существованию человека, занятого ручным трудом в процессе продуктивного взаимодействия с природой, торговца — в процессе выгодного обмена товаров на расширяющемся мировом рынке. Насколько глубоко человек, добившийся успеха собственными силами, жаждет безопасности в созданном им самим мире, видно по тому, насколько сильно бессознательная идентификация с машиной — сравнимая с магической идентификацией первобытного человека с его до-

бычей — повлияла на западную концепцию человеческой природы вообще и на автоматизированное и обезличенное воспитание детей в частности. Отчаянная потребность функционировать бесперебойно, ровно, гладко, без сучка и задоринки стала связываться с понятием о личном счастье, о совершенстве правления и даже о спасении. У тех наивных вождей, которые думают, что в процессе технологического прогресса сама собой появится новая цельность, иногда просматривается странная тяга к тотальности; точно так же не так давно считалось, что к наступлению золотого века ведет неизменная мудрость природы, загадочная саморегуляция рынка или сакральная природа богатства. Конечно, машины, по мере своего совершенствования, могут становиться красивее и удобнее. Вопрос в том, откуда придет то ощущение добра, которое человеку необходимо связывать с основными источниками и способами производства, чтобы оставаться человеком в достаточно хорошо знакомом ему мире. Если эта потребность не удовлетворяется, возрастает ощущение глубокого недоверия. При слишком внезапных исторических и экономических переменах оно вызывает желание поддаться тоталитарной и авторитарной иллюзии целостности, заданной заранее, с одним лидером во главе единственной партии, с одной идеологией, дающей простое объяснение всей природе и истории, с одним безусловным врагом, который должен быть уничтожен одним централизованным карательным органом, — и с постоянным направлением на внешнего врага бессильной ярости, копящейся в этом государстве.

Но следует помнить, что по крайней мере одна из систем, которые мы называем тоталитарными, — советский коммунизм — возникла из идеологии, которая предполагает после всех революций достижение целостности общества, свободного от вмешательства располагающего военной силой государства и от классовой структуры, делающей это вмешательство необходимым. В этой концепции тотальная революция и тоталитарное сверхгосударство должны привести к исчезновению государства: оно отменяет само себя, «постепенно отмирает», и в наступившей целостности безгосударственной демократии управлять придется только «продуктами и процессами производства». Пусть другие поспорят о том, в какой степени воз-

можно необратимое застывание тоталитарных средств и методов в таких утопиях «со стажем». Нам же не следует упускать из виду те новые нации (и их молодежь) на периферии как Советского Союза, так и Запада, у которых появилась потребность в тотальной системе убеждений сейчас, во время всеобщих технологических перемен. Я не буду говорить о связи каждого из периодов детства с идеологией тоталитаризма. Изначальная альтернатива: достижение «цельности» в форме изначального доверия или приход к «тотальности» в форме изначального недоверия, о которой мы говорили в связи с проблемой веры, в каждый из этих периодов сменяется другими альтернативами, каждая из которых в свою очередь соотносится с одним из основных человеческих институтов[15].

Я хочу лишь мимоходом коснуться того аспекта развития ребенка, который в психоаналитической литературе подчеркивался более всего: я имею в виду возраст около пяти лет (часто называемый Эдиповой фазой), когда в ребенке начинает развиваться не только более целенаправленная и бурная инициатива, но и более организованное сознание. В три-четыре года здоровый и игривый ребенок часто испытывает необыкновенное ощущение автономной целостности. Оно перевешивает пугающее ощущение сомнения и стыда и рождает мечты о подвигах и славе. Именно в это время у ребенка иногда внезапно возникает тайное паническое чувство вины и ранняя ригидность сознания. Когда маленький человек уже умеет радоваться цельности автономного существования, рисовать в воображении свои невероятные победы, это чувство как бы восстанавливает его против самого себя.

По Фрейду, страж «эго» — «супер-эго» — поставлен над «эго» в качестве внутреннего надзирателя, представителя внешней власти, он органичивает «эго» как в целях, так и в средствах их достижения. Можно провести следующую аналогию. Когда-то этот надзиратель подчинялся иностранному королю, а потом стал независимым, используя местные войска (и их методы ведения войны) для подавления восстания туземцев. «Супер-эго» отражает не только суровость родительских требований и ограничений, но и относительную примитивность того периода детства, когда они были ребенку навязаны. Таким образом, в человеческом сознании, даже когда оно служит осознанным идеалом, со-

храняется некоторая доля бессознательной и инфантильной примитивности. Только настоящая терпимость родителей в сочетании с твердостью может руководить развитием ребенка. В противном случае в нем вырабатываются жесткие «незыблемые» установки, свойственные узкому сознанию, которые сначала обернутся против него самого, а потом так или иначе обратятся против других.

Этот внутренний раскол является, таким образом, вторым импульсом (первым было отлучение от матери) к «тотальным» жизненным решениям, основанным на простой и тем не менее важной посылке, что нет ничего более невыносимого, чем неопределенное чувство вины. Поэтому некоторые пытаются преодолеть этическую неопределенность, став абсолютно хорошими или абсолютно плохими — оба эти решения по сути своей амбивалентны. Ведь абсолютно «хорошие» могут стать мучителями ad majorem Dei gloriam*, а абсолютно «плохие» могут быть весьма преданы своим лидерам и группам. Очевидно, что авторитарная пропаганда использует этот конфликт, предлагая людям бесстыдно спроецировать абсолютное зло на любого внутреннего или внешнего «врага», объявленного государством или пропагандой недочеловеком, или паразитом, в то время как новообращенные, принадлежа к нации, расе или классу, на которых почиет благодать истории, могут ощущать себя носителями абсолютного добра.

Конец детства я считаю третьим кризисом цельности, носящим наиболее политический характер. Молодые люди становятся зрелыми людьми, а именно в это время происходят различные изменения в физическом, половом развитии, в восприятии общества. Возникающую на этой стадии цельность я назвал *чувством внутренней идентичности*. Чтобы ощутить свою цельность, молодой человек должен чувствовать связь между тем, чем он стал за долгие годы детства, и тем, чем он предположительно может стать в будущем; между его собственным представлением о себе и тем, каким его видят, по его мнению, другие и чего они от него ждут. Личность индивида включает в себя, не исчерпываясь этим, сумму всех последовательных идентификаций в тот ранний период, когда ребенок хотел,

*Для вящей славы божьей (*лат.*). — *Прим. перев.*

а часто и вынуждался походить на людей, от которых он зависел. Личность уникальна, ее кризис может разрешиться только путем новых идентификаций со сверстниками и лидерами вне состава семьи. Поиски новой и вместе с тем надежной идентичности очевиднее всего проявляются в постоянном стремлении подростков определиться самим и понять друг друга — часто путем безжалостного сравнения, в то время как стремление к надёжному единообразию проявляется в бесконечной проверке возможностей новых и ценности прежних идентификаций. В тех случаях, когда окончательное самоопределение оказывается по личным или социальным причинам затруднено, возникает чувство смешения ролей: молодой человек не синтезирует, а противопоставляет друг другу свои сексуальные, этнические, профессиональные и типологические возможности и часто вынужден окончательно и полностью решать в пользу одной из них.

Функция общества в данном случае — регулировать и ограничивать спектр предоставляемых индивиду возможностей. Первобытное общество всегда относилось к этой функции чрезвычайно серьезно: в обрядах, связанных с достижением половой зрелости, страх перед неопределенностью, проигранный в ритуальном действе, избывался путем принесения жертвы и обретения священного знака. По мере развития цивилизации были найдены другие, более одухотворенные способы «подтверждения» правильности жизненных планов. Однако молодёжь всегда находила способы возрождать более примитивные обряды «инициации», образуя замкнутые клики, шайки или братства. В Америке, где молодежь в целом свободна от примитивного традиционализма, от карательного патернализма и от осуществляемой государственными мерами стандартизации, тем не менее существует спонтанная самостандартизация. Это делает на первый взгляд бессмысленные и быстро меняющиеся стиль одежды, манеру жестикулировать и говорить абсолютно «обязательными» для «своих». По большей части эта стандартизация проходит в благожелательной атмосфере, в обстановке взаимной поддержки, но иногда к нонконформистам бывают жестоки, и, конечно же, это противоречит ими же превозносимой традиции индивидуализма.

Обратимся еще раз к индивидуальной патологии. Потребность в жестком, пусть и преходящем стандарте так ве-

лика, что молодые люди иногда предпочитают быть никем, абсолютно никем, нежели представлять собой пучок противоречивых фрагментов идентичности. Даже при расстройствах, обычно называемых предпсихотичными или психопатическими или определяемых как-либо иначе в терминах психопатологии зрелого возраста, наблюдается почти намеренное Umschaltung* к негативной идентичности (и к ее истокам в прошлом и настоящем). В более широком масштабе аналогичный поворот к негативизму прослеживается у молодых правонарушителей (наркоманов, гомосексуалистов) в наших больших городах, где людям, принадлежащим в экономическом, этническом или религиозном отношении к меньшинствам, трудно выработать в себе позитивную идентичность. Когда учителя, судьи, психиатры считают такую «негативную идентичность» «естественной» и окончательной, молодой человек нередко гордится тем, что он именно таков, каким ожидало его видеть равнодушное общество. Тем самым он удовлетворяет свою потребность в тотальной ориентации. Точно так же многие молодые американцы — выходцы из меньшинств или из авторитарно настроенных слоев — находят временное убежище в радикальных группах, где беспорядочный в других условиях бунт приобретает в рамках бескомпромиссной идеологии печать абсолютной праведности. Для некоторых это, конечно, «всерьез», но большинство просто плывет по течению.

Таким образом, следует понимать, что только прочное внутреннее ощущение своей идентичности — признак окончания отрочества и условие последующего формирования взрослого индивида. Уравновешивая остатки первичных внутренних противоречий детского периода и тем самым ослабляя господство «супер-эго», позитивная идентичность позволяет индивиду избавиться от иррационального самоотрицания, этого абсолютного предубеждения против самого себя, которое характерно для тяжелых невротиков и психопатов, а также от фанатичной ненависти к непохожим на себя. Однако такая идентичность нуждается в поддержке. Ее дает молодому человеку коллективная идентичность значимых для него социальных групп: его класса, нации, культуры. Важно помнить, что каждая групповая идентич-

*Поворот (*нем.*). — *Прим. перев.*

ность вырабатывает свое собственное понятие свободы, именно поэтому одному народу часто бывает трудно понять, что же вкладывает в это понятие другой. Но в тех случаях, когда широкомасштабные исторические и технологические перемены посягают на глубоко укоренившиеся или бурно развивающиеся модели идентичности (например, аграрной, феодальной, аристократической), молодые люди, и каждый по отдельности и в целом, ощущают себя в опасности и с готовностью поддерживают доктрины, предлагающие полное погружение в сплошную идентичность (крайние формы национализма, расизма или классовой ненависти) и коллективное осуждение новой идентичности, представленной в виде предельно стереотипного образа врага. Страх перед утратой идентичности, приводящий к распространению таких теорий, в значительной мере объясняет то сочетание сознания своей правоты и беззакония, которое при тоталитаризме делает возможным организованный террор и возникновение индустрии уничтожения. А поскольку факторы, разрушающие идентичность, в то же время заставляют людей старшего поколения вновь обращаться к альтернативам, имевшим место в юности, многие взрослые поддаются общей тенденции или не в состоянии ей сопротивляться. И наконец, последнее замечание: изучение этого третьего важнейшего кризиса целостности, приходящегося на конец детства и юности, выявляет огромный потенциал тотальности и, следовательно, имеет большое значение в условиях появления в наше время новых групповых идентичностей. Тоталитарная пропаганда всегда подчеркивала, что молодежь якобы остается за бортом перемен. Более полное понимание этого феномена позволит нам вместо того, чтобы — в безнадежных попытках перещеголять тоталитаристов — запрещать и презирать, предложить людям нечто иное: просвещение.

Иметь смелость быть разносторонними — признак цельности и индивидов и цивилизаций. Но и у цельности должны быть границы. На данном этапе развития нашей цивилизации пока невозможно предсказать, возникнет ли более универсальная идентичность, которая вберет в себя все многообразие и все противоречие, всю неопределенность и все смертельные опасности, связанные с научным и технологическим прогрессом.

Глава III
Жизненный цикл: эпигенез идентичности

Одной из основных координат идентичности является жизненный цикл, поскольку мы исходим из предположения о том, что не только до подросткового возраста индивид развивает предпосылки своего психологического роста, умственного созревания и социальной ответственности для того, чтобы пережить «кризис идентичности», пройти через него. Фактически мы можем говорить о «кризисе идентичности» как о психологическом аспекте отрочества. Эта стадия не может быть пройдена без формирующейся особой формы идентичности, которая будет решающим образом определять дальнейшую жизнь.

Давайте еще раз остановимся на имевшем серьезные последствия открытии Фрейда, заключавшемся в том, что по содержанию невротический конфликт не слишком отличается от «нормативных» конфликтов, через которые в детстве должен пройти каждый ребенок и последствия которых каждый взрослый несет потом в своей личности. Чтобы сохраниться психологически, человек вновь и вновь решает эти конфликты подобно тому, как его тело постоянно борется с пагубными физическими воздействиями. Однако, поскольку я не могу принять положения: быть живым или не быть больным — это и значит быть здоровым, или, как я бы предпочел сказать в отношении к личности, *витальным*+, я должен обратиться к нескольким понятиям, не входящим в официальную терминологию моей исследовательской области. Я представлю картину развития человека с точки зрения конфликтов, внутренних и внешних, которые несет с собой витальная личность, выходя из каждого кризиса с усилившимся ощущением внутреннего единства, с развившимися способно-

стями к здравым суждениям, к «хорошим действиям» в соответствии со своими собственными стандартами и стандартами значимых для него людей. Использование слов «хорошие действия», конечно, поднимает вопрос о культурной относительности. Значимые для человека люди могут думать, что он делает хорошо, когда он «делает что-то хорошее» или когда он «делает хорошо», то есть овладевает чем-то; когда он «хорошо делает», приобретая новые знания и умения, или просто преуспевает, и когда он учится конформно соответствовать окружению либо, напротив, бунтовать, восставать; когда он свободен от невротических симптомов или в состоянии удерживать в своей витальности всевозможные глубинные конфликты.

Существует много формулировок для описания «здоровой» личности взрослого человека. Но если мы возьмем только одну из них, в соответствии с которой здоровая личность *активно строит* свое окружение, характеризуется определенным *единством личности* и в состоянии *адекватно воспринимать* мир и саму себя[1], — то станет ясно, что все эти критерии относятся к когнитивному и социальному развитию ребенка. Действительно, можно сказать, что детство определяется их исходным отсутствием и постепенным развитием по ступеням растущей дифференциации. Как же в таком случае развивается витальная личность, или, как мы говорили, вырастает из последовательных стадий увеличения способности адаптироваться к жизненным нуждам — вырастает, сохраняя некоторый витальный энтузиазм?

Пытаясь понять, что́ такое развитие, полезно вспомнить *эпигенетический принцип*, который вытекает из понимания развития организма в утробе матери. В генерализованном виде этот принцип заключается в следующем: все, что развивается, имеет исходный план развития, в соответствии с которым появляются отдельные части — каждая имея свое время доминирования, — покуда все эти части не составят способного к функционированию целого. Это, естественно, справедливо для эмбрионального развития, когда каждая часть организма имеет свое критическое время доминирования и опасности подвергнуться повреждению. Появляясь на свет, ребенок меняет химический обмен в утробе матери на систему социаль-

ного обмена в обществе, где его постепенно развивающиеся способности сталкиваются с культурными возможностями, благоприятствующими этому развитию или лимитирующими его. Как развертывается дальнейшее развитие организма, которое идет не путем появления новых органов, а через предписанную последовательность формирования двигательных, сенсорных и социальных способностей, описано в литературе, посвященной развитию ребенка. Выше было показано, что психоаналитики дали нам по большей части понимание идиосинкразического опыта, в особенности внутренних конфликтов, фиксирующих способ, посредством которого индивид становится определенной личностью. Здесь важно отчетливо понимать, что в последовательности приобретения наиболее значимого личностного опыта здоровый ребенок, получивший определенное воспитание, будет подчиняться внутренним законам развития, которые задают порядок развертывания потенциальностей для взаимодействия с теми людьми, которые заботятся о нем, несут за него ответственность, и теми социальными институтами, которые его ждут. Поскольку это взаимодействие варьируется в разных культурах, оно обязательно должно оставаться в рамках «соответствующего темпа и соответствующей последовательности», которые определяют весь эпигенез. Следовательно, можно сказать, что личность развивается в соответствии с этапами, предетерминированными в готовности человеческого организма побуждаться расширяющимся кругом значимых индивидов и социальных институтов, осознавать их и взаимодействовать с ними.

Именно поэтому при демонстрации стадий развития личности мы используем эпигенетическую диаграмму, аналогичную той, которая была представлена в книге «Детство и общество» для анализа фрейдовских стадий психосексуального развития[2]. Внутренняя цель такой демонстрации — перекинуть мостик между теорией детской сексуальности (без воспроизведения ее здесь в деталях) и нашими знаниями о психическом и социальном развитии ребенка.

VIII								ИНТЕГРАТИВНОСТЬ — БЕЗЫСХОДНОСТЬ
VII							ГЕНЕРАТИВНОСТЬ — СТАГНАЦИЯ	
VI						ИНТИМНОСТЬ — ИЗОЛЯЦИЯ		
V	Временная перспектива — временная спутанность	Уверенность в себе — самоосознавание	Ролевое экспериментирование — ролевая фиксация	Ученичество — неспособность работать	ИДЕНТИЧНОСТЬ — СПУТАННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ	Сексуальная поляризация — бисексуальная спутанность	Лидерство и ведомость — спутанность авторитетов	Идеологическая определенность — спутанность ценностей
IV				СОЗИДАНИЕ — ЧУВСТВО НЕПОЛНОЦЕННОСТИ	Деловая идентификация — чувство бесполезности			
III			ИНИЦИАТИВА — ЧУВСТВО ВИНЫ		Антиципация ролей — подавление ролевого экспериментирования			
II		АВТОНОМИЯ— СТЫД, СОМНЕНИЕ			Стремление к самоутверждению — неуверенность в себе			
I	ДОВЕРИЕ — НЕДОВЕРИЕ				Взаимное признание — аутичная изоляция			
	1	2	3	4	5	6	7	8

В представленной выше таблице клетки обозначают и последовательность стадий, и уровень развития составляющих частей; иными словами, диаграмма схематически отражает прогрессию во времени дифференциации частей. Это показывает, во-первых, что каждый из рассматриваемых элементов витальной личности системно связан со всеми другими и что все они зависят от развития и последовательности появления каждого элемента; и во-вторых, что каждый элемент существует в некоторой форме до предписанного наступления «его» критического, определяющего времени.

Если я, к примеру, говорю, что чувство базисного доверия является первым развивающимся в жизни компонентом ментальной витальности, чувство автономии — вторым, а чувство инициативности — третьим, то диаграмма выражает количество фундаментальных связей, существующих между этими тремя компонентами, равно как и несколько фундаментальных фактов для каждого из них.

Каждый человек идет своим путем развития, переживает свои кризисы и находит их разрешение теми способами, которые должны быть здесь описаны, последовательно проходя от начала до конца выделенные стадии. Все они первоначально существуют в определенной форме, но мы не будем заострять на этом внимание и запутывать ситуацию, называя соответствующие компоненты по-разному на более ранних и более поздних стадиях. Например, младенец может с самого начала демонстрировать нечто вроде «автономии», когда старается высвободить свою туго спеленутую ручонку. Однако в обычных условиях лишь на втором году жизни ребенок впервые может столкнуться с необходимостью выбора между тем, быть ли ему существом автономным или зависимым, и не раньше, чем к этому времени, он оказывается готовым к специфически новым взаимоотношениям со своим окружением. Это окружение в свою очередь ощущает себя призванным поставлять ребенку идеи и концепции относительно автономии в тех формах, которые определенно могут повлиять на его характер, умения и силу витальности.

Именно подобное столкновение вместе с результирующим его кризисом и должны быть описаны применительно к каждой стадии. Любая стадия становится кризисом, поскольку начинающийся рост и осознание в какой-то новой части функционирования идут вместе с изменениями

энергии инстинктов и, таким образом, также обусловливают специфическую уязвимость этой части. Из сказанного следует, что наиболее сложный вопрос, который необходимо решить, — это вопрос о том, силен или слаб данный ребенок на данной стадии развития. Может быть, было бы лучше сказать, что он всегда уязвим в отношении каких-то одних аспектов и абсолютно безразличен и несензитивен — в отношении других, но что в то же самое время он невероятно устойчив в тех самых аспектах, где он уязвим. Причем слабость ребенка дает ему власть; исходя из этой своей зависимости и слабости, он подает сигналы, к которым его окружение крайне сензитивно, вне зависимости от того, руководствуется ли оно «инстинктивными» или традиционными моделями воспитания. Присутствие ребенка создает постоянную и устойчивую доминанту во внешней и внутренней жизни каждого члена домашнего окружения. Потому что все они должны переориентироваться для того, чтобы приспособиться к нему. Они к тому же должны вырасти и как отдельные индивиды, и как группа. Справедливо будет сказать, что ребенок точно так же контролирует и воспитывает свою семью, как и она его. Семья может воспитать ребенка только в том случае, если сама будет воспитана ребенком. Развитие ребенка состоит из серии вызовов, которые он бросает своему окружению для того, чтобы оно обеспечило развитие его впервые возникающих потенциальностей, связанных с социальным взаимодействием.

Каждая последующая стадия, таким образом, есть потенциальный кризис вследствие радикального изменения перспективы. Слово «кризис» здесь употребляется в контексте представлений о развитии для того, чтобы выделить не угрозу катастрофы, а момент изменения, критический период повышенной уязвимости и возросших потенций и, вследствие этого, онтогенетический источник возможного формирования хорошей или плохой приспособляемости. Наиболее радикальные изменения, начиная от глубин внутренней жизни и кончая внешними ее проявлениями, происходят в самом начале жизни. Но и в постнатальном существовании такие в перспективе важные способности, как умения спокойно лежать, твердо сидеть или быстро бегать, должны сформироваться каждое в свое, лучшее для этого время. Вместе с ними также радикально изме-

няется и интерперсональная перспектива, что проявляется, скажем, в быстрой смене таких противоположных желаний, как «не выпускать мать из виду» и «хотеть быть независимым». Таким образом, разные способности используют разные возможности для того, чтобы превратиться в полноценные компоненты той всегда новой конфигурации, которой является развивающаяся личность.

1. Младенчество: развитие узнавания

Фундаментальной предпосылкой ментальной витальности является *чувство базисного доверия* — формирующаяся на основании опыта первого года жизни установка по отношению к себе и к миру. Под «доверием» я подразумеваю собственную доверчивость и чувство неизменной расположенности к себе других людей.

Описывая развитие серии альтернативных базисных установок, включая идентичность, мы прибегаем к термину «чувство чего-то». Очевидно, что такие «чувства», как ощущение здоровья или витальности либо ощущение их отсутствия, пронизывают всё, от поверхности до самой глубины, включая и то, что мы переживаем совершенно сознательно, и то, что переживаем едва осознанно и совершенно бессознательно. Как сознательное переживание, доверие доступно интроспекции. Но оно является также и особым типом поведения, доступным постороннему наблюдению; оно, наконец, является некоторым внутренним состоянием, верифицируемым только тестированием и психоаналитической интерпретацией. Все три указанных измерения необходимо иметь в виду, когда мы говорим о «чувстве чего-то».

Как это принято в психоанализе, вначале мы исследовали «базисную» природу доверия через психопатологию взрослых. У взрослых радикальное снижение базисного доверия и превалирование *базисного недоверия* проявляются в определенной форме выраженного отчуждения, характеризующего индивидов, которые уходят в себя, если оказываются не в ладах с другими людьми или с самими собой. Такой уход наиболее ярко демонстрируют индивиды, у которых наблюдается регресс к психотическому состоянию, когда они полностью закрываются, отказываясь от еды, удобств, забывая все свои дружеские привязанности. Главный дефект этих людей виден из того факта, что если мы хотим помочь им с помощью психотерапии,

то должны сначала «достучаться» до них, убедив в том, что они могут доверять нам, что мы доверяем им и они могут доверять сами себе.

Знакомство с подобными радикальными регрессиями, равно как и наиболее глубокими и инфантильными склонностями наших здоровых пациентов, научило нас рассматривать базисное доверие в качестве краеугольного камня витальной личности. Давайте посмотрим, что доказывает справедливость идеи поместить акцент на этом компоненте в самое начало человеческой жизни.

Как только разрывается симбиоз новорожденного младенца с телом матери, происходит встреча врожденной и более или менее скоординированной способности ребенка сосать материнскую грудь с более или менее скоординированной способностью и желанием, интенцией, матери кормить младенца и радоваться ему. В этот момент ребенок живет и любит через свой рот, а мать живет и любит через свою грудь, выражая голосом, мимикой, позой тела готовность сделать все необходимое для ребенка.

Для матери это позднее и сложное достижение, во многом определяемое всем ходом ее развития, ее неосознаваемой установкой по отношению к ребенку, перенесенной беременностью и родами, отношением к уходу за ребенком, его воспитанию — и ответной реакцией новорожденного. Для младенца рот является фокусом самого первого совместного с матерью подхода к жизни. В психоанализе эта стадия обычно называется оральной стадией. Однако ясно, что, помимо доминирующей потребности в пище и восприимчивости к пищевым раздражителям, ребенок вскоре становится восприимчив и ко многому другому. Поскольку он хочет и может сосать соответствующие объекты и глотать все те жидкости, которые они выделяют, то вскоре он начинает хотеть и мочь «взять» с помощью глаз все то, что составляет его визуальное поле. Его чувства начинают «вбирать» все подходящее. В этом смысле можно говорить об *инкорпоративной (вбирающей) стадии*, на которой ребенок, если можно так выразиться, берет то, что ему предлагают. В этот период младенцы очень чувствительны и уязвимы. Поэтому, чтобы быть уверенными в том, что первый опыт жизни в этом мире не только сохранит им жизнь, но и поможет скоординировать их нежное дыхание и их метаболические и циркуляторные ритмы, взрослые должны проследить за теми стимулами, которые они адресуют чув-

ствам детей. Эти стимулы, как и пища, должны быть своевременны и нужной интенсивности; в противном случае готовность к восприятию у ребенка может смениться либо диффузной защитой, либо апатией.

Теперь, когда для нас совершенно ясно, что́ должно происходить, чтобы младенец остался жить, — минимально необходимое питание — и чего не должно происходить, чтобы он не получил физических повреждений или хронических расстройств, — максимум ранней фрустрационной толерантности+, — можно говорить об определенном изменении во взгляде на то, что *может* произойти. Различные культуры активно пытаются определить, что считать наиболее подходящим и на чем настаивать как на необходимом. Некоторые люди полагают, что для того, чтобы ребенок не выцарапал себе глаза, он должен быть полностью спеленут практически целый день в течение большей части первого года жизни и что его надо качать или кормить, едва он захнычет. Другие исходят из того, что младенец должен ощущать свободу движений как можно раньше, но одновременно, как само собой разумеющееся, полагают, что он должен как следует, пока не посинеет, покричать, чтобы выпросить себе еду. Все это, более или менее осознанно, связано с теми или иными культурными традициями. Я знал одного старого американского индейца, который с горечью порицал то, как мы позволяем нашим маленьким детям плакать, потому что верим, что от этого «станут сильнее их легкие». Неудивительно, сказал индеец, что белый человек после такого исходного опыта так стремится попасть в рай. Но тот же индеец с гордостью рассказывал, как дети его племени, которых продолжают кормить грудью и на втором году жизни, синели от ярости, если получали затрещину за то, что кусали материнскую грудь; здесь индеец в свою очередь верил, что это поможет им «стать хорошими охотниками».

Существует некоторая глубинная мудрость, некоторое неосознаваемое планирование, множество суеверий в различных (иногда на первый взгляд) случайных вариациях воспитания детей. Но есть и своя логика — пусть инстинктивная и ненаучная — в утверждении, что то, что «хорошо для ребенка», зависит от того, кем предположительно он станет и где.

Как бы то ни было, но уже в своих самых первых контактах ребенок сталкивается с принципиальными модальностями своей культуры. Простейшая и первейшая из этих модальностей+ — *взять*, не в смысле «пойти и взять», а смысле воспринять то, что дается. «Взять» легко, когда все в порядке, но любое нарушение показывает действительную сложность этого процесса. Организм новорожденного, нестабильный, нащупывающий, ищущий, осваивает эту модальность, лишь научаясь соотносить свою готовность «взять» с тем, что делает мать, которая в свою очередь дает ему возможность развивать и координировать его способы «взять» в той мере, в какой она развивает и координирует свои способы «дать». Но в этом принятии того, что ему дается, в обретении способности заставить кого-то сделать для него то, что он хочет, младенец также развивает необходимые основы, чтобы самому превратиться в дающего.

У некоторых особо чувствительных индивидов или у тех, чья ранняя фрустрация не была компенсирована, слабость этой ранней взаимной регуляции может проявляться в нарушении связей с миром в целом, и в особенности со значимыми для них людьми. Но, конечно, существуют пути поддержания общности через насыщение иных, кроме орального, рецепторов: удовольствие, получаемое ребенком от того, что его держат на руках, согревают, улыбаются ему, говорят с ним, качают и т.п. Кроме такой «горизонтальной» компенсации (компенсации на той же стадии развития) существует множество «лонгитюдных» компенсаций, возникающих на более поздних стадиях жизненного цикла[3].

На «второй, оральной» стадии окончательно формируются способности добиваться и получать удовольствие в более активной и определенно направленной инкорпоративной деятельности. С появлением зубов развивается удовольствие кусать твердые предметы, прокусывать их, откусывать от них кусочки. Этот активно-инкорпоративный модус+, так же как и описанный выше, характеризует вариативность других видов активности. Глаза, которые вначале просто пассивно следовали за предъявляемыми раздражителями, теперь научаются фокусироваться на объектах, выделять их, «выхватывать» из окружения, активно следить за ними. Так же и органы слуха приобретают способность вычленять значимые звуки, локализовать их, соответственно менять позицию головы и тела. Руки обу-

чаются целенаправленным движениям, умению хватать и удерживать предметы. Мы, однако, более заинтересованы в выявлении некоторой общей конфигурации развития отношения ребенка к миру, нежели в анализе первых проявлений отдельных изолированных способностей, которые подробно описаны в литературе, посвященной развитию ребенка. Тогда можно рассматривать стадию как время, когда появляется данная общая конфигурация (или появляется в формах, поддающихся тестированию), или как период, когда ряд связанных между собой способностей развиваются и интегрируются таким образом, что обеспечивают благополучный переход к следующей стадии.

На второй стадии устанавливаются интерперсональные паттерны, связанные с социальными модальностями *брать* и *удерживать* предметы — предметы, которые предлагаются и даются ребенку, и предметы, которые имеют большую или меньшую тенденцию «улизнуть». Поскольку ребенок учится менять позицию, поворачиваться и постепенно обретает место на троне своего королевства, он должен совершенствовать механизмы хватания, овладения, удержания точно так же, как и жевания всего того, что находится в зоне его досягаемости.

Кризис «второй, оральной» стадии трудно определить и еще труднее верифицировать. По-видимому, он состоит в совпадении во времени трех моментов: (1) более острая, напряженная потребность в активном овладении, приобретении и наблюдении, напряжение, связанное с ощущениями дискомфорта из-за растущих зубов, и другие изменения в оральном механизме; (2) растущее осознание ребенком себя как отдельной персоны и (3) постепенный отход матери от ребенка, возвращение к своим обычным занятиям, которые были ею оставлены в пред- и послеродовой периоды. Эти занятия включают и возвращение к интимным супружеским отношениям, а возможно, и новую беременность.

Если кормление грудью происходит и на стадии кусания, что, вообще говоря, является правилом, возникает необходимость понять, как продолжать сосание без кусания, так, чтобы мать с болью и негодованием не отнимала бы свою грудь. Наша клиническая работа показывает, что эта стадия ранней истории жизни человека дает ему некоторое чувство исходной утраты и предчувствие, что од-

нажды его связь с матерью будет нарушена. Поэтому отнятие от груди не должно означать для ребенка внезапное лишение и кормления грудью, и безусловности материнского присутствия. При определенных отягчающих условиях резкая потеря привычной материнской любви без надлежащей замены в этот период может вести к острой детской депрессии или к более мягкому, но хроническому состоянию печали, способному придать депрессивную окраску всей предстоящей жизни человека[4]. Но даже при более благоприятных условиях эта стадия, по-видимому, вводит в психическую жизнь чувство отлучения и смутную, но универсальную ностальгию по утерянному раю.

Именно вопреки всем этим переживаниям, связанным с депривацией от разлучения с матерью, с покинутостью и формирующим чувство базисного недоверия, должно установиться и развиться чувство базисного доверия.

То, что мы здесь называем «доверием» (trust), перекликается с «конфиденциальностью» (confidence)*. И если я предпочитаю слово «доверие», то только потому, что в нем больше наивности и единения: про ребенка можно сказать, что он доверчив, но будет слишком сказать, что он конфиденциален. Более того, доверие включает в себя не только то, что некто научается надеяться, полагаться на тех, кто извне обеспечивает его жизнь, но и доверие к самому себе, веру в способность собственных органов справляться с побуждениями. Такой человек способен чувствовать себя настолько полным доверия, что обеспечивающие его жизнь окружающие не должны постоянно стоять при нем на часах.

В психиатрической литературе мы находим много упоминаний о так называемом «оральном характере», показательные черты которого и составляют нерешенные конфликты описываемой стадии. Если оральный пессимизм становится исключительно доминантным, то такие инфантильные страхи, как «быть оставленным голодным» или просто «быть оставленным», могут проявляться в депрессивных формах типа «быть голодным» или «быть бесполезным». Эти страхи в свою очередь могут дать оральности определенное качество жадности, называемое в психоанализе

---

* На русский язык оба эти слова переводятся как «доверие». — *Прим. перев.*

«оральным садизмом», представляющим собой жестокую потребность брать, хватать, добывать, которая проявляется в опасных для окружающих и для самого человека формах. Но встречается и оптимистический оральный характер — у тех, кто научился давать и получать наиболее важные в жизни вещи. Существует и «оральность» как некоторый нормальный субстрат любого индивида, длящаяся резидуальная форма этого первого периода зависимости от «всемогущих» кормильцев. Обычно она проявляется в наших зависимостях и в ностальгии, во всех наших слишком полных надежд и слишком безнадежных состояниях. Интеграция этой оральной стадии со всеми последующими приводит во взрослой жизни к определенной комбинации веры и реализма, доверчивости и реалистичности.

Патология и иррациональность оральных тенденций всецело зависят от степени их интегрированности с другими частями личности, а также от степени их включенности в общие культурные паттерны и использования принятых межличностных форм их внешнего выражения.

Здесь, как, собственно, и везде, мы должны, следовательно, рассмотреть в качестве дискуссионной проблему выражения инфантильных побуждений в культурных паттернах, которые можно считать, а можно не считать патологическими отклонениями от общей экономической или моральной системы некоторой культуры. В качестве примера можно назвать воодушевляющую веру в счастливый случай, в «свой шанс» — эту традиционную прерогативу веры американцев в свои собственные возможности и в благожелательность судьбы. Эта вера временами может вырождаться в любовь к азартным играм или в «ловлю шанса» — случайные, часто самоубийственные испытания судьбы — или просто в убежденность, что твои шансы на успех явно выше, чем у других. Точно так же все приятные переживания, которые могут быть получены, особенно в компании, от старых и новых вкусовых ощущений, нюхания, питья, жевания, глотания, переваривания пищи, могут обернуться пагубным пристрастием к еде, не выражающим и не возбуждающим имеющегося у нас базисного доверия. Здесь мы, по-видимому, сталкиваемся с феноменом, требующим эпидемиологического подхода к проблеме более или менее опасного развития инфантильных модальностей в культурных излишествах, точно так же, как и к мягким формам вкусовых привычек, самооб-

мана, алчности, которые являются выражением определенной слабости оральной уверенности.

Необходимо, однако, отметить, что степень доверия, определяемая самым ранним детским опытом, по-видимому, не зависит от абсолютного количества еды или демонстраций любви, а зависит от качества связей ребенка с матерью. Матери формируют у своих детей доверие при таком типе отношения к ребенку, который сочетает тонкую реакцию на индивидуальные запросы младенца и твердое чувство собственной уверенности в контексте взаимного доверия их совместного стиля жизни. Это формирует у ребенка исходные основания чувства идентичности, которые позже войдут в ощущение того, что «все в порядке», чувство, что ты есть ты, что ты становишься тем, кем, другие верят, ты станешь. Родителям мало владеть одними только приемами воспитания через запреты и разрешения, они должны уметь донести до ребенка глубокую, почти соматическую убежденность в том, что существует определенный смысл во всем том, что они делают. Здесь следует заметить, что традиционная система ухода за ребенком является фактором, способствующим формированию доверия, даже тогда, когда ее элементы, взятые в отдельности, могут казаться случайными и либо слишком жесткими, либо слишком мягкими. Многое в данном случае зависит от того, используются ли эти элементы родителями, твердо уверенными, что это и есть единственно возможный, правильный метод воспитания, или же родителями, для которых процесс воспитания — лишь способ отделаться от гнева, снять собственные страхи, заслужить похвалу от самого ребенка, от свекрови, тещи, врача или священника.

Во времена исторических перемен — а какие еще на нашей памяти? — одно поколение так сильно отличается от другого, что разрушаются традиционные элементы воспитания. Возникающие при этом конфликты — конфликт между тем, как воспитывалась мать в детстве, и ее собственным стилем самовоспитания, конфликт между советами специалистов и теми приемами воспитания, которые мать усвоила с детства, конфликт между авторитетом специалистов и собственным стилем — могут разрушить у молодой матери чувство доверия к самой себе. Более того, такие массовые трансформации американской жизни, как иммиграция, миграция, индустриализация, урбанизация, механизация и др., способны помешать молодой матери в выпол-

нении ею своих задач — простых и чреватых серьезными последствиями одновременно.

Каждый раз, когда разговор заходит о проблемах развития, неизбежно приходится начинать сначала. Это не слишком удачно, конечно, ведь мы так мало знаем о самой ранней и самой глубокой страте человеческой психики. Можно сказать, что мы сейчас уже наметили основные линии изучения любого из выделенных компонентов человеческой витальности — от самого начала жизни до кризиса идентичности и далее. Мы не сможем в равной мере осветить все этапы, однако эта глава должна включить в себя тот «список», который наметился уже на первой стадии жизни. В дополнение к выделенным аспектам роста наша имплицитная схема должна включать следующее:

(1) *Расширяющиеся либидные потребности* развивающегося живого существа и с ними новые возможности удовлетворения, фрустрации и «сублимации».

(2) *Раздвигающийся социальный радиус*, то есть количество и характер людей, с которыми человек может осмысленно взаимодействовать, опираясь на

(3) свои все более дифференцирующиеся *способности*.

(4) *Кризис развития*, порождаемый необходимостью овладеть новыми способами поведения в заданный промежуток времени.

(5) *Новое чувство отчужденности*, возникающее и развивающееся вместе с осознанием новых зависимостей и новых связей (скажем, в раннем детстве чувство заброшенности, покинутости).

(6) Специфически новая *психологическая сила* (на данной стадии предпочтение доверия недоверию), которая является фундаментом для всех будущих сил.

Этот внушительный список[5] одновременно отвечает и нашей непосредственной задаче, а именно описанию раннего опыта, который облегчает или затрудняет человеку достижение в будущем идентичности.

Что могли бы мы считать наиболее ранним и наиболее недифференцированным «чувством идентичности»? Я склонен предположить, что оно порождается встречей матери и младенца, дающей взаимное доверие и взаимное узнавание. Это во всей своей детской простоте и является первым опытом того, что впоследствии вновь проявится в любви, в способности восхищаться и что может быть названо чувством «благословенного присутствия», потреб-

ность в котором на протяжении всей жизни остается основной для человека. Отсутствие этого чувства или его ослабленность может опасно ограничить способность переживания «идентичности», когда в подростковом возрасте человек должен оставить детство и встретить взрослость и вместе с ней начать лично выбирать свои любовные привязанности.

Здесь я должен добавить к представленному выше списку еще одно, седьмое измерение — вклад каждой стадии в то главное стремление человека, которое в отрочестве попадает под влияние зарождающейся на этой стадии специфической силы и ритуального удовлетворения от ее специфического отчуждения.

Каждая следующая стадия и каждый следующий кризис имеют определенную связь с одним из базисных институциональных стремлений человека по той простой причине, что жизненный цикл человека и социальные институты развивались одновременно. Между ними двойная связь: каждое поколение привносит в эти институты пережитки инфантильных потребностей и юношеского пыла и берет от них — пока они, естественно, в состоянии поддерживать свою институциональную витальность — специфическое подкрепление детской витальности. Если я называю религию в качестве института, который на протяжении всей человеческой истории боролся за утверждение базисного доверия, я тем самым вовсе не считаю религию чем-то детским, а религиозное поведение — регрессивным, хотя очевидно, что в широком смысле инфантилизация не чужда практике и целям религии. Если мы преодолеем нашу универсальную забывчивость, касающуюся пугающих сторон детства, то сможем признать, что в принципе великолепие детства продолжает свое существование и во взрослой жизни. Доверие тогда превращается в способность *верить* — витальную потребность, для которой человек должен найти определенное институциональное подтверждение. По-видимому, именно религия и является самым древним социальным институтом, который служит постоянному ритуальному возрождению чувства доверия в форме веры, одновременно предлагая ясную формулу греха, с которым надо бороться и от которого надо защищаться. Существование в этом социальном институте детской силы, равно как и потенции инфантили-

зации, можно предположить на том основании, что вся религиозная практика включает в себя периодическую детскую капитуляцию перед Властью, которая творит все, распределяя земную судьбу так же, как и духовное благополучие; демонстрацию человеку с помощью покорных поз и смиренных жестов, как он мал и зависим; признание в исповеди, молитве, песнопениях в своих неправедных действиях и мыслях, греховных побуждениях и страстный призыв к исходному воссоединению через духовное наставничество. В лучшем случае все это принимает высокостилизованные формы и таким образом становится надперсональным[6]; индивидуальное доверие превращается в общую веру, индивидуальное недоверие — в общественно формулируемый грех, когда мольба отдельного человека о возрождении оказывается частью ритуальной практики многих людей, знаком того, что данная общность заслуживает доверия.

Когда религия теряет свою актуальную власть в настоящем, тогда, видимо, возраст должен находить другие формы общего благоговения перед жизнью, которые бы извлекали витальность из расчлененной картины мира. Только осмысленно устроенный мир может дать веру, которую мать передает ребенку через витальную силу *надежды*, являющуюся в свою очередь бесконечной готовностью человека верить в достижимость главных своих желаний, несмотря на возникающие время от времени анархические позывы и приступы зависимости.

Наиболее краткой и точной формулировкой идентичности, являющейся завоеванием самого раннего детства, может быть следующая: «Я есть то, что, надеюсь, я имею и даю».

2. Раннее детство: воля быть собой

Психоанализ обогатил словарь словом «анальность», предложенным для обозначения определенного удовольствия и своеволия, связанных в раннем детстве с органами выделения. Для ребенка ценность полной процедуры очищения кишечника и мочевого пузыря, конечно, с самого начала повышается за счет предстоящей награды за большое «хорошо сделанное» дело. Вначале эта награда должна компенсировать частый дискомфорт и переживаемое напряжение, которые создаются, покуда кишечник учится

делать свою ежедневную работу. Необходимый «объем» анальному опыту дают две линии развития: появление достаточно сформированного стула и общая координация мускульной системы, которая обеспечивает произвольное выделение, равно как и произвольную задержку стула. Это новое измерение в подходе к вещам не ограничивается, однако, одними лишь сфинктерами. В действительности развивается общая способность — напряженная потребность в принципе сохранять опрятность и по желанию выбрасывать то, что накопилось, — сменяющая произвольное задержание или освобождение от стула.

Основное значение этой второй стадии раннего детства — в быстрых завоеваниях на пути развития мускулатуры и вербализации; в становлении способности — и вдвойне переживаемой неспособности — координировать некоторое число в высшей степени конфликтующих между собой паттернов действий, характеризующихся тенденциями «удержать» и «отпустить». На этом и на многих других путях развития все еще очень зависимый ребенок начинает испытывать свою *автономную волю*. В это время грозные внутренние силы «держатся в узде» и рвутся из нее, особенно в столкновении неравных воль, поскольку ребенок часто бывает не равносилен своему собственному желанию, а родители и ребенок — не равносильными друг другу. Что касается собственно анальности, то все здесь зависит от желания культурного окружения ребенка заниматься этой проблемой. Существуют примитивные и аграрные культуры, где родители игнорируют анальное поведение и оставляют более старшим детям заботу выводить едва начинающего ходить малыша в кустики, причем его обучаемость в этом деле может быть связана главным образом с желанием подражать старшим детям. Наша западная цивилизация (так же, как и другие, например японская), и особенно определенные ее классы, имеет обыкновение к этому делу относиться серьезнее. Именно в данном вопросе машинный век выработал идеал механически оттренированного, безупречно функционирующего и всегда чистого, пунктуального, дезодорированного тела. К тому же предполагается, что ранний и строгий тренинг абсолютно необходим для такого типа личности, которому предстоит эффективно функционировать в этом механизированном мире, где время — деньги. Таким образом, ребенок в глазах взрослых превращается в машину, которую следует настроить и от-

ладить, точно так же, как раньше он представлялся им животным, которое надо было выдрессировать. На самом деле произвольность может развиваться только постепенно. В любом случае клиническая практика позволяет предположить, что среди современных невротиков встречается *компульсивный тип*, для которого характерны скупость, скрытность, мелочность как в отношении человеческих привязанностей, времени и денег, так и в отношении управления своим кишечником. Также следует отметить, что для широких слоев нашего общества тренировка работы кишечника и мочевого пузыря оказывается явно слабым местом в воспитании ребенка.

Что же делает анальную проблему такой потенциально важной и трудной?

Вклад анальной зоны в экспрессию упрямой настойчивости конфликтного импульса больше, чем вклад всех других зон, потому что, во-первых, это модельная зона для двух противоположных модусов, которые должны превратиться в альтернативные, а именно задержание и освобождение от чего-то. Далее, сфинктеры являются лишь частью мускульной системы с ее общей двойственностью: напряжения и расслабления, сгибания и разгибания. Тогда данная стадия в целом превращается в *борьбу за автономию*. Потому что, как только ребенок начинает более твердо стоять на ногах, он научается также описывать свой мир как «я» и «ты», «мне» и «мое». Каждая мать знает, как поразительно находчив бывает на этой стадии малыш, если он задумал что-то сделать. Невозможно, однако, найти надежного способа заставить его захотеть сделать именно это. Любая мать замечала также, с какой нежностью и любовью ребенок в этом возрасте прижимается к ней и как неожиданно резко может ее оттолкнуть. Одновременно ребенок может собирать различные предметы в одну кучу и разбрасывать их, привязываться к драгоценным для него вещам и вышвыривать их в окна дома или автомобиля. Все эти с виду противоречивые тенденции мы объединяем в формуле *сдерживающего-отпускающего модуса*. В действительности все базисные модальности приводят к враждебным и дружественным, жестким и мягким ожиданиям и установкам. Так, модальность «держать» может превратиться в деструктивное и жестокое сдерживание, изолирование, а может — в паттерн заботы «хранить и оберегать». Модальность «отпу-

скать» также может обернуться опасным попустительством деструктивным силам или стать мягким отношением «пусть будет», «пусть оно идет, как идет». Говоря на языке культуры, эти модальности не хороши и не плохи, их ценность зависит от того, как они встроены в паттерны утверждения или отвержения данной культуры.

Регуляция взаимоотношений между взрослым и ребенком оборачивается теперь тяжелым испытанием. Если слишком ранний или слишком жесткий внешний контроль отнимает у ребенка возможность самому постепенно научиться произвольно, по своему выбору контролировать отправления кишечника и других функций, то позже он окажется перед лицом двойного сопротивления и двойного поражения. Бессильный против своих собственных анальных инстинктов, часто пугающийся «урчания» своих собственных кишок, беспомощный во внешней жизни, ребенок будет вынужден искать удовлетворение и способы контроля либо посредством регрессии, либо посредством извращения прогрессивного развития. Иными словами, он вернется к более раннему оральному контролю; то есть или он будет сосать свой палец и станет вдвое требовательнее; или начнет вести себя враждебно и своевольно, используя свои фекалии (что впоследствии будет соответствовать грязным выражениям) в качестве агрессивного подкрепления; или же он будет без достаточных оснований претендовать на автономию, на действия без чьей-либо помощи.

Вследствие этого данная стадия становится решающей для установления соотношения между доброй волей и полным ненависти самоутверждением, между кооперативностью и своеволием, между самовыражением и компульсивным самоограничением или смиренной угодливостью. Чувство самоконтроля без потери самоуважения является онтогенетическим источником *свободной воли*. Неизбежно возникающее чувство потери самоконтроля и родительского внешнего контроля порождает устойчивую склонность к переживанию *сомнения* и *стыда*.

Для становления автономии необходимо выраженное развитие раннего чувства доверия. Ребенок должен прийти к уверенности в том, что его вера в себя и в мир не будет подвергнута опасности из-за его горячего желания

иметь право на собственный выбор, на требовательное приобретение или на упорное избавление от чего-то.

Только твердость родителей может уберечь ребенка от последствий того, что он пока еще не научился быть достаточно проницательным и осмотрительным.

Окружающая ребенка действительность должна также поддерживать его в стремлении «стоять на своих собственных ногах» и в то же время защищать его от впервые теперь возникающей пары отчужденностей, а именно: чувства глупого и незрелого саморазоблачения, которое мы называем стыдом, и того вторичного и «удвоенного» недоверия, которое мы называем сомнением — сомнением в себе и сомнением в твердости и проницательности своих учителей.

Стыд представляет собой инфантильную эмоцию, явно недостаточно изученную из-за того, что в нашей цивилизации она так рано и так легко поглощается виной. Стыд предполагает осознание того, что некто полностью разоблачен, раскрыт, что на него смотрят, — одним словом, самосознание. Некто виден, но не готов к тому, чтобы быть видимым; вот почему в снах о стыде на нас смотрят тогда, когда мы не полностью одеты, в ночной рубашке, «со спущенными штанами». Стыд рано начинает выражаться в том, что ребенок закрывает лицо или здесь же падает на землю. Некоторые примитивные люди широко используют воспитательный метод «пристыдить», деструктивный характер которого во многих цивилизациях уравновешивается выработанными способами «сохранить свое лицо». Пристыжение эксплуатирует растущее чувство своей малости, которое парадоксальным образом увеличивается по мере того, как ребенок встает на ноги и его сознание позволяет ему замечать относительную меру собственной величины и силы.

Если ребенка слишком много стыдят, это приводит к возникновению у него не чувства пристойности, а тайного стремления постараться убраться вон со всем тем, что имеешь, пока тебя не видят, если, конечно, результатом не окажется нарочитое бесстыдство. Есть выразительная американская баллада, в которой убийца, которого должны повесить на виселице на глазах у общины, вместо того, чтобы испытывать смертельный страх или тотальный стыд, начинает бранить наблюдающих за казнью, закан-

чивая каждый пассаж ругани словами «Бог проклинает ваши глаза». Многие маленькие дети, когда их бесконечно стыдят, могут похоже выражать свой вызов окружающим (не владея, конечно, ни такой смелостью, ни такими словами). Этим страшноватым сопоставлением я хочу показать, что есть индивидуальные пределы терпения и у ребенка, и у взрослого перед лицом требований, которые заставляют их считать себя — свое тело, свои нужды, свои желания — чем-то злостным и грязным и верить в непогрешимость тех, кто выдвигает все эти требования. В некоторых случаях ребенок может все поставить вверх дном, втайне стать забывчивым, безразличным к мнению окружающих и рассматривать как зло только тот факт, что они существуют: его время придет, когда либо они уйдут, либо он сам сможет их покинуть.

С психиатрической точки зрения опасность этой стадии, так же как и всех других, состоит в потенциальной возможности отягчения нормативного отчуждения до такого состояния, когда могут проявиться невротические или психотические тенденции. Чувствительный ребенок может обернуть все свое стремление к пониманию только на самого себя, в результате чего развивается *преждевременное самоосознавание*. Вместо того чтобы настойчиво пытаться завладевать разными вещами для исследования их в повторяющихся играх, таким ребенком будет владеть лишь стремление к повтору собственных действий, причем он будет настаивать на том, чтобы все было «только так», только в такой последовательности и в таком темпе. Через подобную инфантильную одержимость и вязкость или через превращение в яростного приверженца ритуальных повторов ребенок завоевывает власть над своими родителями в тех областях, в которых он не мог достичь с ними взаимодействия. Эта видимая победа является инфантильной моделью взрослого компульсивного невроза.

Например, в подростковом возрасте компульсивный человек может попытаться обрести свободу, используя маневры, выражающие желание «справиться» с разными вещами, но обнаруживает свою неспособность справиться даже с самим этим желанием, потому что, пока он учится увертываться от других людей, его преждевременное самоосознавание не позволяет ему реально справляться с чем бы то ни было. Поэтому он обыкновенно проходит

свой кризис идентичности пристыженным, извиняющимся, боящимся быть увиденным либо же «сверхкомпенсаторно» начинает проявлять автономию в формах открытого неповиновения, что может санкционироваться и ритуально оформляться в бесстыдно вызывающем поведении подростковых групп. Все это будет более детально обсуждаться в гл. VI.

Сомнение — родной брат стыда. Если стыд зависит от сознания своей прямоты и открытости, то сомнение имеет дело с осознанием того, что ты имеешь лицевую и обратную стороны (перед и зад), и особенно того, как ты выглядишь со спины, то есть за пределами видимости. Эта задняя часть тела с ее агрессивным и либидным фокусом — сфинктерами и ягодицами — может оказаться логически доминирующей именно потому, что ребенок не может ее видеть. Возникающее на этой основе компульсивное сомнение может проявляться у взрослого человека в параноидных страхах, касающихся невидимых преследователей, угрожающих сзади. В подростковом возрасте оно подчас проявляется во временном, но тотальном сомнении в себе, в ощущении того, что все, что осталось в прошлом («за») — детское окружение и ранние проявления личности, — не выливается теперь в предпосылки для начала новой жизни. Возможно, все это потом будет отвергнуто в намеренном выставлении напоказ своих темных, неприглядных сторон с привлечением «грязных» ругательств, обращенных к миру и к самому себе.

Так же как и в случае с «оральной» личностью, компульсивная, или «анальная», личность имеет как свои нормальные аспекты, так и проявления, выходящие за пределы нормы. Некоторая *импульсивность* дает человеку свободу выражения, равно как некоторая *компульсивность* весьма полезна в делах, требующих порядка, пунктуальности и чистоты, хотя обе эти характеристики являются, конечно, компенсаторными чертами личности. Вопрос всегда заключается в том, остаемся ли мы хозяевами модальностей, вследствие чего вещи становятся более управляемыми или правила начинают доминировать над самим управляющим.

Требуются и выдержка, и гибкость, чтобы правильно воспитать волю ребенка — помочь ему превозмочь свое чрезмерное упрямство, развить его «добрую волю» и (обу-

чая его быть послушным в каких-то важных делах) поддержать его автономное чувство свободы воли. Что касается психоанализа, то он в первую очередь сосредоточивал внимание на слишком раннем приучении к горшку и на неоправданном пристыжении ребенка как на причинах его отчуждения от своего тела. Психоаналитиками была по крайней мере предпринята попытка сформулировать, чего *не* надо делать в отношении ребенка. Из анализа жизненного цикла можно извлечь немалое число таких предупреждений. Однако избыток таких формулировок может породить суеверные запреты у тех, кто склонен скрупулезно выводить четкие правила из всех этих весьма смутных предостережений. Мы постепенно учимся тому, чего не делать с такими-то детьми такого-то возраста; но мы должны все же научиться и тому, что делать, — научиться весело и легко, как бы между делом. Причем эксперт-психолог может задать лишь общие рамки некоторых рекомендаций, внутри которых воспитатель сам должен выбрать то, что ему подходит. Как показывают последние сравнительные исследования, характер и степень чувства автономии, которые родители могут сформировать у своего малыша, зависят от их чувства собственного достоинства и личностной независимости. Мы выше уже высказывали предположение о том, что детское чувство доверия является отражением веры родителей; так же и чувство автономии есть отражение родительских чувств собственного достоинства и самостояния. Для ребенка не столь важны наши отдельные поступки, его в первую очередь волнует наша жизненная позиция: живем ли мы как любящие, помогающие друг другу и твердые в своих убеждениях люди или что-то делает нас злыми, тревожными, внутренне раздвоенными.

Какой же социальный институт охраняет приобретения этой стадии, продолжающие существовать и в дальнейшем? По-видимому, базисная потребность человека в очерчивании границы своей автономии имеет институциональную защиту в принципе *законности и порядка*, который и в обыденной жизни, и в установленном законодательстве распределяет для каждого человека его привилегии и ограничения, его права и обязанности. Только чувство справедливо распределенной автономии воспитывает у родителей такой способ обхождения с маленьким индивидом,

который выражает скорее надперсональное принуждение, чем деспотичное выяснение прав. Важно подробно остановиться на этом положении, поскольку многое в сохраняющихся у человека с детства чувствах сомнения, негодования от перенесенного наказания или ограничения, общих для многих детей, является следствием родительских фрустраций, связанных с женитьбой, работой, гражданской жизнью. Если в детстве мы ожидаем от жизни высокой степени личной автономии, уважения, благоприятных возможностей, а затем, во взрослой жизни, обнаруживаем, что наша жизнь подчинена внеличной организации и машинерии, слишком сложной для нашего понимания, результатом может оказаться глубокое хроническое разочарование, которое делает нас неспособными даровать друг другу или своим детям определенную меру автономии. Вместо этого, напротив, нами может завладеть иррациональный страх потерять остатки своей автономии или подвергнуться притеснению, ограничению, сужению свободы своего волеизъявления какими-то анонимными врагами и одновременно, что весьма парадоксально, страх быть недостаточно контролируемым, когда не *говорят*, что надо делать.

Мы вновь подробно охарактеризовали моменты борьбы и побед одной стадии детского развития. Каков вклад этой стадии в кризис идентичности — как в формирование идентичности, так и в развитие определенного типа отчуждения спутанной идентичности? Стадия автономии, безусловно, заслуживает особого внимания, так как именно в ней «вытанцовывается» первая эмансипация от матери. Есть клинические основания (они будут обсуждены в главе, посвященной спутанной идентичности) полагать, что отрочество, уходя прочь от всей детской жизни, от привычного окружения, во многом повторяет эту первую эмансипацию. По этой причине более всего бунтующие молодые люди могут частично (а иногда полностью) регрессировать к требовательным и одновременно жалобным поискам руководства, которое их бесстыдная независимость, по-видимому, отвергает. Однако, не говоря уже об этих «клинических» основаниях, общий вклад рассматриваемой стадии — мужество быть независимым индивидом, который сам может выбирать и строить собственное будущее.

Мы говорили, что самая ранняя стадия оставляет в развивающемся человеке свой след, который на многих иерархических уровнях, и особенно в индивидуальном ощущении идентичности, может иногда отозваться сознанием того, что «Я есть то, что, надеюсь, я имею и даю». Аналогично можно определить и последствия стадии автономии: «Я есть то, чего я могу свободно желать»[7].

3. Детство: антиципация ролей

Будучи твердо уверенным в том, что он — самому себе принадлежащая персона, ребенок теперь должен выяснить, какой же именно персоной он может стать. Он, конечно, глубоко и полностью «идентифицировался» со своими родителями, которые в целом казались ему могущественными и прекрасными, но в отдельных случаях — довольно неблагоразумными, непривлекательными и даже небезопасными. Три линии развития составляют стержень этой стадии, готовя одновременно ее кризис: (1) ребенок становится более свободным и более настойчивым в своих движениях и вследствие этого устанавливает более широкий и, по существу, не ограниченный для него радиус целей; (2) его чувство языка становится настолько совершенным, что он начинает задавать бесконечные вопросы о бесчисленных вещах, часто не получая должного и вразумительного ответа, что способствует совершенно неправильному толкованию многих понятий; (3) и речь, и развивающаяся моторика позволяют ребенку распространить свое воображение на такое большое число ролей, что подчас это его пугает. Как бы то ни было, из всего этого ребенок должен выйти с *чувством инициативы* как базисным для реалистического ощущения собственных амбиций и целей.

Каковы тогда критерии целостного чувства инициативы? Критерии развития всех обсуждаемых здесь «чувств» одни и те же — кризис, сопровождаемый какими-то новыми отчуждениями, разрешается следующим образом: ребенок неожиданно начинает чувствовать себя «в большей степени собой», более любимым, более расслабленным, более ярким в своих суждениях — иными словами, по-новому витальным. Внешне он выглядит очень активным, владеющим избытком энергии, что позволяет ему быстро

забывать свои поражения и, не страшась опасности, шаг за шагом смело идти вперед, осваивая новые манящие пространства.

Мы подошли к концу третьего года, когда хождение становится для ребенка делом легким и привычным. Безусловно, ходить ребенок начинает значительно раньше, но оттачивается это умение, равно как и умение бегать, только с появлением внутреннего ощущения гравитации, когда малыш забывает о том, что он идет или бежит, а делает это как само собой разумеющееся, сочетая движение с каким-либо другим действием. Только тогда нога становится неотъемлемой частью его тела вместо того, чтобы быть каким-то амбулаторным аппендиксом. Только тогда он с выгодой для себя сможет открывать окружающий мир, сочетая *дозволенные* ему действия с собственными *способностями*. Теперь он уже готов видеть себя таким же большим существом, как эти «ходячие» взрослые. Он начинает делать сравнения по поводу различий в размерах и других свойствах окружающих его людей, проявляет неограниченную любознательность, в частности по поводу половых и возрастных различий. Он старается представить себе возможные будущие роли и понять, о каких из них стоит повоображать.

Под руководством старших детей или воспитателей он постепенно входит в тонкости детской политики яслей, улицы, двора. Его стремление к обучению в это время удивительно сильное; он неукоснительно движется вперед от ограничений к будущим возможностям.

Модус вторжения, доминирующий в поведении на этой стадии, определяет многообразие «схожих» по форме видов активности и фантазий. Он включает: (1) вторжение в пространство с помощью активных движений; (2) вхождение в неизвестное с помощью всепоглощающей любознательности; (3) «влезание» в уши и головы других людей своими криками и воплями; (4) физическую атаку в отношении других людей; (5) а также первые пугающие мысли о том, чтобы ввести фаллос в женское тело.

В теории детской сексуальности эта стадия называется *фаллической стадией* — стадией детской любознательности, генитальной возбудимости и разного рода озабоченности на сексуальной почве (типа утери пениса у девочек). Эта «генитальность», безусловно, рудиментарна, она —

ожидание чего-то и часто бывает практически незаметной. Если ее специально не провоцировать соблазном или подчеркнутыми запрещениями и угрозами «отрезать это» или особыми обычаями вроде сексуальных игр в детских группах, то такая генитальность может проявиться разве что в каких-то особо завораживающих переживаниях, которые вскоре становятся настолько пугающими и бессмысленными для ребенка, что подвергаются репрессиям. Это в свою очередь ведет к доминированию такой отличительной человеческой особенности, которую Фрейд называл «латентным» периодом, представляющим собой длительную отсрочку, разделяющую детскую сексуальность (которая у животных непосредственно переходит в зрелость) и половое созревание. В этот «латентный» период ребенок вынужден признать тот факт, что, несмотря на все усилия представить себя в принципе способным на то же, на что способны мать и отец, ни сейчас, ни даже в достаточно отдаленном будущем нечего и стараться стать отцом в его сексуальных отношениях с матерью или матерью в ее сексуальных отношениях с отцом. Глубокие эмоциональные последствия этого инсайта и связанный с ним магический страх создают то, что Фрейд назвал Эдиповым комплексом. Он основывается на логике развития, которая диктует то, что мальчики связывают свои первые генитальные ощущения с матерями, обеспечивающими комфорт их телу, и то, что они развивают свое первое сексуальное соперничество с тем, кто является сексуальным партнером их матери. Маленькая девочка в свою очередь привязывается к отцу или другому человеку, близкому ее матери, что может сделать ее очень тревожной, поскольку, по-видимому, блокирует ее возвращение к этой самой матери, причем материнское неодобрение оказывается значительно более магически опасным, так как оно «заслуживается» каким-то таинственным образом.

Девочки на этой стадии часто проходят через отрезвляющие изменения, потому что рано или поздно они начинают замечать, что несмотря на то, что ни в движениях, ни в уме, ни в социальной настойчивости они не уступают мальчикам (что позволяет им быть первоклассными сорванцами), все же одного они лишены — пениса — и вместе с ним важных преимуществ, имеющих место в большинстве культур и классов. В то время как мальчик

имеет такой видимый, способный к эрекции и понятный орган, с которым он может связывать мечты о взрослом величии, клитор девочки лишь слабо подкрепляет ее мечты о сексуальном равенстве, и у нее нет даже грудей как аналогичного материально осязаемого знака ее будущего. Идея возможного *зачатия* от введенного фаллоса пока слишком страшна, и материнские потребности могут проявляться у девочки разве что в фантазиях или заботе о малышах. С другой стороны, когда мать доминирует в семейной жизни, у мальчика может развиться чувство неадекватности. На этой стадии он начинает понимать, что его лидерство вне дома в семье будет отобрано матерью и старшими сестрами, которые таким образом могут рассчитаться с ним за свои сомнения в себе, заставив почувствовать, что мальчик в действительности является каким-то ничтожным существом.

Там, где потребности экономической жизни общества и простота его социальных планов делают понятными мужскую и женскую роли, специфику их силы и вознаграждения, эти ранние опасения по поводу сексуальных различий легче интегрируются в культурные проекты для дифференциации половых ролей. Поэтому и девочка, и мальчик оказываются в равной степени необыкновенно ценными из-за внутренней убежденности в том, что в один прекрасный день они станут такими же хорошими, как мама или папа, — а возможно, и лучше. Дети всегда благодарны за такое ненавязчивое и своевременное сексуальное просвещение. Стадия игры и детской генитальности в список базисных социальных модальностей добавляет для обоих полов модальность «делания», первую в детском понимании «делания карьеры».

Причем у мальчика акцент остается на «делании» посредством мозговой атаки; а у девочки он может обернуться «ловлей» посредством или агрессивного захвата, или превращения себя в привлекательную и неотразимую особу.

Таким образом формируются предпосылки мужской или женской инициативы, а также некоторые половые образы самого себя, которые становятся существенными ингредиентами позитивных и негативных аспектов будущей идентичности. В то же время бурно развивающееся воображение, если так можно выразиться, опьянение от рас-

тущей локомоторной власти, ведет к тайным фантазиям о гигантских, ужасающих пропорциях. Просыпается глубинное *чувство* вины — странное чувство, потому что оно надолго поселяет в голове молодого человека уверенность в совершении им каких-то страшных преступлений и поступков, которые он в действительности не только не совершал, но и биологически был бы совершенно не в состоянии совершить. Если борьба за автономию в своем крайнем выражении концентрировалась на избавлении от соперников и поэтому была выражением *гнева ревности*, чаще всего направленного против младших братьев и сестер, то инициатива несет с собой *антиципируемое соперничество* с теми, кто оказался первым и кто уже поэтому может занять то поле деятельности, на которое была исходно направлена инициатива индивида. Ревность и соперничество, эти полные озлобления и вместе с тем в существе своем тщетные попытки разграничить сферу бесспорных привилегий, теперь, в финальном состязании с одним из родителей за лучшую позицию, приводят к своей кульминационной точке: неизбежное и необходимое поражение ведет к переживанию вины и тревоги. Ребенок в своих фантазиях видит себя гигантом или тигром, но в своих снах испытывает ужас перед смертью. Таким образом, это стадия страха за свою жизнь и за свой член, стадия *«комплекса кастрации»* — усиленного опасения лишиться пениса или, если речь идет о девочке, чувства вины за то, что она потеряла пенис в знак наказания за свои тайные фантазии и поступки.

Великим правителем, регулятором инициативы является *сознание*. Ребенок, как мы сказали, теперь не только боится разоблачения, но также слышит «внутренний голос» самонаблюдения, саморегуляции, самонаказания, который приводит к внутреннему расколу: происходит новое и очень сильное отчуждение. Онтогенетически это краеугольный камень нравственности. Но с точки зрения человеческой витальности необходимо отметить, что если это великое достижение будет чрезмерно эксплуатироваться слишком ретивыми взрослыми, то последствия будут отрицательны и для души, и для самой нравственности ребенка. Связано это с тем, что сознание ребенка может быть примитивным, жестоким и бескомпромиссным, например: когда дети учатся подгонять себя под общие тре-

бования; когда они скрупулезно начинают выполнять требования родителей, на что последние совсем не рассчитывали; или когда у детей развивается глубокая регрессия и непреходящее чувство обиды из-за кажущегося несоответствия образа жизни родителей тем нормам, которые они стараются привить детям. Один из самых глубоких конфликтов в жизни обусловлен ненавистью к родителям, которые вначале служили для ребенка моделью, а потом обнаружили перед ним стремление «замести следы» таких своих неблаговидных поступков, с которыми ребенок внутренне уже не может смириться. Тогда ребенок начинает понимать, что дело не в некотором универсальном «хорошо», а в том, на чьей стороне сила. В результате к исходно присущему «супер-эго» качеству «все или ничего» добавляются относительность, подозрительность и уклончивость, что делает человека с такой моралью потенциально опасным и для него самого, и для его близких. Мораль, таким образом, может превратится в синоним наказания и обуздания других.

Все это может казаться странным читателям, которые не представляют себе всей потенциальной мощи деструктивных тенденций, которые могут возникнуть и временно быть похороненными на этой стадии только для того, чтобы потом внести свой вклад во внутренний арсенал деструктивности, готовый к использованию при любой возможной провокации. Используя слова «потенциально», «провокация», «возможный», я хочу подчеркнуть, что лишь очень малая часть этих внутренних линий развития не может быть использована для конструктивной и мирной инициативы, если мы научимся понимать конфликты и тревоги детства и важность детства для человечества. Игнорируя или преуменьшая феномен детства, и в частности хорошие и плохие детские сны, нельзя узнать об одном из вечных источников человеческой тревоги и внутреннего раздора. Потому что патологические последствия этой стадии могут вновь проявиться лишь спустя значительное время, когда связанные с инициативой конфликты найдут свое выражение в *истерическом отвержении* или в *самоограничении*, которые удерживают индивида от полноценной жизни с проявлением всех своих возможностей, фантазии и чувств, если не приведут к относительной сексуальной импотенции или фригидности. Все это в свою оче-

редь может быть «сверхкомпенсировано» в демонстрации неустанной инициативы, стремлении любой ценой добиться успеха. Многие взрослые люди чувствуют, что их человеческая ценность заключается в том, кем они собираются стать в будущем, а вовсе не в том, кем они являются в настоящем. Такие «вечные путники» наиболее подвержены психосоматическим заболеваниям. Получается, что только болезнь может затормозить процесс вечной гонки соответствия человека созданному им же самим рекламному образу.

Сравнительный подход к проблеме воспитания детей предлагает нашему вниманию факт огромной важности для развития идентичности, а именно то, что родители собственным примером, рассказами о жизни и о том, что́ для них значит великое прошлое, передают детям этого возраста страстно заряженный *этос действий* в форме идеальных типов людей или техник, настолько чарующих, что они способны заменить детям героев волшебных сказок. По этой же причине возраст игры опирается на существование определенной формы семьи, которая настойчивыми примерами учит ребенка понимать, где кончается игра и начинается непреложная цель и где «нельзя» сменяется санкционированными способами энергичных действий. Дети сейчас ищут новых идентификаций, которые давали бы поле инициативы, свободное от переживаний конфликта и вины, идущих от безнадежного соперничества дома. Также в совместной деятельности и понятных ребенку играх может развиваться сотрудничество между отцом и сыном, матерью и дочерью, накапливаться важный опыт признания равенства ценности обеих сторон, несмотря на неравенство графиков развития. Такое сотрудничество — надолго остающееся богатство не только для родителей и ребенка, но и для общества в целом, потому что служит противосилой для той глубоко спрятанной ненависти, которая идет просто от разницы в величине или возрасте. Только таким образом переживания вины интегрируются в сильное, но не суровое сознание, только так язык утверждает себя как разделенная актуальность. Таким образом, стадия «Эдипа» в конечном итоге результируется не только в моральном чувстве, стягивающем горизонт дозволенного, но и в установлении направления движения в сторону того возможного и зримого, что свя-

зывает детские сны с различными реальными целями технологии и культуры.

Теперь мы можем видеть, что́ заставило Фрейда поставить Эдипов комплекс во главу угла конфликтного человеческого существования, и не только по психиатрическим основаниям, но и по свидетельствам великой художественной литературы и истории. Тот факт, что человек начинает свою жизнь как играющий ребенок, проявляется затем в ролевых действиях и ролевых играх вплоть до того, что он считает своими высшими целями. Поэтому он любит мысленно переноситься и в славное историческое прошлое, и в более совершенное будущее; поэтому его привлекают торжественные церемонии настоящего со всеми их правилами, ритуалами, которые санкционируют агрессивную инициативу так же, как и смягчают вину подчинением более высокому авторитету.

Среди групповых психологических феноменов, являющихся следствиями стадии инициативы, — латентная и часто повальная готовность самых лучших и самых прилежных следовать за любым лидером, выдвигающим для достижения победы цели, представляющиеся одновременно и внеперсональными и достаточно доблестными для того, чтобы возбудить присущий мужчинам фаллический энтузиазм (и уступчивость у женщин) и уменьшить тем самым их иррациональное чувство вины. Очевидно, что агрессивные идеалы мужчины в большой степени привязаны к стадии инициативы, и это важный факт для понимания конфликта формирования идентичности — и спутанности идентичности.

В таком случае необходимый вклад обсуждаемой стадии в дальнейшее развитие идентичности — это высвобождение детской инициативы и чувства цели для выполнения взрослых задач, что обещает (но не гарантирует) реализацию пространства возможностей человека. Это реализуется в твердом, не разрушаемом чувством вины и постоянно растущем убеждении в том, что «Я есть то, чем, я могу вообразить, я стану». Равно очевидно, однако, и то, что широко распространенное разочарование, идущее от этого убеждения из-за расхождения между инфантильными идеалами и подростковой реальностью, может вести только к тому, что спускается с цепи цикл вины-и-наси-

лия, столь характерный для человека и столь вместе с тем опасный для его собственного существования.

4. Школьный возраст: идентификация с задачей

Именно в конце периода развитого воображения ребенок проявляет наибольшие способности к обучению, соблюдает дисциплину и выполняет определенные требования взрослых. Его переполняет желание конструировать и планировать вместо того, чтобы приставать к другим детям или провоцировать родителей и воспитателей. В этот период дети привязываются к учителям и родителям своих друзей, они хотят наблюдать и имитировать такие занятия людей, которые они могут постичь, — пожарного и полицейского, садовника, водопроводчика и мусорщика. Хорошо, если им посчастливится хотя бы какое-то время пожить рядом со скотным двором или на торговой улице, где они могли бы не только наблюдать, как трудятся взрослые, но и принимать посильное участие в их занятиях. По достижении школьного возраста дети во всех культурах начинают получать первые систематические знания и инструкции, хотя отнюдь не всегда это происходит в школах, где работают специально подготовленные учителя. Если дети живут среди людей неграмотных и не имеют возможности посещать школу, они многому обучаются у окружающих их взрослых, которые становятся учителями не по официальному назначению, а просто с общего одобрения, или у более старших детей, но добытые таким путем знания связаны лишь с основными трудовыми навыками. Ребенок постепенно вливается в трудовую жизнь своего племени, но прямо и непосредственно.

В цивилизованных культурах основной акцент делается на такие знания и умения, которые в первую очередь делают ребенка образованным. Только разностороннее базовое образование способно обеспечить ребенку широкий выбор будущей специальности в ситуации, когда все более сложной становится социальная реальность, все более неопределенными роли отца и матери, все более смутными цели инициативы. Тогда в период между детством и взрослостью школьные навыки для многих превращаются как бы в особый самостоятельный мир, со своими собствен-

ными целями и ограничениями, достижениями и разочарованиями.

В дошкольном возрасте поглощенность игрой позволяет ребенку проникнуть в мир других людей. Вначале эти другие исследуются как вещи; их разглядывают или заставляют быть «лошадкой». Подобное изучение необходимо ребенку для того, чтобы открыть, какое потенциальное игровое содержание допустимо только в фантазии или только в игре с другим человеком; какое содержание может быть успешно представлено только миром игрушек и маленьких предметов, а какое может быть лишь взаимно распределенным с другими людьми или даже им навязанным. Все это не сводится лишь к овладению игрушками или предметами, но включает и детский способ овладения социальным опытом через экспериментирование, планирование, взаимодействие с другими.

Ребенку требуется иногда побыть одному, например, чтобы почитать, посмотреть телевизор или просто помечтать. Часто, оставаясь один, ребенок пытается что-то мастерить, а если у него ничего не получается — ужасно злится. Ощущение себя способным делать разные вещи, и делать их хорошо или даже в совершенстве, я назвал *чувством созидания*. Даже ребенок, избалованный вниманием взрослых, испытывает потребность в уединении и самостоятельном творчестве. Это первая психологическая ступень превращения его из рудиментарного родителя в биологического.

В наступающий латентный период развивающийся ребенок забывает или довольно спокойно «сублимирует» те влечения, которые заставляли его мечтать и играть. Он учится теперь завоевывать признание посредством производства разных вещей и предметов. Он развивает у себя настойчивость, приспосабливается к неорганическим законам мира, орудий труда и может стать активной и заинтересованной единицей производственной ситуации.

Опасность этой стадии — в развитии отчуждения от самого себя и от своих задач — хорошо известное *чувство неполноценности*. Оно может быть обусловлено неудовлетворительным разрешением предшествующего конфликта: ребенок все еще тянется к своей матери, гораздо сильнее, чем к учебе; он все еще может предпочитать, чтобы его считали малышом дома, нежели большим в школе; он

все еще сравнивает себя со своим отцом, и это сравнение вызывает чувство вины, равно как и чувство неполноценности. Семейная жизнь может не подготовить его к школьной жизни, или школьная жизнь может не оправдать обещаний более ранних стадий, потому что кажется, что ничто из того, что он научился хорошо делать до сих пор, не принимается во внимание его приятелями и учителями. И тогда вновь он может быть потенциально способен продвигаться по тем путям, которые, если не будут открываться сейчас, могут открыться слишком поздно или не открыться никогда.

Именно в этот момент широкое социальное окружение становится значимым для ребенка, допуская его к ролям прежде, чем он встретится с актуальностью технологии и экономики. Если тем не менее он обнаружит, что цвет его кожи или положение его родителей в значительно большей степени определяет его ценность как ученика или подмастерья, чем его желание или воля учиться, то ощущение себя недостойным, малоценным может роковым образом отягчить развитие характера.

Хорошие учителя, чувствующие доверие и уважение к себе общественности, знают, как сочетать развлечения и работу, игру и учебу. Они знают также, как приобщить ребенка к какому-то делу и как не упустить тех детей, для которых школа временно не важна и которые рассматривают ее как что-то, что надо перетерпеть, а не то, от чего можно получать удовольствие. Они также имеют подход к тем детям, для которых в это время друзья намного более значимы, чем учитель. Со своей стороны разумные родители видят необходимость в развитии у своих детей доверительного отношения к учителям и поэтому хотят иметь учителей, которым можно доверять. Здесь ставится на карту не что иное, как развитие и поддержание в ребенке положительной идентификации с теми, кто знает вещи и знает, как делать вещи. Вновь и вновь в беседах с особо одаренными и одухотворенными людьми сталкиваешься с тем, с какой теплотой они отзываются о каком-то *одном* своем учителе, сумевшем раскрыть их талант. К сожалению, далеко не всем удается встретить такого человека.

Мимоходом здесь следует заметить, что большинство учителей наших начальных школ — женщины, что часто

является причиной конфликта с неинтеллектуальной мужской идентификацией у мальчиков, поскольку создается впечатление, что знания — это что-то чисто женственное, а действия — сугубо мужественное. Утверждение Бернарда Шоу, что те, кто могут, делают, в то время как те, кто не могут, учат, все еще часто оказывается значимым и для родителей, и для детей. Таким образом, отбор и подготовка учителей витально важны для предотвращения опасностей, которые могут подстерегать индивида на этой стадии. Развитие чувства неполноценности, переживания, что из тебя никогда ничего хорошего не выйдет, — вот та опасность, которая может быть сведена к минимуму педагогом, знающим, как подчеркнуть то, что ребенок *может* сделать, и способным распознать психиатрическую проблему. Очевидно, именно в этом заключается наилучшая возможность предотвращения определенной спутанности идентичности, уходящей своими корнями в неспособность или в действительное отсутствие возможности учиться. С другой стороны, пробуждающееся у ребенка чувство идентичности может остаться преждевременно фиксированным на том, чтобы быть не кем иным, как хорошим «маленьким исполнителем», не стремясь к большим высотам. Наконец, существует еще одна опасность, возможно наиболее распространенная, — то, что на протяжении долгих лет хождения в школу ребенок никогда не получит удовольствия от работы, не испытает гордости за то, что хотя бы что-то одно он сделает своими руками действительно хорошо.

Рассматривая период развивающегося чувства созидания, я обращался к анализу внешних и внутренних препятствий для реализации новых способностей, а не к отягчению новых человеческих потребностей или тем скрытым страстям, которые являются результатом их фрустрации. Эта стадия отличается от более ранних тем, что она не представляет собой хода развития от исходного переворота к новому мастерству. Фрейд называл ее латентной стадией, потому что в норме сильные потребности в это время «спят». Но это только затишье перед бурей пубертата, когда все бывшие когда-то потребности вновь оживают в новых комбинациях.

Но в социальном отношении эта стадия — решающая. Поскольку созидание включает производство предметов

рядом и вместе с другими людьми, то первое чувство разделения труда и различия возможностей — чувство *технологического этоса* культуры — развивается в это время. Поэтому культурные формы и вытекающие из *господствующей технологии* манипуляции должны осмысленно дойти до школьной жизни, поддерживая в каждом ребенке чувство компетентности — то есть свободное упражнение своих умений, интеллекта при выполнении серьезных задач, не затронутых инфантильным чувством неполноценности. Это — основа для кооперативного участия в продуктивной взрослой жизни.

Две противоположные крайности обучения в Америке могут служить иллюстрацией вклада школьного возраста в проблему идентичности. Первая, ставшая уже традиционной, заключается в том, что жизнь младшего школьника превращают в часть суровой взрослой жизни, подчеркивая самоограничение, чувство ответственности, необходимость делать то, что тебе сказали. Вторая, более современная крайность, заключается в продлении на этот возраст натуральной способности детства узнавать что-то играя, учиться тому, что надо делать, делая то, что хочешь. Оба метода хороши в определенных обстоятельствах для определенных детей, но для других требуют специального регулирования. Доведенная до крайности первая тенденция использует склонность ребенка—дошкольника или младшего школьника становиться всецело зависимым от предписанных обязанностей. С одной стороны, он может выучить многое из того, что абсолютно необходимо, и развить в себе непоколебимое чувство долга. Но с другой — может никогда не разучиться этому самоограничению, доставшемуся дорогой ценой, но не являющемуся необходимым, из-за чего в будущем сделает и свою жизнь, и жизнь других людей несчастной и в свою очередь у своих собственных детей сломает их естественное стремление учиться и работать. Вторая тенденция, будучи доведенной до крайности, ведет не только к широко известному и популярному тезису, что дети сегодня вообще ничего не учат, но также и к такому ощущению у детей, которое прекрасно отражается в знаменитом вопросе, заданном одним ребенком: «Учитель, мы *должны* сегодня делать то, что мы *хотим*?» Вряд ли можно лучше выразить тот факт, что детям этого возраста действительно нравится, чтобы их

мягко, но уверенно подводили к увлекательнейшему открытию того, что можно научиться делать такие вещи, о которых ты сам никогда и не думал, вещи, являющиеся продуктом реальности, практичности и логики; вещи, которые приобретают таким образом смысл символа приобщения к реальному миру взрослых. Между этими крайностями мы имеем множество школ, у которых вообще нет никакого стиля, кроме твердой приверженности факту, что школа должна быть. Социальная неравноценность и отсталость методов обучения в таких школах все еще создают опасный зазор между многими детьми и технологией, которая нуждается в них не только как в людях, способных служить технологическим целям, но и как в людях, которым сама технология должна служить.

Но есть и другая опасность для развития идентичности. Если чрезмерно конформный ребенок воспринимает работу как единственный критерий собственной ценности, с излишним рвением жертвуя ради этого воображением и игрой, он может превратиться в субъекта, готового подчиниться тому, что Маркс называл «ремесленным идиотизмом», то есть стать рабом своей технологии и ее преобладающей ролевой типологии. Здесь мы уже вплотную приближаемся к проблеме идентичности, поскольку с установлением твердых исходных связей ребенка с миром орудий, умений и навыков и с теми, кто ими делится и им обучает, с наступлением пубертата, собственно детство заканчивается. И так как человек — не только обучающееся, но и обучающее и, кроме того, работающее существо, то непосредственный вклад школьного возраста в становление чувства идентичности может быть выражен словами «Я есть то, что я могу научиться делать». Очевидно, что для подавляющего большинства мужчин во все времена этим не только начиналась, но и ограничивалась их идентичность; или, лучше сказать, большинство мужчин всегда стягивали потребности в идентичности вокруг своих способностей к техническим и другим профессиональным занятиям, оставляя специальным группам людей (отмеченным происхождением, призванием, одаренностью, собственным или общественным выбором) или устанавливать прерогативу, или оберегать «высшие» образования, без которых дневная работа мужчины всегда представлялась каким-то неадекватным самовыражением или просто

однообразным и скучным времяпрепровождением, если не своеобразным проклятием. Возможно, именно по этой причине в наше время проблема идентичности становится относящейся равно как к психиатрии, так и к истории. Если человек имеет возможность доверить часть своей однообразной, неинтересной работы машине, он может воочию увидеть растущую свободу идентичности.

5. Отрочество

С прогрессом технологии связано расширение временны́х рамок подросткового возраста — периода между младшим школьным возрастом и окончательным получением специальности. Подростковая стадия становится все более заметной, и, как это традиционно существовало в истории некоторых культур, эта стадия является каким-то особым способом существования между детством и взрослостью. На первый взгляд кажется, что подростки, зажатые в кольцо физиологической революцией полового созревания и неопределенностью будущих взрослых ролей, полностью заняты своими чудаковатыми попытками создать собственную подростковую субкультуру. Они болезненно, а чаще, по внешнему впечатлению, странно озабочены тем, что их собственное мнение о себе не совпадает с мнением окружающих их людей, а также тем, что их собственные идеалы не являются общепринятыми. В своих поисках нового чувства преемственности и самотождественности, которое теперь должно включать половую зрелость, некоторые подростки вновь должны попытаться разрешить кризисы предшествующих лет, прежде чем создать для себя в качестве ориентиров для окончательной идентификации устойчивые идолы и идеалы. Помимо всего прочего, они нуждаются в моратории для интеграции тех элементов идентичности, которые выше мы приписывали детским стадиям: только это, теперь более широкое единство, расплывчатое пока в своих очертаниях и одновременно сиюминутное в своих запросах, замещает детскую среду «обществом». Совокупность этих элементов составляет список основных подростковых проблем.

Если самая ранняя стадия завещала «кризису идентичности» важную потребность в доверии себе и другим, то ясно, что подросток особенно страстно ищет тех людей и

те идеи, которым он мог бы *верить*. Это в свою очередь означает, что и оказавшиеся в этой роли люди и идеи должны доказать, что они заслуживают доверия. (Подробнее об этом разговор пойдет в главе, повествующей о верности.) В то же самое время подросток боится быть обманутым, доверившись простодушным обещаниям окружающих, и парадоксально выражает свою потребность в вере громким и циничным неверием.

Если достижения второй стадии связывались с тем, чего ребенок свободно *желает*, то подростковый период характеризуется поиском возможностей свободного выбора подростком путей исполнения своих обязанностей и своего долга и в то же время смертельной боязнью оказаться слабаком, насильно вовлеченным в такую деятельность, где он будет чувствовать себя объектом насмешек или ощущать неуверенность в своих силах. Это также может вести к парадоксальному поведению, а именно к тому, что вне свободного выбора подросток скорее будет вести себя вызывающе в глазах старших, чем позволит принудить себя к активности, позорной в своих собственных глазах или в глазах сверстников.

Если безграничное *воображение* того, кем некто *мог бы* стать, есть наследие возраста игры, то становится понятно, почему подросток готов доверять тем сверстникам и тем действительно направляющим, ведущим или же вводящим в заблуждение старшим, которые зададут образные, если не иллюзорные границы его устремлениям. Лишним доказательством этого может служить то, что он страстно протестует против любых «педантичных» ограничений его представлений о себе и может громогласно настаивать на своей виновности даже явно вопреки собственным интересам.

Наконец, если желание что-то хорошо делать становится завоеванием младшего школьного возраста, то выбор рода занятий приобретает для подростка большее значение, чем вопрос о зарплате или статусе. По этой причине некоторые подростки предпочитают временно вовсе не работать, чем быть вынужденными встать на путь перспективной карьеры, обещающей успех, но не дающей удовлетворения от самой работы.

В каждый конкретный исторический период эта часть юношества оказывается на волне общей технологической,

экономической или идеологической тенденции, как бы обещающей все, что только может запросить юношеская витальность.

Поэтому отрочество — наименее «штормовой» период для той части молодежи, которая хорошо подготовлена для приобщения к расширяющимся технологическим тенденциям и поэтому может идентифицировать себя с новыми ролями, предполагающими компетентность и творчество, и полнее предвидеть неявную перспективу идеологического развития. Там, где этого нет, сознание подростка с очевидностью становится идеологичным, следующим внушаемой ему унифицированной традиции или идеям, идеалам. И конечно, именно идеологический потенциал общества наиболее отчетливо говорит с подростком, так жаждущим поддержки сверстников и учителей, так стремящимся воспринять сто́ящие, ценные «способы жизни». С другой стороны, стоит молодому человеку почувствовать, что его окружение определенно старается отгородить его от всех тех форм выражения, которые позволяют ему развивать и интегрировать свой следующий жизненный шаг, как он начнет сопротивляться этому с дикой силой, пробуждающейся у зверя, неожиданно оказавшегося перед необходимостью защищать свою жизнь. Поскольку, конечно, в социальных джунглях человеческого существования без чувства идентичности нет ощущения жизни.

Зайдя так далеко, я хотел бы привести один пример (который оцениваю как структурно репрезентативный), когда молодой человек смог справиться с пережитками негативной идентичности.

Я знал Джин еще до того, как она вступила в пубертат. Тогда она была довольно толстой девочкой, демонстрировала множество «оральных» черт прожорливости и зависимости и в то же время была настоящим сорванцом, страшно завидовала своим братьям и постоянно соперничала с ними. Но Джин была умненькой, и что-то было в ней (так же, как и в ее матери) обещавшее, что все в конце концов образуется. Мне, как клиницисту, любопытно было увидеть, как она справится со своей прожорливостью и страстью к соперничеству, которые проявлялись ранее. Может ли так случиться, что подобные вещи просто растворятся в предстоящем взрослении?

Однажды осенью, в конце ее отрочества, Джин не вернулась в колледж с ранчо, находящегося на Западе, где она проводила лето. Она попросила родителей разрешить ей остаться, и те, просто из либеральности, предоставили ей этот мораторий.

Той зимой Джин ухаживала за новорожденными телятами и должна была даже ночью кормить из бутылочки животных, которые в этом нуждались. Получив, несомненно, определенное удовлетворение для самой себя, а также изумленное признание со стороны ковбоев, она вернулась домой к своим обязанностям. Я почувствовал, что она нашла возможность (и осталась ей верной) активно делать для других то, что она привыкла, чтобы делали для нее. Последнее и проявлялось в переедании. А теперь она научилась сама кормить нуждающиеся молодые рты, но делала это в таком контексте, который, переведя пассив в актив, также перевел сформировавшийся ранее симптом в социальное действие.

Кто-то может сказать, что в девушке просто проснулось «материнство», но это было такое материнство, которое характерно и для ковбоев. Сделанное принесло Джин признание «мужчины мужчиной», равно как и женщины мужчиной, и, кроме того, дало подтверждение ее оптимизму, то есть ее ощущению, что можно что-то сделать, что было бы полезно и ценно и находилось бы в общей струе идеологической тенденции, где это имеет непосредственный практический смысл. Эффективность занятия такой самостоятельной «терапией» зависит, безусловно, от того, чтобы подобная свобода действий была предоставлена подростку в нужном состоянии души и в нужное время. В будущем я намереваюсь посвятить исследованию подобных историй отдельную работу, в которой будут отражены мои многолетние наблюдения за молодыми людьми с их неисчерпаемыми потенциальными возможностями.

Отчуждением этой стадии является *спутанность идентичности*, которая в ее клинических и биографических деталях будет проанализирована в следующей главе. Неспособность многих молодых людей найти свое место в жизни базируется на предшествующих сильных сомнениях в своей этнической или сексуальной идентичности, или ролевой спутанности, соединяющейся с застарелым чувством безнадежности. В этом случае делинквентные и «пограничные» эпизоды не становятся чем-то уникальным. Один за

другим, сбиваемые с толку собственной неспособностью принять навязываемую им безжалостной стандартизацией американского отрочества роль, молодые люди так или иначе пытаются уйти от этого, убегая из школы, бросая работу, бродя где-то по ночам, отдаваясь странным и неприемлемым занятиям. Для подростка, однажды признанного «делинквентным», самым большим желанием, а часто и единственным спасением является отказ его старших друзей, наставников, представителей судебных органов припечатывать ему и в дальнейшем патологический диагноз и соответствующие социальные оценки, игнорирующие специфику отрочества. Именно здесь, как мы впоследствии увидим более детально, проявляется практическая клиническая ценность концепции спутанности идентичности, потому что если правильно поставить диагноз таким подросткам и правильно с ними обращаться, то окажется, что многие психотические и клинические инциденты в этом возрасте не имеют такой фатальной значимости, которую они могли бы иметь в других возрастах.

В целом можно сказать, что более всего беспокоит молодых людей неспособность установить профессиональную идентичность. Чтобы сохранить свою общность, они временно начинают идентифицироваться с героями своих групп, клик, толп вплоть до возможной полной потери своей индивидуальности. На этой стадии, однако, даже «влюбленность» не есть полностью или даже в первую очередь проблема секса. До определенной степени подростковая любовь — это попытка прийти к определению собственной идентичности через проекцию своего диффузного образа «я» на другого и возможность таким образом увидеть этот образ отраженным и постепенно проясняющимся. Вот почему во многом юношеская любовь — это беседа, разговор. С другой стороны, прояснения образа «я» можно добиться и деструктивными мерами. Молодые люди могут становиться заметно обособленными, приверженными только своему клану, нетерпимыми и жестокими по отношению к тем, кого они отвергают, потому что те, другие, «отличаются от них» по цвету кожи или культурному происхождению, по вкусам или дарованиям, а часто только по мелким деталям одежды и манерам. В принципе важно понять (но не значит оправдать), что такое поведение может быть временно необходимой защитой от чувства потери идентичности. Это неизбежно на этапе жизни,

когда наблюдается резкий рост всего организма, когда созревание половой системы наводняет тело и воображение всевозможными импульсами, когда приближаются интимные отношения с другим полом. В данной ситуации молодой человек может предпринять какие-то действия, в результате которых его ближайшее будущее субъективно предстанет перед ним противоречивым и полным альтернатив. Подростки не только помогают друг другу на время избавиться от этого дискомфорта, формируя группы и стереотипизируя самих себя, свои идеалы и своих врагов; они также постоянно проверяют друг друга на способность сохранять верность при неизбежных конфликтах ценностей.

Готовность к таким проверкам помогает объяснить (как было показано в гл. II) привлекательность простых и жестоких тоталитарных доктрин для молодежи определенных стран и классов, потерявшей или теряющей свою групповую идентичность — феодальную, аграрную, родовую, национальную. Демократия сталкивается с необходимостью решения трудной задачи убедить эту суровую молодежь в том, что демократическая идентичность может быть сильной и вместе с тем устойчивой, мудрой и при этом детерминированной. Но индустриальная демократия выдвигает свои проблемы, делая акцент на самостоятельном формировании идентичности, готовой к тому, чтобы воспользоваться множеством шансов, приспособиться к меняющимся обстоятельствам бумов и банкротств, мира и войны, миграции и вынужденной оседлости. Поэтому демократия должна дать своим подросткам идеалы, которые могли бы разделять молодые люди самого разного происхождения и которые бы подчеркивали автономию в форме независимости и инициативу в форме конструктивной работы. Эти обещания, однако, нелегко исполнить во все более и более усложняющихся и централизованных системах индустриальных, экономических и политических организаций, которые, на словах ратуя за самостоятельно формируемую идентичность, на деле все яростнее ее отвергают. Для многих молодых американцев это тяжело, так как все их воспитание было основано на развитии полагающейся на свои собственные силы личности, зависимой от определенного уровня выбора, от стойкой веры

в свой индивидуальный шанс, от твердого стремления к свободе самореализации.

Мы говорим здесь не просто о каких-то высоких привилегиях и идеалах, а о психологической необходимости, поскольку социальным институтом, отвечающим за идентичность, является *идеология*. Кто-то может видеть в идеологии отображение аристократии в самом широком смысле, означающее, что внутри определенного представления о мире и истории придут к управлению лучшие люди, а управление в свою очередь будет развивать лучшее в людях. Чтобы со временем не пополнить ряды так называемых «потерянных», молодые люди должны как-то убедить себя в том, что в предвосхищаемом ими взрослом мире те, кто преуспевают, одновременно и взваливают на свои плечи обязательства быть лучшими. Именно через их идеологию социальные системы проникают в характер следующего поколения и стремятся «растворить в его крови» живительную силу молодости. Таким образом, отрочество — это жизненный регенератор в процессе социальной эволюции, поскольку молодежь может предложить свою лояльность и энергию как сохранению того, что продолжает казаться истинным, так и революционному изменению того, что утратило свою обновляющую значимость.

Для большей наглядности «кризис идентичности» можно изучать по художественным творениям и оригинальным деяниям великих людей, которые смогли решить его для себя, лишь предложив современникам новую модель решения. Подобно неврозу, в каждый данный период отражающему на новый лад вездесущий исходный хаос человеческого существования, творческий кризис порой демонстрирует уникальные для данного периода решения.

В следующей главе мы детально опишем то, что узнали, анализируя эти особые индивидуальные кризисы. Но есть и третье проявление пережитков детства и отрочества: это объединение индивидуальных кризисов в групповые временны́е сдвиги, доходящие до коллективной «истерии». По творческим кризисам иных говорливых лидеров можно судить о скрытых кризисах их последователей. Более трудно выделить кризисные симптомы в спонтанных групповых образованиях, которые не определяются их лидером. Но в любом случае вряд ли будет полезно обозначать иррациональность масс клиническим термином. Невозмож-

но поставить клинический диагноз, сколько истерии у молодой монахини, участвующей в конвульсивных заклинаниях, или сколько «садизма» у юного нациста, которому приказали участвовать в массобом параде или массовом убийстве. Мы можем лишь в порядке рабочей гипотезы указать на некоторую близость между индивидуальным кризисом и групповым поведением для того, чтобы отметить, что в данный исторический период они оказываются между собой в какой-то трудноуловимой связи.

Но прежде чем мы погрузимся в клинические и биологические проявления того, что мы называем спутанностью идентичности, заглянем за «кризис идентичности». Слова «за идентичностью», конечно, могут быть поняты двояко, и оба эти понимания важны для обсуждаемой проблемы. Они могут означать, что в человеческой сущности есть многое, кроме идентичности, что в каждом индивиде действительно есть его «я», есть центр сознания и воли, который может трансцендировать и должен пережить *психологическую идентичность*, которой посвящена эта книга. В каких-то случаях кажется, что очень рано развивающаяся самотрансцендентность даже сильнее чувствуется в преходящих проявлениях юности, как если бы чистая идентичность должна была бы сохранять свободу от психосоциального вторжения. Тем не менее никакой человек (кроме человека, «горящего» и умирающего, подобно Китсу, который смог сказать об идентичности словами, принесшими ему всемирную славу) не может трансцендировать, выйти за свои границы в юности. Позже мы еще поговорим о трансцендентности идентичности. В нижеследующем фрагменте слова «за идентичностью» означают жизнь после отрочества, использование идентичности и, конечно, возвращение некоторых форм кризиса идентичности на более поздних стадиях жизненного цикла.

6. За идентичностью

Первая из этих форм — кризис *интимности*. Только если формирование идентичности идет нормально, истинная интимность — которая действительно есть контрапункт, равно как и слияние идентичностей, — оказывается возможной. Сексуальная интимность — лишь часть того, что я имею в виду, поскольку очевидно, что сексуальная

интимность часто предшествует способности развивать истинную и зрелую психологическую интимность в общении с другим человеком, обнаруживать ее в дружбе, в эротических связях или в совместных устремлениях. Юноша, не уверенный в своей идентичности, избегает межличностной интимности или же бросается в беспорядочные интимные контакты без настоящего единения или действительного самозабвения.

Если молодой человек не может вступать в действительно интимные отношения с другими людьми — и, я бы добавил, со своими собственными внутренними ресурсами, — то в позднем отрочестве или в ранней взрослости его межличностные связи становятся весьма стереотипными, а сам он приходит к глубокому *чувству изоляции.* Если время благоприятствует имперсональному характеру межличностных отношений, то человек может добиться многого в своей жизни и даже производить вполне благополучное впечатление, но его внутренняя проблема останется нерешенной из-за того, что он никогда не будет себя чувствовать самим собой.

Неотъемлемой частью интимности является *дистанцированность*: готовность человека отвергать, изолировать и, если необходимо, разрушать те силы и тех людей, сущность которых кажется ему опасной. Потребность в определенной дистанции проявляется, в частности, в готовности укреплять и защищать границы своей территории интимности и общности, рассматривая всех находящихся за этими границами с фанатичной «переоценкой малейших различий» между своими и чужими. Такая предубежденность может использоваться в политике, и в частности в военной политике, для формирования у самых сильных и самых лучших молодых людей готовности жертвовать собой и убивать. Наследуемая из отрочества опасность — оказаться там, где отношения интимной привязанности, соревнования и вражды, с одной стороны, связывают, а с другой — используются друг против друга людьми, близкими по своему внутреннему складу. Но по мере того, как постепенно очерчиваются сферы взрослой ответственности, по мере того, как соревновательные стычки, эротические связи и случайные интимные контакты дифференцируются друг от друга, субъект приходит к такому *этическому чувству*, которое является знаком взрослости

и ставит его выше и идеологической убежденности отрочества, и морализма детства.

Однажды Фрейда спросили, что, по его мнению, должен уметь хорошо делать нормальный человек. Задававший вопрос, возможно, ожидал сложного, «глубокого» ответа. Но Фрейд сказал: «Любить и работать». Стоит подумать над этой простой формулой; она глубже, чем кажется. Потому что под словом «любить» Фрейд подразумевал не только половую любовь, но и великодушие интимности; а под фразой в целом — общую рабочую продуктивность, которая не должна занимать индивида настолько, чтобы он мог потерять свое право или возможность быть сексуальным и любящим существом.

Психоанализ подчеркивал *генитальность* как одно из условий развития для достижения полной зрелости. Генитальность состоит в способности развивать органическую потенцию, которая больше чем просто освобождение от сексуальных продуктов в смысле «выброса». Она соединяет окончательное созревание интимной сексуальности с полной генитальной сензитивностью и со способностью снимать напряжение. Это вполне конкретный способ сказать что-то по поводу процесса, который мы в действительности пока не вполне понимаем. Но опыт переживания предельной взаимозависимости в оргазме дает блестящий пример обоюдной, совместной регуляции сложных паттернов и в каком-то смысле являет нам амбивалентность и затаенную страсть, проистекающие из той очевидной оппозиционности мужского и женского, факта и фантазии, любви и ненависти, работы и игры, которую мы можем видеть ежедневно. Подобный опыт заставляет сексуальность менее навязчиво и садистски контролировать излишества партнера.

Прежде чем будет достигнут этот уровень генитальной зрелости, многое в половой любви будет исходить из своекорыстия, голода идентичности; каждый из партнеров в действительности старается лишь прийти к самому себе. Или же это остается чем-то вроде генитальной битвы, в которой каждый стремится стать победителем. Все это сохраняется в дальнейшем как часть взрослой сексуальности, растворяясь постепенно, по мере того, как половые различия полностью поляризуются внутри общего жизненного стиля. Это происходит потому, что ранее сформировавшиеся витальные силы сначала помогли сделать два

пола похожими по сознанию, языку и этике, с тем чтобы потом позволить им в зрелости быть различными.

Человек вдобавок к эротической привлекательности развил еще и селективность «любви», которая служит потребности в новой и взаимно разделенной идентичности. Типичным отчуждением этой стадии является *изоляция*, то есть неспособность воспользоваться своим шансом, разделив истинную интимность. Такое подавление своих чувств часто усиливается страхом того, что интимность выйдет наружу: плод -- и забота о нем. Любовь как взаимная преданность выпускает антагонизм, присущий половой и функциональной поляризации, и являет собой витальную силу ранней взрослости. Любовь охраняет ту неуловимую и, однако, всепроникающую мощь власти культурного и личного стиля, которая связывает в единый «способ жизни» соревнование и кооперацию, продуктивную деятельность и деторождение.

Если мы продолжим игру в «я есть...» за идентичностью, то должны будем сменить тему. Потому что теперь приращение идентичности основывается на формуле «*Мы* есть то, что мы любим».

Эволюция сделала человека как обучающим, так и обучающимся существом, поскольку зависимость и зрелость реципрокны: зрелому человеку необходимо, чтобы в нем нуждались, и зрелость ведóма природой того, о чем следует заботиться. Тогда *генеративность* — это прежде всего забота о становлении следующего поколения. Существуют, конечно, люди, которые, по несчастью ли или потому, что врожденно наделены талантами в других областях, не обращают эту потребность на своих собственных отпрысков, а реализуют ее в иных формах альтруистической заботы и творчества, которые могут вобрать в себя их тип родительской потребности. И безусловно, концепция генеративности подразумевает включение продуктивной и творческой деятельности, ни одна из которых, однако, не может заменить ее в качестве обозначения кризиса в развитии. Потому что способность потерять себя во встрече тел и сознаний ведет к последовательной экспансии «эго-интересов» и к либидному вкладу в то, что нарождается. Там, где такого обогащения не происходит, его место занимает регресс к навязчивой потребности в

псевдоинтимности, часто пропитанной *чувством стагнации*, скукой и оскудением межличностных контактов. Индивиды тогда начинают потворствовать самим себе, как если бы они были своими собственными или друг друга единственными чадами; и там, где условия этому способствуют, носителем заботы о самом себе становится ранняя инвалидность, физическая или психологическая. С другой стороны, сам по себе факт, что у человека есть дети или что он хочет, чтобы они были, еще не ведет к «достижению» генеративности. Кажется, что некоторые молодые родители страдают от того, что развитие их способности к истинной заботе запаздывает. Причины следует искать в их ранних детских впечатлениях; в неправильных идентификациях с родителями; в чрезмерной любви к себе, основанной на слишком странном выстраивании собственной личности, и в отсутствии некоторой веры, «веры в человеческий род», которая позволила бы с полным доверием, радостно встретить приходящего в мир ребенка. Сама природа генеративности, однако, предполагает, что ее наиболее явную патологию следует искать в следующем поколении, то есть в форме тех неизбежных отчуждений, которые мы перечислили как характерные для детства и юности и которые могут проявиться в отягощенной форме вследствие нарушения генеративности у родителей.

Что касается социальных институтов, поддерживающих и охраняющих генеративность, мы можем сказать только, что *все* они по самой своей природе систематизируют этику генеративной преемственности. Генеративность сама является движущей силой человеческой организации. И стадии детства и взрослости представляют собой систему генерации и регенерации, на которую работают такие институты, как теплая, заботливая семья и совместно разделенный труд. Таким образом, перечисленные здесь основные силы и существо организованных человеческих общностей совместно создали систему зарекомендовавших себя методов воспитания и фонд традиционных способов подкрепления, которые дают возможность одному поколению встречать нужды следующего поколения относительно независимо от индивидуальных различий и меняющихся условий.

Лишь обретя жизненный опыт, обогащенный заботой об окружающих людях, и в первую очередь о детях, твор-

ческими взлетами и падениями, человек обретает *интегративность* — завоевание всех семи предшествующих стадий развития.

Говоря об этом зрелом периоде человеческого развития, отмечу несколько его особенностей. Это растущая эмоциональная интеграция как склонность «эго» к порядку и значимости, полная доверия к образам—носителям прошлого и готовая взять на себя лидерство в настоящем (а при отдельных обстоятельствах и отречься от него). Это принятие одного-единственного жизненного цикла с определенным кругом лиц, входящих в него. Все это подразумевает новую и совершенно иную любовь к своим родителям, принятие их такими, какие они есть, и восприятие жизни в целом как личной ответственности. Это чувство дружеской связи с мужчинами и женщинами разных времен и разных профессий, которые создавали окружающий их мир. Обладатель интегративности готов защищать свой собственный жизненный стиль перед лицом любых физических и экономических угроз, при этом не порицая стиль жизни других людей. Он уверен, что индивидуальная жизнь есть случайное совпадение единственного жизненного цикла с единственным сегментом истории и что вся человеческая интегративность существует и исчезает вместе с тем уникальным стилем интегративности, к которому он причастен.

Клинические и антропологические данные позволяют предположить, что отсутствие или утеря такой нарастающей «эго-интеграции» приводит к расстройству нервной системы или полной *безысходности*: судьба не принимается как обрамление жизни, а смерть — как ее последняя граница. Отчаяние вызывается прежде всего временной ограниченностью дееспособности периода жизни человека, в течение которого он не имеет возможности испытать иные пути, ведущие к интеграции. Такое отчаяние часто прячется за демонстрацией отвращения, за мизантропией или хроническим презрительным недовольством определенными социальными институтами и отдельными людьми — отвращением и недовольством, которые там, где они не связаны с ви́дением высшей жизни, свидетельствуют только о презрении индивида к самому себе.

Здесь витальность приобретает форму такого независимого и в то же время активного взаимоотношения человека с его ограниченной смертью жизнью, которое мы называем *мудростью*, со многими оттенками значения — от зрелости

«ума» до сосредоточения знаний, — тщательно обдуманными суждениями и глубоким всеобъемлющим пониманием. Не каждый человек создает собственную мудрость. Для большинства суть ее составляет традиция. Окончание жизненного цикла порождает также «последние вопросы» о шансах человека трансцендировать за пределы своей идентичности и своего часто трагического или даже горько трагикомического участия в собственном неповторимом жизненном цикле в исторической цепи следующих друг за другом поколений. Все великие философские и религиозные системы, имевшие дело с крайней индивидуализацией, ответственно оставались верными современным им традициям, культурам и цивилизациям. Ища трансценденцию в самоотречении, они оставались все же этически озабоченными «сохранением миропорядка». Любая цивилизация может быть оценена по тому, какое значение она придает полноценному жизненному циклу индивида, так как такое значение (или его отсутствие) не может не затронуть начал жизненного цикла следующего поколения и, таким образом, шансов других людей на то, чтобы встретиться с этими конечными вопросами с некоторой ясностью и силой.

К какой бездне ни приводили бы отдельных людей «последние вопросы», человек как творение психосоциальное к концу своей жизни неизбежно оказывается перед лицом новой редакции кризиса идентичности, которую мы можем зафиксировать в словах «Я есть то, что меня переживет». Тогда все критерии витальной индивидуальной силы — вера, сила воли, целеустремленность, компетентность, верность, любовь, забота, мудрость — из стадий жизни переходят в жизнь социальных институтов. Без них эти институты угасают; но и без духа этих институтов, пропитывающего паттерны заботы и любви, инструктирования и тренировки, никакая сила не может появиться просто из последовательности поколений.

Итак, мы приходим к заключению, что психологическая сила зависит от тотального процесса, который одновременно регулирует индивидуальные жизненные циклы, последовательность поколений и структуру общества.

Глава IV

Спутанность идентичности в истории жизни и истории случая

I. Биографический очерк: созидательная спутанность

1. Семидесятилетний Дж. Б. Шоу о Шоу двадцатилетнем

Семидесятилетнего Дж.Б. Шоу попросили просмотреть его ранние работы, не имевшие когда-то успеха, и дать к ним предисловие для издания. Речь шла о двух прежде не публиковавшихся сборниках беллетристики[1]. Можно было ожидать, что Шоу даст пояснения к своим юношеским произведениям, но не предоставит читателю детальный анализ «молодого Шоу». Если бы он не был столь остроумен, говоря о своей молодости, его высказывания можно было бы рассматривать как аналитический шедевр, едва ли нуждающийся в дополнительной интерпретации. К тому же это его собственные заметки по поводу идентичности, посредством которых он успокаивает и поддразнивает читателя то очевидной поверхностностью, то неожиданной глубиной суждений. Я осмеливаюсь воспользоваться выдержкой из этого сборника в своих целях с одной лишь надеждой на то, что мне удастся заинтересовать читателя разбором каждого шага его анализа.

Умудренный жизненным опытом Шоу описывает молодого Шоу как «крайне несговорчивого и неприятного молодого человека», «склонного к дьявольским мыслям» и в то же время «страдающего от обыкновенной трусости и ужасно стыдящегося ее». «Истина состоит в том, — заключает он, — что все мужчины занимают в обществе ложное положение до тех пор, пока они не осознают свои возможности и не примерят их на своих соседей. Они измучены бесчисленными собственными недостатками; к тому же своим беспредельным высокомерием они раздражают окружающих. Это противоречие может быть разрешено путем признания успеха или неудач: каждый из нас немного страдает, пока не найдет свое естественное место,

выше или ниже того уровня, который он занимал от рождения». Но Шоу всегда стремится освободиться от универсального закона, который он, сам того не желая, провозглашает, поэтому он добавляет: «Этот поиск своего места может иногда очень осложняться тем, что в обычном обществе нет места экстраординарным индивидам».

Шоу переходит к описанию собственного кризиса двадцати лет. Этот кризис был вызван не просто неудачей или же отсутствием определенной роли, а, напротив, избытком успеха и определенности: «Я добился успеха вопреки самому себе и с ужасом обнаружил, что Дело вцепилось в меня и не имеет намерения отпустить, вместо того чтобы изгнать меня как ничего не стоящего обманщика, каковым я на самом деле являлся. Поэтому я вижу себя двадцатилетним, обладающим деловой хваткой, занимающим должность, которую я ненавидел всем сердцем, как только может позволить себе нормальный человек ненавидеть что-то, от чего он не может избавиться. В марте 1876 г. я вырвался на свободу». Вырваться на свободу означало для него покинуть семью и друзей, дело и Ирландию и избежать таким образом опасности успеха, несоразмерного «чудовищности моих подсознательных амбиций». Он позволил себе удлинить интервал между юностью и взрослостью, который мы будем называть «психосоциальным мораторием». Он пишет: «Когда я покинул мой родной город, я оставил этот этап жизни позади и больше не ассоциировал себя с мужчинами моего возраста до тех пор, пока, после почти восьмилетнего одиночества, я не был вовлечен в социалистическое движение начала 80-х гг., весьма распространенное среди англичан, жгуче негодующих по поводу очень реального и очень основательного зла, поразившего весь мир». Между тем казалось, что он избегает удобных возможностей, понимая, что «за убеждением, что они могут не привести к тому, чего мне бы хотелось, лежит невысказанный страх, что они могут привести к тому, чего бы мне не хотелось». Эта профессиональная часть моратория подкреплена интеллектуальной: «Я ничего не могу знать о том, что не интересует меня. Моя память избирательна; она отвергает и выбирает; и ее выбор не является академическим... Я поздравляю себя с этим; я твердо убежден, что любая неестественная деятельность мозга также злонамеренна, как и любая неестественная деятельность тела... Цивилизация всегда разру-

шается, давая правящим классам так называемое среднее образование...»

Шоу учился и писал так, как он хотел, и именно это позволило появиться на свет экстраординарным произведениям экстраординарного человека. Он сумел отказаться от той работы, которую должен был бы выполнять, не бросая любимого дела: «Моя конторская выучка оставила во мне привычку регулярно что-нибудь делать как обязательное условие трудолюбия, противостоящего праздности. Я знаю, что не добился бы успеха, если бы не делал этого, и никаким другим путем я никогда не написал бы книги. Я покупал много белой бумаги среднего размера по 6 пенсов, складывал ее вчетверо и приговаривал себя заполнять по пять таких страниц в день, дождливый или солнечный, скучный или вдохновенный. Во мне было так много от школьника и клерка, что, если мои пять страниц кончались на середине предложения, я не заканчивал его до следующего дня. С другой стороны, если я пропускал день, назавтра я отрабатывал его вдвойне. В соответствии с этим планом я написал за пять лет пять романов. Это было моим профессиональным ученичеством».

Можно добавить, что эти пять романов не публиковались более пятидесяти лет, но Шоу научился писать так же, как работал, и ждать так же, как писал. Насколько важна была такая первоначальная ритуализация работы для внутренней стойкости молодого человека, можно понять из тех случайных замечаний, которые этот большой остряк почти застенчиво называет психологическими озарениями: «Мой взлет усилен приобретенной привычкой прекращать работу (я работал так же, как мой отец пил)». Таким образом, он указывает на это сочетание склонности и принуждения, которое лежит в основе многих видов патологии старшего подросткового возраста и некоторых достижений юности.

Шоу в деталях описал «алкогольный невроз» своего отца, находя в нем один из источников своего едкого юмора: «Это должно было стать либо семейной трагедией, либо семейной шуткой». Тем более, что его отец не был «ни веселым, ни сварливым, ни хвастливым, но был несчастным, измученным стыдом и угрызениями совести человеком». Между тем отец обладал «парадоксальным чувством юмора, которое я от него унаследовал и с максимальной эффективностью использовал, начав писать ко-

медии. Его парадоксы для полноты эффекта требовали от нас некоторой святости... Кажется предопределенным, что я пришел к пониманию сути религии в результате редукции всех ее искусственных или фиктивных элементов до максимально непочтительной абсурдности».

Самый бессознательный уровень Эдиповой трагедии представлен Шоу в некоем подобии сновидения, символизм которого напоминает «экранную память», когда одна сжатая сцена следует за другой, ей подобной:

«Мальчик, увидевший хозяина с небрежно завернутым гусем под мышкой и окороком в таком же виде в другой руке (оба куплены для Бог знает какого смешения праздников), колотящего по ограде, пытаясь найти калитку, и превращающего по ходу дела свой цилиндр в гармошку, вместо того чтобы сгорать от стыда и волнения за этот спектакль, настолько лишился от смеха (шумно разделяемого дядей по материнской линии) способности что-либо делать, что едва нашел в себе силы кинуться спасать шляпу хозяина и привести его в пристойный вид. Это был совсем не тот мальчик, который станет устраивать трагедию из пустяков, вместо того чтобы превратить ее в пустяк. Если вы не можете избавиться от семейного скелета, заставьте его хотя бы плясать».

Очевидно, что анализ психосексуального аспекта личности Шоу уходит корнями в символизм отцовской слабости.

Шоу объясняет падение своего отца посредством блестящего анализа социоэкономических условий его жизни. Отец был «вторым кузеном баронета, а моя мать — дочерью сельского джентльмена, в правилах которого было закладывать что-нибудь, попадая в трудную ситуацию. Это моя разновидность нищеты». Далее он заключает: «Сказать моему отцу, что он не может дать мне университетского образования, — это все равно что сказать, будто у него нет денег на выпивку или что я не смогу стать писателем. Оба утверждения справедливы; но он пил, а я стал писателем».

Свою мать он вспоминает в связи с «одним или двумя редкими и восхитительными случаями, когда она делала (для него) бутерброд с маслом. Она намазала масло толстым слоем, вместо того чтобы просто вытереть нож о хлеб». Бо́льшую часть времени, подчеркивает Шоу, она просто «принимала меня как естественное и привычное яв-

ление и считала само собой разумеющимся, что и в дальнейшем ничего не изменится». Должно было быть что-то, подкрепляющее этот вид обезличивания, так как, «точнее говоря, я должен сказать, что она была худшей матерью из всех мыслимых, но между тем никогда не способной на зло по отношению к любому ребенку, животному или растению или даже по отношению к любому человеку или чему-то подобному...». Это, по-видимому, нельзя считать ни избирательной привязанностью, ни следствием обучения: «Меня плохо воспитывали именно потому, что моя мать была слишком хорошо воспитана... В своем справедливом протесте против... принуждения и тирании, брани, запугиваний и наказаний, от которых она страдала в детстве... она достигла такого негативизма, что, за неимением заменяющей их идеи, провозглашала домашнюю анархию настолько, насколько это было возможно». В общем и целом мать Шоу была «абсолютно лишенной иллюзий женщиной... страдающей от бесконечно огорчающего ее мужа и трех неинтересных детей, слишком больших для того, чтобы можно было ласкать их как животных, что она очень любила, а также испытывающей постоянное чувство унижения из-за малости отцовского заработка».

На самом деле можно сказать, что Шоу имел трех родителей. Третьим был человек по имени Ли, который давал матери Шоу уроки пения и имел влияние как на весь уклад жизни семьи, так и на идеалы Бернарда. «Хотя он лишил моего отца главенствующего положения в доме, направлял активность и интересы моей матери, он был настолько погружен в свои музыкальные занятия, что между двумя мужчинами не было не только никаких разногласий, но даже и близких личных контактов; и, конечно же, не было неприязни. Поначалу его идеи поразили меня. Он сказал, что люди должны спать с открытым окном. Это нашло во мне отклик, и с тех пор я так и делаю. Он ел черный хлеб вместо белого: потрясающая эксцентричность».

Из многих элементов идентичности, вытекающих из столь запутанной картины, позвольте мне отобрать, сконцентрировать и назвать три.

Сноб

«По сравнению с другими английскими семьями, похожими на нас, мы обладали такой силой иронической драматизации, которая заставляла греметь кости наших

семейных скелетов». По мнению Шоу, именно так «семейный снобизм сглаживается семейным чувством юмора». С другой стороны, «хотя моя мать и не была сознательным снобом, некоторая божественность, окружавшая ирландскую леди того времени, была неприемлема для ее английских провинциальных родителей, живших неподалеку от нее». Шоу «испытывал чрезвычайное презрение к фамильному снобизму» до тех пор, пока не обнаружил, что один из его предков был королем флейты: «Это так же хорошо, как происходить от Шекспира, в которого я с колыбели бессознательно пытался перевоплотиться».

Производитель шума

На протяжении всего детства Шоу одолевали грандиозные атаки музыкальных увлечений: в семье играли на тромбоне, виолончели, арфе и тамбурине и — самое ужасное — практически все пели. Наконец он и сам научился играть на фортепьяно, и делал это невероятно шумно. «Когда я вспоминаю грохот, свист, рев и рычание, извлекаемые мною из инструмента в процессе обучения и действовавшие на нервы соседям, меня начинают мучать совершенно бесполезные угрызения совести... Я почти свел с ума мою мать своими любимыми извлечениями из Вагнера, которые больше были похожи на речитатив и потому ужасно фальшивыми по звучанию. Тогда она не жаловалась, но спустя годы она призналась, что иногда ей хотелось плакать, слушая меня. Если бы я совершил убийство, я не думаю, что это слишком мучило бы мою совесть; но об этих словах матери я не мог спокойно вспомнить».

Таким образом, Шоу мог бы добиться успеха и на музыкальном поприще, в чем не желает признаваться. Вместо этого он становится музыкальным критиком, то есть одним из тех, кто пишет о шуме, производимом другими. В качестве критика он выбрал своим псевдонимом Бассетто — так называется инструмент, который едва ли кто-нибудь знал и который имеет настолько мягкое звучание, что «даже дьявол не смог бы заставить его греметь». Бассетто стал блестящим критиком, и более того: «Я не могу отрицать, что временами Бассетто бывал вульгарным; но это не имеет значения, если он заставляет вас смеяться. Вульгарность — существенная часть авторского

арсенала; ведь и клоун порой бывает лучшей частицей цирка».

Некто злой

В детстве будущий писатель испытывал сильное одиночество. Поэтому он выдумал себе друга для бесед. «В детстве я упражнял свой литературный дар, сочиняя собственные молитвы... Эти произведения нужны были для развлечения и умиротворения Всевышнего». В соответствии с семейной непочтительностью к религии набожность Шоу была весьма невысокой и очень рано превратилась в смесь «интеллектуальной честности и низкой морали». В то же время создается впечатление, что Шоу был (в несколько необычной форме) маленьким бесенком в образе ребенка. Во всяком случае, он не чувствовал идентичности с собой хорошим: «Даже когда я был хорошим мальчиком, это было только наигрышем, потому что, как говорят актеры, я видел себя в роли». «Когда природа завершила мое внешнее оформление в 1880 г. или около этого (до двадцати четырех лет у меня на лице был лишь нежный пушок), я обзавелся усами, бровями и саркастическими ноздрями опереточного дьявола, чьи песни я распевал в детстве и чьим идеям я поддавался в отрочестве. Позже, когда мимо меня прошли поколения, я начал понимать, что выдумки воображения относятся к жизни так же, как скетч относится к картине или образ к статуе».

Так Дж.Б. Шоу более или менее определенно отслеживает свои творческие корни. Но это почти не имеет значения, так как то, кем он в конце концов стал, кажется ему столь же предопределенным от природы, как и стремление перевоплотиться в Шекспира, о котором говорилось выше. «Моя учительница, — писал он, — озадачивала меня своими попытками научить меня читать, ибо я не могу припомнить того времени, когда страница печатного текста была мне непонятна, и могу только предположить, что я родился грамотным». Между тем он задумывался о профессиональном выборе: «В качестве альтернативы стать Микеланджело я мечтал стать Бодлером (замечу, между прочим, что о литературе я вообще не думал, во всяком случае не больше, чем утка думает о плавании)».

Он также называет себя «прирожденным коммунистом» («что, — спешит добавить он, — означает фабианский социалист») и пытается объяснить мир, который придет

с принятием того, что, как ему кажется, должно быть сделано; «прирожденный коммунист знает, где он находится и где находится то общество, которое так пугает его. Он лечится от своей болезненной робости...». Так «законченный аутсайдер» постепенно становится своеобразным «законченным инсайдом». «Я был, — говорил он, — вне общества, вне политики, вне спорта, вне церкви», но это все «в рамках британского варварства... Как только заходила речь о музыке, живописи, литературе или науке, моя позиция изменялась: я становился инсайдом».

Поскольку истоки этих черт своего характера Шоу относит к детству, он приходит к убеждению, что только изобретательность может собрать их воедино:

«Если я хочу полнее пояснить это, я должен добавить, что простая неопытность, которая так быстро проходит, была дополнена более глубокой странностью, которая в течение всей моей жизни делала меня скорее гостем на этой земле, чем ее жителем. Или же случилось так, что я родился сумасшедшим или слабоумным, и этот мир не был моим королевством: я был дома только в плане моего воображения и, для моего успокоения, слегка мертвым. Следовательно, я должен был стать актером и создать для себя фантастическую личность, способную иметь дело с людьми и приспосабливающуюся к различным ролям, которые я должен был играть как актер, — журналиста, оратора, политика, члена различных комитетов, человека мира и т.д.». «В этом, — подчеркивает Шоу, — я слишком хорошо преуспел в дальнейшем». Это утверждение является своеобразной иллюстрацией того смутного отвращения, с которым старики порой воспринимают ту безжалостную идентичность, которая приходит в юности, — отвращение, которое может вызвать смертельное отчаяние и необъяснимые психосоматические изменения.

Окончание своего юношеского кризиса Шоу резюмирует следующими словами: «У меня была интеллектуальная привычка, и мое природное сочетание критических способностей с литературными задатками требовало только четкого понимания жизни в свете ясной теории, а точнее, религии, чтобы включить ее в триумфальное действие». Здесь старый циник в одном предложении обрисовал, к чему должна стремиться идентичность любого человека. Переведем это в понятия, более удобные для нашего обсуждения и более сложные: для того чтобы занять место

в обществе, человек должен признать «свободу выбора», привычку использовать доминирующие способности, иметь некоторый опыт в данной области, неограниченность ресурсов, наличие обратной связи от этих занятий, от общения, которое они предоставляют, и от их традиций и, наконец, ясную теорию жизни, которую старый атеист, стремящийся шокировать до конца, называет религией. Фабианский социализм, к которому он в действительности повернул, — это скорее идеология, общий термин, которого мы будем придерживаться по причинам, которые станут понятными в конце этой главы.

2. Уильям Джемс, свой собственный психиатр

На протяжении всей жизни У. Джемса весьма занимало то, что впоследствии было названо «патопсихологией». В юношеском и более зрелом возрасте он очень страдал от острого эмоционального напряжения, тщетно пытаясь избавиться от него при помощи различных лекарств. Его письма свидетельствуют о том, что его также интересовали кризисы, переживаемые его друзьями. Советы, которые он давал им, со всей очевидностью обнаруживали остроту его борьбы за собственное здоровье. Более того, он принимал участие в споре о возможности исцеления религией. И наконец, он очень много сделал для появления различных направлений в психиатрии, среди которых было и фрейдистское, автор его приезжал в США в 1907 г. Хотя сам Фрейд произвел на него впечатление человека, одержимого идеей-фикс (Джемс говорил впоследствии, что ему не удалось помочь себе, пользуясь теорией сновидений Фрейда, как и многим более или менее интеллектуальным людям до и после него), он тем не менее выражал надежду на то, что Фрейд и его ученики будут продолжать свои исследования.

В дальнейшем я процитирую несколько наиболее значимых высказываний Джемса, взятых не из его теоретических трактатов, а из его личных признаний, в которых он дает жизненную характеристику затянувшегося «кризиса идентичности».

Уильям Джемс, как отмечает Мэттиссен, «крайне медленно приближался к зрелости»[2]. В возрасте двадцати шести лет он писал Вэндел Холмс: «Я много бы отдал за любое творческое увлечение». Сегодня мы вновь и вновь

обнаруживаем подобную жалобу со стороны студентов колледжа; однако в истории жизни Джемса сомнения и задержка были обусловлены, по мнению Мэттиссен, фанатичной требовательностью его отца к бытию, что весьма осложнило его детям поиски своего места в жизни (хотя по крайней мере двое из них, несомненно, достигли высокого мастерства в своем деле). Я подчеркиваю это потому, что сегодня все чаще молодые люди не находят себя, выбирая какое-либо дело только ради карьеры. Чувство бытия при этом еще не является достаточным для того, чтобы придать голым амбициям вид индивидуальности или следствия общинного духа.

Мы не будем здесь останавливаться на личности или родительских установках отца Уильяма Джемса, сэра Генри Джемса, который вследствие дряхлости и болезней все дни проводил дома, отравляя жизнь близких тиранией либерализма и считая школу утопией. Ни один вопрос не решался без ведома отца. Я также не могу проследить здесь тот процесс, в результате которого поздняя философия Джемса стала одновременно продолжением и разрушением отцовского вероучения.

В наибольшей степени наше внимание привлекает затянувшийся «кризис идентичности», который привел Уильяма из мира искусства в мир науки и медицины и из Кембриджа (Массачусетс) на Амазонку и в Европу, а затем опять в Кембридж. Почти до тридцати лет Джемс прожил в доме своего отца, испытывая острый дискомфорт от европейской жизни, а затем принял предложение президента Элиота, который и раньше отмечал его способности, преподавать анатомию в Гарварде. Между тем болезнь Джемса можно было сравнить с болезнью Дарвина — в плане ограничения активности и ассоциаций, — оставляющей лишь узкую дорожку интересу и активности. И даже через такую узкую «щель» эти люди с уверенностью лунатиков находят свою конечную интеллектуальную и социальную цель. В случае Джемса дорога вела от художественного наблюдения через натуралистическое понимание и постижение физиологом функционирования организма к многосторонней восприимчивости изгнанника и, наконец, через самопознание и эмпатию к психологии и философии. Джемс отмечает: «Сначала я изучал медицину, чтобы стать физиологом, но судьба привела меня к психологии и философии. У меня не было никакого фи-

лософского образования, а первой услышанной мною лекцией по психологии была первая прочитанная мною лекция».

В своей работе «Многообразие религиозного опыта» Джемс дал, несомненно, автобиографическое описание состояния, которое он назвал «худшим видом меланхолии», о котором ему как будто бы сообщил «молодой француз»:

«Пребывая в состоянии философского пессимизма и общей депрессии относительно моих изысканий, однажды вечером в сумерках я отправился в прихожую, чтобы взять одну статью, находившуюся там; неожиданно, без всякого предупреждения, как если бы он вышел из темноты, на меня накинулся ужасный страх моего собственного существования... Это было подобно открытию; и хотя внезапное чувство прошло, с тех пор я стал весьма чутким к болезненным чувствам других... Я боялся оставаться один. Мне кажется удивительным, как другие люди могут жить, как жил я сам, не сознавая этой ямы незащищенности под поверхностью жизни. Например, моя мать, очень веселый человек, казалась мне загадкой из-за ее нечувствительности к опасности, которую, можете мне поверить, я старался не тревожить своими открытиями. Мне всегда казалось, что моя меланхолия имела религиозные корни... Я имею в виду следующее: страх был настолько захватывающим и сильным, что, если бы я не цеплялся за тексты Священного писания типа: «Вечный Бог — мое пристанище», я думаю, я вырос бы по-настоящему безумным»[3].

Джемс обращается к сходному переживанию отчуждения, пережитому и описанному его отцом:

«Однажды, ближе к маю, после приятного обеда я остался за столом один, лениво уставясь на горячую золу в камине, ни о чем не думая и чувствуя только удовольствие от хорошего пищеварения, как неожиданно — как вспышка молнии — на меня напали страх и дрожь, заставившие трястись все мои кости»[4].

Сравнение двух приступов оставляет открытым вопрос о том, насколько внутренняя жизнь отца соответствовала его стилю жизни и насколько в этом переживании видно освобождение благодаря озарению. Ясно одно: каждый возраст имеет свои формы отчуждения (эти формы часто культурно более ограничены, чем чувство бытия «рядом с собой»), и внутренняя борьба как отца, так и сына

происходила вокруг идентичности незащищенной и упрямой самости, столь типичной для крайнего индивидуализма, как против уступки какой-то более высокой идентичности — будь она открытой, или полностью скрытой, или внутренней, или всепроникающей. То, что отец, как он далее сообщает, в момент испуга обратился к жене (в то время как сын говорит, что он обычно не хотел тревожить свою необъяснимо веселую мать), поражает нас, ибо можно себе представить, скольких мучений и тревог стоило человеку, который «сам себя сделал», обратиться к женщине в поисках защиты.

Сэр Генри Джемс, в духе деревенского романтизма, говорит: «Снова и снова, живя в этом унылом состоянии и слушая бесконечную болтовню о диете и режиме, болезнях и политике, партиях и личностях, я сказал себе: проклятием человечества, которое делает наше мужество столь малым и испорченным, является его чувство самости и абсурдная, отвратительная самоуверенность, которую оно порождает. Как сладко, должно быть, обнаружить, что ты уже больше не человек, а одна из тех невинных и несведущих овец, что пасутся на безмятежном склоне и пьют вечную росу и свежесть щедрых закромов природы»[5].

Об одном значительном шаге на пути У. Джемса к зрелости и освобождению от острого отчуждения сообщает он сам, о другом — его отец.

«Я думаю, что вчера в моей жизни произошел кризис, — пишет Джемс своему отцу, — я закончил первую часть второго «Эссе» Ш. Ренувье и не вижу причины, почему его определение свободной воли (доказательство того, почему я выбрал именно эту мысль, когда мог бы выбрать другие) является определением иллюзии. В любом случае на сегодня я (до следующего года) допускаю, что это не иллюзия. Мой первый акт свободной воли — поверить в свободную волю»[6]. К этому он добавляет предложение, которое ярко выражает принципиальную доминанту сегодняшней «эго-психологии».

«До сих пор, когда мне казалось, что я пользуюсь свободной инициативой, отваживаясь действовать оригинально, не выжидая с осторожностью, когда окружающий мир будет благоприятен ко мне, самоубийство казалось наиболее мужественной формой проявления моей отваги; теперь я сделаю следующий шаг в направлении моей воли — не только действовать с ней, но и верить в нее;

верить в мою индивидуальную реальность и созидательную силу. Моя вера не может быть оптимистичной, но я поставлю жизнь в основу *саморегулирующегося сопротивления «эго» миру.* Жизнь должна состоять из дела, страдания и творчества»[7].

Я цитирую эту характеристику как саморегулирующегося, так и сопротивляющегося аспекта «эго», чтобы показать его психоаналитическое значение; это внутренний синтез, организующий опыт и направляющий действие.

А вот свидетельство сэра Генри Джемса о другом значительном и освобождающем мысленном эксперименте его сына: «Уильям пришел днем, когда я сидел в одиночестве, и, оживленно походив по комнате, выпалил: «Благослови мою душу! Какая разница между мною теперешним и тем, каким я был в это же время прошлой весной...» Он был очень многословен. Я побоялся вмешиваться в его высказывание, но отважился спросить, чем именно, по его мнению, вызвано это изменение. Он назвал несколько вещей, но главной среди них был отказ от представления о том, что все психические нарушения имеют физическую основу. Это казалось ему совершенно неправильным... Он освобождался от почтения к представителям подобной науки и становился даже более универсальным и беспристрастным в своих умственных суждениях, чем прежде...»[8]

Несомненно, старый сэр Генри слегка изменил слова своего сына в русле собственного стиля мышления, но эта сцена типична для Джемса. Очевидно, первое озарение, касающееся самоопределения свободной воли, соотносимо со вторым, заключавшимся в отказе от признания физиологических факторов фатальными аргументами против продолжающегося самоопределения невротической личности. Вместе они составляют основу психотерапии, которая, вне зависимости от того, как она описана и концептуализирована, нацелена на восстановление у пациента способности к выбору.

II. Генетический очерк: идентификация и идентичность

Автобиографии экстраординарных (и экстраординарно воспринимающих себя) индивидов служат одним из источников понимания процесса развития идентичности. Для

того чтобы охарактеризовать универсальный генезис идентичности, необходимо проследить ее развитие в истории жизни обычных индивидов. Здесь я могу полагаться на общие впечатления повседневной жизни, на коррекционную работу с молодыми людьми, имеющими легкие нарушения, и на мое участие в одном из немногих лонгитюдных исследований[9] — источник, исключающий детальное опубликование биографических данных. В дальнейшем неизбежным станет генетическое описание, некоторое подобие которого мы приводили ранее.

Отрочество — последняя ступень детства. Отрочество можно считать полностью завершившимся только тогда, когда индивид подчинит свои детские идентификации новому виду идентификации, достигнутому в ходе социализации и соперничества со сверстниками. Эти новые идентификации уже не отличаются «игривостью» детства и экспериментами юности: они с поразительной настойчивостью принуждают молодого человека к выбору и волевому решению, с возрастающей непосредственностью ведут к жизненным свершениям. Эта задача требует от разных индивидов в различных обществах больших вариаций в длительности, интенсивности и ритуализации отрочества. Общество, как этого требуют от него индивиды, предоставляет более или менее санкционированные промежуточные периоды между детством и взрослостью, часто характеризующиеся сочетанием затянувшейся незрелости и спровоцированного раннего развития.

Постулируя «латентный период», который предшествует пубертату, психоанализ признает определенный тип психосексуального моратория в развитии человека — период задержки, который позволяет будущим супругам и родителям пройти школу, предоставляемую их культурой, и овладеть техническими и социальными элементами труда. Теория либидо между тем не дает адекватного описания второго периода задержки, а именно затянувшегося отрочества. На этой стадии сексуально зрелый индивид более или менее долго задерживается в реализации своей психосексуальной способности к близости и психосоциальной готовности к родительству. Этот период можно рассматривать как *психосоциальный мораторий*, в течение которого молодые люди могут путем свободного ролевого экспериментирования найти свою нишу в обществе, нишу, которая твердо определена и точно ему соответствует.

Если мы говорим о том, что общественность должна как-то ответить на потребность молодого человека в признании, мы имеем в виду нечто большее, чем простое признание его достижений. Для формирования идентичности молодого человека очень важно, чтобы он был восприимчив к функциям и статусу лица, чей постепенный рост и изменения становятся значимыми для него. В психоанализе мало говорится о том, что такое признание обеспечивает «эго» совершенно необходимую поддержку, причем к специфическим задачам отрочества относятся следующие: развитие механизмов, защищающих «эго» от постоянно возрастающей интенсивности импульсов (идущих теперь от зрелого генитального аппарата и мощной мышечной системы); умение консолидировать наиболее важные жизненные достижения; ресинтезирование всех идентификаций детства в единое целое, а также приведение их в соответствие с ролями, предлагаемыми более значительной частью общества, — будь то сфера соседских отношений, предполагаемая область профессиональных занятий, сообщество родственных умов (душ) или, возможно (как в случае с Шоу), «семейного скелета».

Мораторий — это отсрочка, предоставленная кому-либо, кто еще не готов принять ответственность или хотел бы дать себе время на подготовку. Под психосоциальным мораторием мы понимаем запаздывание в принятии на себя взрослых обязанностей, но не только это. Данный период характеризуется избирательной снисходительностью со стороны общества и вызывающей беззаботностью со стороны юности, и все же он часто ведет к значительным, хотя нередко и преходящим, достижениям и завершается более или менее формальным подтверждением достижения со стороны общества. Такие моратории характеризуются значительными индивидуальными различиями, которые особенно ярко выделяются у очень одаренных людей (одаренных как в позитивном, так и в негативном плане), и эти вариации непосредственно связаны с особенностями культуры и субкультуры.

Каждое общество и каждая культура устанавливают определенный мораторий для своих молодых граждан. Для большинства из них эти моратории совпадают с периодом учения и тех достижений данного этапа жизни, которые соответствуют ценностям общества. Мораторий может стать периодом краж и видений, временем путешествий

или работы, временем потерянной «юности» или академической жизни, временем самопожертвования или веселых шуток, а сегодня это зачастую время терпения или проступков. Бо́льшую часть юношеской преступности, особенно в ее организованной форме, можно рассматривать как попытку создания психосоциального моратория. Я согласен с тем, что какая-то часть преступлений в течение длительного времени являлась в нашем обществе относительно узаконенным мораторием, и сейчас она увеличивается, ибо оказывается слишком привлекательной и притягательной для многих молодых людей. Кроме того, наше общество, по-видимому, находится в процессе признания психиатрического лечения одним из видов моратория для молодых людей, которые в противном случае были бы раздавлены стандартизацией и механизацией. Такое предположение следует делать весьма осторожно, поскольку клеймо или диагноз, полученные кем-либо в период психосоциального моратория, оказывают существенное влияние на процесс формирования идентичности.

Но мораторий не требует того, чтобы быть пережитым сознательно. С другой стороны, молодой человек может ощущать себя вполне состоявшимся и только со временем узнать, что то, к чему он относился так серьезно, было всего лишь переходным периодом; многие «выздоровевшие» делинквенты, возможно, чувствуют полное отчуждение от «глупости», через которую они когда-то прошли. Между тем ясно, что любые экспериментирования с идентичностью означают также игру с внутренним огнем эмоций и побуждений и содержат в себе риск попасть в социальную яму, из которой нет выхода. Бывает и так, что мораторий отсутствует: индивид слишком рано определился или его достижениям способствовали какие-то обстоятельства либо сильные мира сего.

Лингвистически, как и психологически, идентичность и идентификация имеют общий корень. Является ли идентичность простой суммой ранних идентификаций или это другой ряд идентификаций?

Ограниченность механизма идентификации становится очевидной сразу, как только мы предполагаем, что никакие детские идентификации (которые у наших пациентов принимают столь болезненные формы и находятся во взаимном противоречии), поставленные в ряд, не могут вылиться в нормально функционирующую личность. Дейст-

вительно, мы всегда считаем, что задачей психотерапии является замещение болезненных и чрезмерных идентификаций другими, более желательными. Но, как и любое лекарство, «более желательные» идентификации должны быть в то же время полностью подчинены новому единому гештальту, который есть нечто большее, чем просто сумма его частей. Дело в том, что идентификация как механизм имеет определенные ограничения. На разных стадиях развития дети идентифицируют себя с теми аспектами окружающих людей, которые производят на них наибольшее впечатление, в реальности или в их воображении — это не имеет большого значения. Их идентификация с родителями, например, сосредоточена на определенных переоцениваемых и болезненно воспринимаемых частях тела, способностях и внешних атрибутах роли. Более того, эти аспекты привлекательны не столько своей социальной значимостью, сколько тем, что отвечают природе детской фантазии, и этим они открывают путь к более реалистическому самоутверждению.

В более старшем возрасте ребенок сталкивается с понятной ему иерархией ролей, от младших сиблингов до прародителей и всех, кто так или иначе принадлежит к семье в целом. На протяжении детства это составляет круг его представлений о том, кем он может стать, когда вырастет, и уже очень маленькие дети способны к идентификации с целым рядом людей и отношений, и у них складывается своего рода иерархия ожиданий, которые затем требуют «верификации» в дальнейшей жизни. Вот почему культурные и исторические перемены могут оказать такое травмирующее влияние на формирование идентичности: они могут разрушить внутреннюю иерархию ожиданий ребенка.

Если мы считаем формирование интроекции, идентификации и идентичности этапами превращения «эго» в более зрелое взаимодействие с достижимыми моделями, то возникает следующая психосоциальная схема:

Механизм *интроекции* (примитивное присвоение чужого образа) определяется тем, насколько удовлетворительно взаимодействие между опекающим взрослым и опекаемым ребенком. Только переживание такой исходной взаимности создает у ребенка то ощущение безопасности, которое приводит его к первым «объектам» любви.

В свою очередь судьба детских *идентификаций* зависит от того, насколько удовлетворительным является взаимодействие с заслуживающими доверия представителями значимой для ребенка иерархии ролей, принадлежащих членам семьи разных поколений.

Формирование *идентичности*, наконец, начинается там, где идентификация становится непригодной. Она вырастает из избирательного отказа от одних и взаимной ассимиляции других детских идентификаций и их объединения в новую конфигурацию, которая в свою очередь определяется процессом, посредством которого общество (часто через субкультуры) идентифицирует юного индивида с тем, кем он, само собой разумеется, должен стать. Общество, зачастую не без исходного недоверия, делает это с оттенком удивления и удовольствия от знакомства с новым индивидом. Общество в свою очередь тоже «признается» индивидом, ищущим у него признания; иногда же оно, по некоторым признакам, может глубоко и с оттенком мстительности отвергаться индивидом, не ищущим его покровительства.

Общественные способы идентификации индивида впоследствии более или менее успешно стыкуются с индивидуальными способами идентификации. Если общество сочтет, что молодой человек вызывает неудовольствие и дискомфорт, оно может предложить ему способы изменения, не затрагивающие его «идентификации с собой». Желаемое, с точки зрения общества, изменение представляет собой простое проявление доброй воли или силы воли (он мог бы, если бы захотел), тогда как сопротивление такому изменению воспринимается как проявление злой воли или даже неполноценности, плохой наследственности или чего-то подобного. Так, общество часто недооценивает, до какой степени долгая сложная история детства ограничивает возможности молодого человека в отношении изменения идентичности, а также то, до какой степени само общество может, если только оно может, все же помочь ему определиться среди возможных выборов.

На протяжении всего детства происходит пробная кристаллизация идентичности, которая заставляет индивида чувствовать и верить (начиная с наиболее осознаваемых аспектов) в то, что, если он приблизительно знает, кто он такой, ему необходимо лишь понять, что эта уверенность в себе вновь может стать жертвой разрыва самораз-

вития. Примером может служить разрыв между требованиями, предъявленными конкретным окружением «маленькому мальчику», и ими же, предъявленными «большому мальчику», который в свою очередь может удивиться, почему сначала его заставили поверить, что быть маленьким прекрасно, только для того, чтобы потом заставить изменить этот не требующий усилий статус на специфические обязанности «большого». Такой разрыв может в любое время привести к кризису и требует решительного стратегического моделирования действия, ведущего к компромиссам, которые могут быть компенсированы только последовательным нарастанием чувства реальности достижений. Остроумный, или жестокий, или хороший маленький мальчик, который становится прилежным, или вежливым, или твердым, выносливым большим мальчиком, должен быть способен — и ему должна быть дана для этого возможность — соединить оба ряда ценностей в ту идентичность, которая позволяет ему в работе и игре, в официальном и интимном поведении быть (и позволять другим быть) комбинацией большого и маленького мальчика.

Общество поддерживает это развитие в том смысле, что дает ребенку возможность на каждой стадии ориентироваться в направлении полного «жизненного плана» с его иерархией ролей, представляемых индивидами различных возрастов. Семья, соседи и школа обеспечивают контакты и пробную идентификацию с младшими и старшими детьми, с молодыми и старыми взрослыми. У ребенка в результате множества успешных пробных идентификаций начинают складываться ожидания по поводу того, что значит быть старше и что означает быть моложе, ожидания, которые становятся частью идентичности по мере того, как они, шаг за шагом, проверяются психосоциальным опытом.

Установившаяся к концу отрочества идентичность включает в себя все значимые идентификации, но в то же время и изменяет их с целью создания единого и причинно связанного целого.

Первоначально критические фазы жизни были описаны в психоанализе в терминах инстинктов и защит, то есть как «типичные угрожающие ситуации»[10]. Психоанализ в большей степени интересовало влияние психосексуальных кризисов на психосоциальные и другие функции, а не

специфические кризисы, вызываемые созреванием каждой функции. Возьмите, к примеру, ребенка, который учится говорить: он овладевает одной из основных функций, обеспечивающих чувство индивидуальной автономии, и одним из основных средств расширения радиуса действия «давать—брать». Простая индикация способности издавать преднамеренные звуки в скором времени заставит ребенка «сказать, что он хочет». Правильная вербализация поможет ему привлечь к себе то внимание, которое раньше оказывалось ему в ответ на жесты, обозначающие нужду в чем-то. Речь не только неуклонно совершенствует индивидуальные характеристики его голоса и манеры говорить, она также определяет его как субъекта, способного отвечать окружающим. Они в свою очередь ожидают, что с этих пор ему и для понимания потребуется гораздо меньше жестов и пояснений. Более того, произнесенное слово — это договор. Это неизменяемый аспект, запоминаемый другими, хотя ребенок достаточно рано узнает, что определенные действия (взрослого по отношению к нему) подвергаются незаметному изменению, тогда как другие (его по отношению к ним) — нет. Это существенное отношение речи не только к миру сообщаемых фактов, но и к социальной ценности вербальных достижений является стратегическим среди переживаний, характеризующих развитие «эго». Это и есть тот психосоциальный аспект, который мы должны изучить для того, чтобы отнести его к уже известным на сегодняшний день психосексуальным аспектам, представленным, например, в аутоэротическом наслаждении речью, в использовании речи в качестве орального или любого другого эротического «контакта» или в таком органически обусловленном феномене, как произносимые или непроизносимые звуки или части слова. Таким образом, ребенок продвигается вперед в использовании голоса и слов, различных комбинаций воя и пения, суждений и споров для нового элемента будущей идентичности, так называемого элемента «человека, который говорит и с которым говорят определенным образом». Этот элемент в свою очередь будет соотнесен с другими элементами развивающейся идентичности ребенка (он умный и/или симпатичный и/или выносливый), будет сравниваться с другими людьми, живыми или мертвыми, считающимися идеальными или ужасными.

Функцией «эго» является интеграция психосексуального и психосоциального аспектов на данном уровне развития и в то же время интеграция отношений вновь появившихся элементов идентичности с уже имеющимися с целью ликвидации неизбежных разрывов между уровнями личностного развития. Ранние кристаллизации идентичности могут возникать при условии возникновения конфликта, заключающегося в том, что изменения в качестве и количестве побуждений, экспансия в менталитет и появление новых, часто противоречивых социальных требований — все вместе делает предыдущие приспособления недостаточными, а прежние достижения — сомнительными. Однако такой эволюционный и нормативный кризис отличается от навязанного, травмирующего и невротизирующего кризиса тем, что сам процесс роста порождает новую энергию, подобно тому как общество предоставляет новые специфические возможности в соответствии с доминирующими в нем на данный момент понятиями о фазах жизни. С генетической точки зрения процесс формирования идентичности возникает как развивающаяся конфигурация — конфигурация, которая путем успешного синтеза и ресинтеза «эго» постепенно устанавливалась на протяжении всего детства. Эта конфигурация постепенно включала в себя конституционально обусловленные свойства, идеосинкретические потребности либидо, хорошие способности, значимые идентификации, эффективные механизмы защиты, успешные сублимации и последовательно принимаемые роли.

Окончательное соединение всех сходящихся в одной точке элементов идентичности (и отказ от дивергентных элементов)[11] оказывается весьма трудной задачей: как может такая «ненормальная» стадия развития, как отрочество, рассматриваться как завершающая? Не всегда легко понять, что, несмотря на сходство симптомов и проявлений отрочества и невротических и психотических симптомов и проявлений, отрочество все же является не болезнью, а нормативным кризисом, то есть нормальной фазой возникшего конфликта, характеризующейся кажущейся неустойчивостью «эго», с одной стороны, и высоким потенциалом роста — с другой. Невротический и психотический кризис обусловливается конкретной причиной, возрастающей затратой энергии, необходимой для защиты, и углубляющейся психосоциальной изоляцией, в то время

как нормативные кризисы относительно более обратимы и отличаются избытком энергии, оживляющей дремлющую тревогу и возбуждающей новый конфликт, но в то же время поддерживающей новые, более широкие функции «эго». То, что в результате предвзятости может показаться проявлением невроза, часто является только отягощенным кризисом, который может самоликвидироваться и даже внести свой вклад в процесс формирования идентичности.

Конечно, справедливо, что подросток на заключительной стадии формирования идентичности страдает от смешения ролей более глубоко, чем когда-либо прежде или когда-нибудь будет страдать еще. Справедливо также и то, что такое смешение делает многих подростков беззащитными перед неожиданными ударами латентных злокачественных нарушений. Но важно подчеркнуть, что диффузная и уязвимая, отстраненная и несовершенная, но требовательная и самоуверенная личность не слишком невротичного подростка включает в себя множество элементов полуосмысленных ролевых переживаний типа «я запрещаю тебе» и «я запрещаю себе». Таким образом, большая часть этих «смешений» должна рассматриваться как социальная игра — это настоящий генетический преемник детской игры. Аналогично развитие «эго» подростка требует и разрешает шутовство, а в случае запрета на него — фантазии и интроспекции. Мы склонны бить тревогу, когда подросток обнаруживает «близость к сознанию» своих опасных фантазий (фантазии, которые подавлялись на ранних стадиях и будут подавляться позже), особенно если мы, в нашем рьяном стремлении «довести до сознания» посредством психотерапии, начинаем давить на того, кто узнал уже чуть больше о «пропасти» бессознательного. Осознание подростком некоторого количества «пропастей» — нормальное экспериментирование с переживаниями, которые таким образом становятся более подконтрольными для «эго»; возникнув, они не оказываются преждевременно связанными с неизбежной серьезностью переростков или невротичных взрослых. То же самое можно сказать и о подростковой «подвижности» защитных механизмов, вызывающей интерес у ряда клиницистов. В целом эта подвижность не является патологией, поскольку отрочество — это кризис, в котором только «подвижная» защита способна преодолеть чувство давления внутренних и внешних требований и в котором только эксперименти-

рование и ошибки могут создать наиболее удачные средства самовыражения.

В общем, можно сказать, что предрассудки относительно социальной игры подростков, подобные тем, которые мы имеем относительно детской игры[12], не так легко преодолеть. В качестве альтернативы мы предполагаем, что такое поведение является иррациональным, в нем нет необходимости, оно исключительно регрессивно и невротично. Как когда-то принижалось значение спонтанных игр детей в пользу игры в одиночестве, так сейчас «единство» поведения подростковой группы может быть неверно оценено вследствие нашего интереса к отдельному подростку. Берут ли начало вновь приобретенные данным подростком способности в детском конфликте, в значительной степени зависит от ценных, с его точки зрения, в группе сверстников возможностей и вознаграждений, равно как и от тех формальных путей, при помощи которых общество стимулирует переход от социальной игры к экспериментированию, а затем и к достижениям, причем все они должны быть основаны на имплицитном взаимном контракте между индивидом и обществом.

Является ли чувство идентичности сознательным? Иногда оно кажется слишком осознанным. Находясь под давлением витальных внутренних потребностей и жестких внешних требований, продолжающий экспериментировать индивид может стать жертвой преходящего острого осознания идентичности, что составляет общее содержание многих типичных для юности форм «самоосознавания». Там, где процесс формирования идентичности затянут во времени (фактор, способствующий творческому росту), на первый план начинает выступать озабоченность образом «я». Таким образом, больше всего мы знаем о нашей идентичности именно тогда, когда мы вот-вот ее достигаем либо находимся на пороге кризиса и чувствуем действие спутанной идентичности. Этот синдром мы опишем ниже.

С другой стороны, оптимальное чувство идентичности переживается просто как чувство психосоциального благополучия. Его наиболее очевидным спутником является ощущение «себя в своей тарелке» и внутренняя уверенность в признании со стороны авторитетов.

III. Патографический очерк: клиническая картина тяжелого смешения идентичности

Патография остается традиционным источником психоаналитического понимания. В дальнейшем я опишу синдром нарушений, возникающий у тех молодых людей, которые не смогли ни приобрести профессию, предлагаемую обществом, ни укрепиться (как это сделал Шоу) в своем собственном моратории. Вместо этого они обращаются к психиатрам, священникам, судьям и офицерам, вербующим новобранцев, с просьбой поместить их в какое-нибудь «неудобное» место, в котором можно переждать трудный момент. Первая формулировка наиболее тяжелого случая спутанной идентичности основана на проведенных в 50-е годы клинических наблюдениях за больными в начальной стадии шизофрении или находящимися в пограничных состояниях (исследования проводились в Остин-Риггз-центре в Беркшире и в Западном психиатрическом институте в Питтсбурге). Клинически ориентированный читатель может почувствовать, что, пытаясь понять явление спутанной идентичности как нарушение развития, я отказываюсь от тех диагностических признаков, которые могут выступать в роли злокачественных и даже необратимых условий ее возникновения. Спутанность идентичности, конечно, не является сущностью диагностики, однако я склонен думать, что описание кризиса развития, в котором нарушение имеет острое начало, должно стать частью любой диагностической картины, и в особенности любого прогноза и выбора терапии. Вся эта глава нацелена на выбор такого дополнительного диагностического направления, но не показывает, ка́ким образом оно становится функциональным. С другой стороны, далекого от клиники читателя может тревожить то, что любое немедицинское описание психического состояния приводит к тому, что оно начинает распространяться на него и на его окружение. И действительно, гораздо легче выделить один или несколько симптомов явления спутанной идентичности, но гораздо труднее создать их ансамбль, в котором каждый симптом имеет индивидуальную форму проявления и может быть вычленен только опытным клиницистом.

Состояние острой спутанности идентичности обычно проявляет себя в тот период, когда молодой человек испытывает сложную гамму переживаний, связанных с возникновением потребности в физической близости (не обязательно только сексуальной), окончательным профессиональным выбором, соперничеством и психосоциальным самоопределением. Приведет ли такое напряжение к параличу, зависит преимущественно от регрессивного воздействия латентного заболевания. Это регрессивное влияние часто привлекает внимание специалистов в нашей области, отчасти потому, что мы находимся в этом случае на «знакомой почве», а частью из-за того, что эта регрессия требует лечения. Нельзя понять нарушения, не проникнув в специфику условий, превращающих преходящую подростковую регрессию в попытку отложить или избежать психосоциального определения. Социальная функция этого состояния паралича заключается в закреплении минимального актуального выбора и достижения. Но, увы, болезнь — это тоже достижение.

Проблема близости

То, что многие из наших пациентов «терпят катастрофу» в возрасте, который правильнее считать предвзрослым, чем постподростковым, объясняется фактом, что часто только попытка вступить в интимную дружбу и соперничество или в сексуальную близость полностью обнаруживает латентную слабость идентичности.

Правильная «стыковка» с другими есть результат и проверка прочности образа «я». Поскольку молодой человек ищет пока еще пробные формы близости в дружбе и соперничестве, в сексуальной игре и любви, в споре и сплетнях, он испытывает особое напряжение, как если бы такая пробная «состыковка» была обращена к межличностному единению, доходящему до потери идентичности и требующему напряжения внутренних резервов, осторожности в достижениях. Если юноша не в силах ослабить это напряжение, ему приходится «изолировать» самого себя и вступать (в лучшем случае) только в стереотипные и формализованные межличностные отношения либо он может, посредством все новых и новых лихорадочных попыток, часто сопровождающихся гнетущими неудачами, искать близости с самыми невероятными партнерами. Поскольку чувство идентичности утеряно, то даже дружба и

деятельность превращаются в отчаянные попытки установления смутных контуров идентичности посредством взаимного нарциссического отражения: влюбиться в этом случае означает превратиться в чье-то зеркальное отражение, причиняя вред самому себе и «зеркалу». В момент физической близости или сексуальной фантазии ему грозит потеря сексуальной идентичности; становится неясным, переживает сексуальное возбуждение сам индивид или его партнер, и это проявляется либо в гетеросексуальных, либо в гомосексуальных столкновениях. «Эго», таким образом, теряет свою способность поддаваться сексуальной и аффективной чувственности в слиянии с другим индивидом, который одновременно является партнером по ощущениям и гарантом сохранения идентичности: слияние с другим становится потерей идентичности. Возникает угроза внезапного нарушения всей способности ко взаимности, и следствием этого является отчаянное желание все начать заново, вернуться к стадии исходной спутанности и бушевать так, как это делают только очень маленькие дети.

Необходимо напомнить, что одним из компонентов близости является отдаление, то есть готовность отвергать, игнорировать или разрушать те силы и тех людей, чья сущность кажется угрожающей своей собственной. Близость с определенной частью людей или идей не будет по-настоящему полной без эффективного отрицания другой части. Так, слабость или чрезмерность в отвержении является существенным аспектом неспособность достичь близости вследствие неполной идентичности: тот, кто не уверен в «своей точке зрения», не может отвергать разумно.

Молодые люди часто достаточно патетически демонстрируют, что спасение для них возможно только в результате слияния с лидером; лидером является взрослый, который обладает способностью и желанием выступить в роли надежного объекта для экспериментирования с отвержением и гида на самых первых шагах к интимной взаимности и законному отвержению. Старший подросток хочет быть учеником или последователем, сексуальным «слугой» или «клиентом» такой личности. Если это не удается, как это часто случается вследствие абсолютности этой личности, молодой человек обращается к напряженной интроспекции и самопознанию, которые могут привести его к состоянию, граничащему с параличом. С точки зрения

симптоматики это состояние проявляется в болезненном чувстве изоляции, дезинтеграции внутренней целостности и тождественности, чувстве всеохватывающего стыда, неспособности ощутить достижения от любой деятельности. У этих юных пациентов мастурбация и ночные поллюции, весьма далекие от того, чтобы стать подходящим средством ослабления чрезмерного давления, только усиливают напряжение. Они становятся частью порочного круга, в котором всемогущий нарциссизм временно усиливается только для того, чтобы дать выход чувству физической и ментальной кастрации и пустоты. Так, жизнь индивида — скорее случайность, чем результат его собственной инициативы; его недоверие к миру, к обществу и к психиатрии служит доказательством того, что он существует в психосоциальном смысле, то есть может рассчитывать на то, чтобы быть самим собой.

Диффузия временно́й перспективы

Примеры замедленного или пролонгированного отрочества, нарушений в переживании времени в своей мягкой форме принадлежат повседневной психопатологии отрочества. Молодой человек может ощущать себя одновременно очень молодым, даже младенцем, и достаточно старым. Протесты по поводу упущенного величия и преждевременной утери полезных возможностей являются общими для наших пациентов-подростков, культура которых считает такие протесты романтичными; между тем предполагается, что злокачественным является неверие в возможность того, что время может принести перемены, а также страх, что это может произойти. Это противоречие часто выражается в общей заторможенности, которая заставляет вести себя так, словно он движется в патоке. Как трудно ему уловить момент перехода в состояние сна, ему так же трудно поймать момент перехода к бодрствующему состоянию, трудно прийти на терапию и трудно уйти после нее. Такие жалобы, как «я не знаю», «я сдаюсь», «я спокоен», несомненно, являются просто привычными заявлениями, отражающими легкую депрессию; часто это — выражение отчаяния, описанное Эдвардом Бибрингом[13], связанное с желанием части «эго» «дать себе умереть».

Предположение, что жизнь кончается с завершением отрочества или намеченных уже позже «сроков истечения», без сомнения, является совершенно нежелательным,

но порой единственным условием, на котором может основываться новое начало. Некоторые из наших пациентов даже нуждаются в ощущении того, что терапевт не собирается убеждать их в продолжении жизни, если лечение не сможет доказать реальность этого. Без такого убеждения мораторий не будет реальным. Между тем «желание умереть» является реальным и суицидальным желанием только в тех редких случаях, когда «стать самоубийцей» становится неизбежным выбором в плане идентичности. Мне вспоминается одна хорошенькая девушка, старшая дочь мельника. Ее мать неоднократно заявляла, что ей легче увидеть своих дочерей мертвым, чем проститутками, и в то же время догадывалась о легкомысленном поведении своих дочерей вне дома. В конце концов ее дочери вынуждены были создать нечто вроде конспиративной сестринской общины, откровенно направленной на то, чтобы обойти мать, преодолеть двусмысленность ситуации, а возможно, и для того, чтобы обеспечить друг другу защиту от мужчин. В конце концов они попались при компрометирующих обстоятельствах и были признаны виновными в занятиях проституцией. Они были направлены в различные специальные заведения, где их сильно удивило то «признание», которое общество для них припасло. Обращение к матери было невозможным; она, по их мнению, не оставила им выбора, а добрая воля и понимание социальных работников саботировались обстоятельствами. В результате старшая дочь повесилась, предварительно нарядно одевшись и написав записку, кончавшуюся словами: «Ведь я достигаю чести, только чтобы отбросить ее...»

Диффузия трудолюбия

Сильная спутанность идентичности обычно сопровождается острым нарушением умелости либо выступает в форме неспособности сконцентрироваться на требуемых или предложенных занятиях, либо в саморазрушительной поглощенности какой-то односторонней деятельностью, например в чрезмерном чтении. Описание пути, который проходят такие пациенты, когда под воздействием лечения они находят ту деятельность, в которой могут вновь выработать утраченное ими ощущение умелости, требует отдельной главы. Здесь хорошо бы вспомнить ту стадию развития, которая предшествует пубертату и отрочеству, а именно время начальной школы, когда ребенка учат

тому, чего требует конкретная технология его культуры, дают ему возможность и ставят перед ним жизненную задачу развития умелости и участия в общественном производстве.

Как мы уже показали, школьный возраст следует за стадией Эдипова комплекса: осуществление реальных шагов в направлении места в экономической структуре общества позволяет ребенку вновь идентифицироваться с родителями в большей степени как с тружениками и носителями традиций, чем как с сексуальными и семейными сущностями, развивая таким образом по крайней мере одну конкретную и достаточно нейтральную возможность стать подобным им. Реальные цели начального обучения умениям распределены между детьми в зависимости от мест обучения (баня, церковь, мастерская, кухня, школа), большинство из которых географически отделены от дома, от матери и детских воспоминаний; между тем здесь проявляются весьма заметные различия в отношении детей разного пола. «Трудовые» цели, затем, без сомнения, только поддерживают и эксплуатируют подавление «детских» целей; они также усиливают роль «эго», предлагают конструктивную деятельность с настоящими инструментами и этим требуют новой сферы своего проявления. Тенденция «эго» повернуть пассив несравненно выше простого превращения пассива в актив в детской игре и фантазии, тогда как сейчас внутренняя потребность в активности, практике и профессиональном становлении готова принять соответствующие требования и возможности социальной действительности.

Вследствие прямого предшествования Эдипова комплекса началу идентичности установка на труд вновь оборачивается у наших молодых пациентов установкой на состязательность и соперничество с сиблингами. Таким образом, спутанность идентичности сопровождается не только неспособностью к концентрации, но и чрезмерной осведомленностью об отвратительности соперничества. Хотя наши потенциальные пациенты обычно интеллектуальны и способны и часто оказываются успешными в работе, учебе и спорте, они теперь утрачивают способность к работе, упражнениям и общению и этим теряют наиболее важное средство социальной игры и способность к отказу от неоформленной фантазии и смутной тревоги. Вместо этого инфантильные цели и фантазии наделены опасной

энергией, исходящей от сексуальной зрелости и порочной агрессивной силы. Один из родителей вновь становится целью, а другой — помехой. Эту ожившую Эдипову борьбу не следует интерпретировать как исключительно или даже преимущественно сексуальную. Это возврат к ранним истокам, попытка решить диффузию ранних интроекций и восстановить шаткие детские идентификации — другими словами, желание родиться вновь, вновь познать самые первые шаги по направлению к реальности и взаимности и получить новое разрешение на развитие контакта, активности и соперничества.

Юный пациент, почувствовавший себя как бы застрявшим в колледже, ощущал себя почти слепым на протяжении начальной фазы лечения, явно находясь в деструктивной сверхидентификации с отцом и терапевтом (причем оба они были профессорами). Однажды он пришел к выводу, что обладает самобытным талантом к живописи, деятельности, которая только благодаря интенсивному лечению не превратилась для него в саморазрушительную гиперактивность. Когда способность к живописи стала играть весьма заметную роль в возникновении у пациента чувства собственной идентичности, ему приснилась новая версия старого сновидения, которое прежде всегда заканчивалось ужасным пробуждением. Как всегда, ему снилось, что он бежит от огня и преследования, но на этот раз от спрятался в чаще деревьев, которые он сам изобразил, и, как только он вбежал в нее, рисунок, выполненный углем, превратился в реальный лес с уходящей в бесконечность перспективой.

Выбор негативной идентичности

Потеря чувства идентичности часто выражается в презрительной и снобистской жестокости по отношению к ролям, предлагаемым в качестве желательных для какой-либо семьи и ближайшего окружения. Любой аспект роли или все они — будь то маскулинность или фемининность, национальность или классовая принадлежность — могут попасть в центр юношеского пренебрежения. Такое чрезмерное пренебрежение к устоям наблюдается среди старых англосаксонских и новых латинских или еврейских семей; это может превратиться в общую неприязнь ко всему американскому и иррациональное переоценивание всего иностранного либо в возврат назад, к истокам. Кажется, что

жизнь и устойчивость существуют только там, где нет чего-то одного, в то время как расстройство здоровья и угроза опасности происходят там, где есть только одно. Этот типичный пример иллюстрирует триумф «супер-эго» по поводу обесценивания неустойчивой юношеской идентичности: «Внутренний голос, который обесценивал его, начинает приблизительно в это время усиливаться. Этот голос дошел до вмешательства во все, что индивид делал». «Когда я курю сигарету, когда я говорю девушке, что люблю ее, когда я делаю жест, когда я слушаю музыку, когда я пытаюсь читать книгу, этот голос все время живет во мне: «Ты делаешь это ради эффекта, ты фальшивый». Этот голос становится довольно безжалостным и неотступным. Однажды, когда я ехал в колледж на поезде, мое внимание привлекли люди, населявшие беднейшие окраины города. И я неожиданно почувствовал, что гораздо ближе по духу этим людям, чем товарищам по колледжу или родным. Казалось, что жизнь существует только здесь, а колледж, напротив, является уютным, изнеживающим местом».

В этом примере важно увидеть не только самонадеянное «супер-эго», слишком четко понимаемое как возражающий внутренний голос (но недостаточно интегрированное для того, чтобы привести молодого человека к поиску альтернативной карьеры), но также и острую спутанность идентичности, проецируемую на различные сегменты общества. Аналогичен этому и случай с франко-американской девушкой из достаточно процветающего шахтерского городка, которая испытывала чувство паники, вплоть до паралича, оказываясь наедине с юношей. По-видимому, многочисленные предписания «супер-эго» и конфликты идентичности оказываются напрямую замкнутыми на навязчивой идее, что каждый юноша имеет право ожидать от нее приверженности к так называемой «французской» сексуальной практике.

Такое отчуждение от национальных и этических корней редко приводит к полному отказу от личностной идентичности, хотя общим для молодых людей, пытающихся найти убежище в новом имени, является их яростное стремление называться специально данным именем или прозвищем. Таким образом, происходит конфабуляторная реконструкция собственных истоков. Одна очень изобретательная ученица старших классов из среднеевропейской семьи

тайком нашла компанию шотландских иммигрантов, тщательно изучающих и ассимилирующих свой диалект и свои социальные привычки. С помощью книг по истории и туристических поездок она реконструировала свое детство в конкретной обстановке настоящего шотландского городка, причем все это выглядело достаточно убедительным для выходцев из Шотландии. Она говорила о своих родителях, американцах по рождению, как «о людях, которые перенесли меня сюда». Придя ко мне, она представилась как Лорна и описала свое детство «там» во впечатляющих подробностях. Я двигался по этой истории, решив, что в ней больше внутренней правды, чем реальности. И действительно, внутренняя правда обернулась памятью, а точнее, следствием уходящей корнями в раннее детство привязанности девушки к соседке, приехавшей с Британских островов и давшей ей больше той любви, в которой она нуждалась, чем ее собственные родители могли дать или давали. Силой, стоящей за почти иллюзорной властью выдуманной «правды», было в свою очередь желание смерти родителей, которое является латентным при всех острых кризисах идентичности. Полупреднамеренность этой иллюзии выступила на передний план, как только я спросил девушку, каким образом ей удалось выстроить все детали жизни в Шотландии. «Помилуйте, сэр, — сказала она умоляющим голосом, с резким шотландским акцентом, — я нуждалась в прошлом». Нет необходимости говорить, что при таких способностях к языку, лицедейству и личностной теплоте «иллюзия» по своей природе и прогнозу весьма отличается от настоящего психотического состояния.

В целом конфликты наших пациентов нашли более тонкое выражение, нежели отказ от личностной идентичности. Вместо этого они выбирают *негативную идентификацию*, то есть идентичность, извращенно основанную на всех тех идентификациях и ролях, которые на критических стадиях развития представлялись им наиболее нежелательными или опасными и в то же время наиболее реальными. Например, мать, потерявшая старшего сына, вследствие сложного чувства вины никогда не была способна проявить по отношению к остальным своим детям такую же почти религиозную преданность, какую она дарила памяти своего мертвого ребенка, развивая у одного из своих сыновей фатальную убежденность, что быть больным или

мертвым — лучший путь к признанию, нежели быть живым и здоровым. Мать, бессознательно испытывающая амбивалентные чувства по отношению к своему брату-алкоголику, снова и снова избирательно обращается только к тем чертам своего сына, которые, как ей кажется, указывают на повторение судьбы ее брата; в результате эта «негативная» идентичность иногда кажется сыну более реальной, чем все его естественные попытки быть хорошим. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы стать пьяницей, и он пришел к состоянию острого паралича выбора.

В других случаях негативная идентичность диктуется необходимостью найти свою нишу и защититься от чрезвычайных идеалов, либо требуемых болезненными амбициями родителей, либо актуализированных вышестоящими авторитетами. В обоих случаях родительские слабости и невыраженные желания осознаются ребенком с катастрофической ясностью. Дочь человека прекрасной репутации убежала из колледжа и была арестована как проститутка в негритянском квартале южного города, в то время как дочь влиятельного негритянского проповедника была найдена среди наркоманов в Чикаго. В этих случаях принципиально важно понять, что главная роль в этой игре принадлежит насмешке и мести родителям за их претензии, ибо белая девушка реально не занималась проституцией, а цветная девушка не стала настоящей наркоманкой. Нет необходимости говорить о том, что каждая из них окунулась в маргинальную социальную сферу, предоставляя офицерам полиции и психиатрическим службам решать, как обозначить такое поведение. Аналогичный случай произошел с юношей из небольшого городка, доставленным в психиатрическую клинику в качестве гомосексуалиста. В процессе обследования создалось впечатление, что юноше удалось завоевать эту репутацию, вовсе не совершая актов гомосексуализма, не считая одного, произошедшего намного раньше, когда он был изнасилован более старшими ребятами.

Подобный этим выбор негативной идентичности представляет собой отчаянную попытку вновь овладеть ситуацией, в которой различные элементы позитивной идентичности подавляют друг друга. Анализ такого выбора позволяет выявить ряд условий, при которых пациенту оказывается легче достичь идентичности через тотальную идентификацию с тем, кем он меньше всего должен стать,

чем бороться за ощущение реальности приемлемых ролей, для овладения которыми он не имеет внутренних средств. Утверждение молодого человека о том, что «я скорее буду совершенно незащищенным, чем немного защищенным» и молодой женщины о том, что «по крайней мере в канаве я гений», отражают то облегчение, которое следует за тотальным выбором негативной идентичности. Конечно, такое облегчение часто ищется коллективно в кликах и бандах молодых гомосексуалистов, наркоманов и социальных циников.

Сюда необходимо также включить некоторые формы снобизма верхних классов, поскольку иногда они позволяют отрицать спутанность идентичности, обращаясь к тому, что молодой человек не заработал самостоятельно, а именно к богатству родителей, происхождению, славе либо к таким вещам, как стиль или форма искусства. Но здесь тоже есть снобизм «ниже нижнего», который основан на гордости за достижение сходства с ничтожеством. В любом случае многие больные и отчаявшиеся старшие подростки, столкнувшиеся с конфликтом, скорее проявят себя никем или кем-то тотально ничтожным или даже мертвым, и это будет их свободным выбором, чем кем-то неопределенным. В гл. II мы попытались показать склонность людей к «тотальной» переориентации в тех случаях, когда реинтеграция в относительную «целостность» кажется невозможной, что обычно происходит на критических стадиях развития. Однако здесь мы не можем обсуждать те случаи переориентации, которые ведут к психотическому разрыву[14].

Специфические факторы семьи и детства

Обследуя пациентов с некоторыми патогенетическими тенденциями, мы склонны спрашивать себя, что общего у них с их родителями. Я думаю, можно сказать, что в наших случаях общим для значительного числа матерей является ряд черт, прямо не зависящих от их реального социального статуса. Во-первых, это провозглашаемое стремление к власти, претенциозность или намерение «держаться за что-то». Они, как правило, склонны отвергать понятия чести и интеллектуальности в пользу видимости здоровья или статуса, благопристойности и «счастья»; фактически они пытаются заставить своих детей претендовать на «природную» и «правильную» социаль-

ность. Во-вторых, они обладают специфическим качеством проницательной вездесущности; их обычные голоса, равно как и тишайшие вздохи, на деле оказываются острыми, занудными или раздражающими, от которых нигде нет убежища.

Одного из наших пациентов на протяжении всего детства мучал один и тот же повторяющийся сон о паре ножниц, кругами летающих по комнате. Ножницы в данном случае символизировали голос матери, резкий и режущий слух. Матери, подобные этой, любят своих детей, но любят отчаянно и назойливо. Они сами настолько изголодались по одобрению и признанию, что изводят своих малышей бесконечными жалобами, особенно по поводу отцов, почти умоляя детей оправдать свое материнское существование их собственным существованием. Они очень ревнивы и весьма чувствительны к чужой ревности. Для нас особенно важно, что матери слишком ревнивы к любому проявлению идентификации ребенка с отцом или, что еще хуже, к тому, что ребенок строит свою идентичность на идентичности отца. Необходимо добавить, что эти матери максимально сосредоточены на нашем пациенте. За постоянными жалобами матери о том, что отец не смог сделать из нее женщину, стоит жалоба, глубоко ощущаемая как матерью, так и ребенком, что пациенту не удалось сделать из нее мать. Неизбежен вывод о том, что наши пациенты в свою очередь с самого начала своей жизни глубоко ранили своих матерей, отстраняясь от них вследствие полной непереносимости того, что на первый взгляд кажется лишь различиями в темпераменте. Между тем эти различия оказываются только крайним выражением сущностного сходства; это дает мне основания полагать, что общим для выраженного стремления пациента к уходу или неосознанному действию и отчаянной социальной навязчивостью матери является общая социальная уязвимость.

То, что я здесь описываю, является, в своих менее выраженных формах, настолько типичным, что не может считаться единственной причиной болезни ребенка, тем более что на все дети из одной семьи страдают в равной степени. Необходимо также помнить, что к моменту, когда мы встречаемся с подобными матерями, они уже обладают двойной защитой. Но я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что здесь мы вновь встречаемся с *реципрокной*

негативной реакцией матери и ребенка, являющейся злокачественной противоположностью взаимности.

Отцы, преуспевающие по службе, дома не могут противостоять своим женам в силу чрезвычайной зависимости от них. Отсюда и возникающее у них чувство глубокой ревности по отношению к своим детям. Их инициатива и целостность либо подавляются назойливостью жены, либо пытаются обойти ее, испытывая при этом чувство вины, в результате чего мать становится все более несчастной, унылой и «жертвенной» в требованиях ко всем своим детям или к некоторым из них.

Что касается отношения наших пациентов к братьям и сестрам, то они кажутся более симбиотическими, чем обычные отношения сиблингов. Вследствие «голода идентичности», пережитого в раннем детстве, наши пациенты склонны привязываться к одному брату или сестре так, как это обычно бывает у близнецов[15], с той лишь разницей, что здесь мы имеем одного из близнецов, как если бы мы пытались воспитывать неблизнеца как близнеца. Мы пасуем перед той тотальной идентификацией у ближайших сиблингов, которая идет дальше «альтруизма идентификации», описанного Анной Фрейд[16]. Это аналогично тому, как если бы наши пациенты отдали свою собственную идентичность идентичности брата или сестры в надежде сделать ее больше и лучше в результате слияния. В определенные периоды это приносило им успех, но разочарование, которое должно последовать за разбиением искусственного «близнячества», оказывается более травмирующим. За внезапным озарением следуют гнев и паралич — это случается и в близнецовой паре, — поскольку идентичности хватает только одному, а другому следует уйти из нее.

Истории раннего детства наших пациентов в целом удивительно спокойны. Часто наблюдается незначительный детский аутизм, но он обычно рационализируется родителями. Может сложиться впечатление, что степень злокачественности острой спутанности идентичности в старшем подростковом возрасте зависит от широты этого раннего аутизма и что он будет определять глубину регрессии и возврата к старым интроекциям. Что касается перенесенной в детстве или юности травмы, то здесь следует сказать, что большинство наших пациентов перенесли сильную физическую травму либо в период Эдипова комплек-

са, либо в раннем пубертате, причем обычно это происходило в связи с отделением от семьи, от дома. Этой травмой может являться операция, поздний физический дефект, несчастный случай, острая сексуальная травматизация и т.д.

В противном случае ранняя патология превращается в то, что мы считаем типичным для преимущественно психиатрического диагноза. Ясно, что спутанность идентичности не является клиническим диагнозом. Но по-прежнему остается открытым вопрос, можно ли, например, спутанность идентичности параноидного типа рассматривать как случай паранойи, которая иногда манифестирует в юности, или как предрасположенность к паранойе, отягощенной острой спутанностью идентичности, которая относительно обратима. Мы не имеем возможности рассматривать здесь этот «технический» вопрос. Но из всего нашего обсуждения выступает другая критическая проблема. Этой проблемой является обсуждавшаяся в социологических терминах Кай Т. Эриксон[17] опасность того, что пациент этой возрастной группы будет выбирать именно роль пациента в качестве базиса для формирования идентичности.

IV. Социальный очерк: от индивидуальной спутанности — к социальному порядку

Представив картину всех условий острой спутанности идентичности, я бы хотел теперь каждый из описанных симптомов соотнести с двумя феноменами, зримо отделенными друг от друга: детство индивида и история культуры. Поскольку мы считаем само собой разумеющимся, что конфликты, с которыми мы встречаемся в наших случаях, в более или менее выраженной форме являются в принципе общими для всех индивидов, то представленная картина оказывается лишь искаженным отражением нормального состояния подростка, мы можем теперь спросить, во-первых, каким образом это состояние способно оживить старые детские конфликты и, во-вторых, какие возможности предоставляет культура «нормальным» молодым людям для того, чтобы они могли преодолеть те силы, которые тянут их назад, к регрессии, а также найти сред-

ства для мобилизации своих внутренних сил на подготовку к будущему.

Во-первых, такое возвращение в детство представляет собой регрессивный аспект подросткового конфликта. Я надеюсь, что не слишком усложню изложение, если представлю вниманию читателя диаграмму, позволяющую «поместить» регрессивные тенденции в нашу схему психосоциального развития. По-видимому, многие читатели недоумевают, что́ делать со все еще никак не обозначенными частями диаграммы. Другие, возможно, предпочли бы просто прочитать текст, оставив изучение диаграммы тем, кому это интересно. Поэтому данный параграф предназначается только для любителей диаграмм. Здесь я поясню, каким образом цифры, проставленные после соответствующих пунктов, соотносятся с диаграммой. Остальные читатели могут проигнорировать этот параграф, равно как и все последующие цифры, данные в скобках.

В гл. III полностью обсуждалась только диагональ эпигенетической диаграммы. Она отражает, как мы уже говорили, онтогенетическое развитие главных компонентов психосоциальной витальности (I.1. — VIII.8). Заполнили мы также и некоторые аспекты вертикали, ведущей от инфантильности к идентичности, от I.5 до V.5. Это тот специфический вклад, который предыдущие стадии делают непосредственно в развитие идентичности, а именно примитивное *доверие* при познавании друг друга; рудименты желания быть собой; *антиципация* того, кем бы индивид мог стать, а также возможность *понять*, что делать с теми способностями, которые находятся в стадии становления. Но это в свою очередь означает, что каждая из указанных стадий вносит свой вклад в отчуждение: более ранние из них сопряжены с аутической неспособностью к установлению взаимности. Наиболее острые формы спутанной идентичности уходят корнями именно к этим ранним нарушениям. Такое базальное смешение противоположных интроекций «подрывает» не только все будущие идентификации, но и их интеграцию в отрочестве. Исходя из уже описанной нами клинической картины, распределим различные симптомы спутанности идентичности по горизонтали V диаграммы и покажем, как они соотносятся с «регрессивными» вертикалями 1, 2, 3 и 4.

Давайте начнем с первого пункта уже описанной нами патологии: недоверия ко времени и доминирования

временнóй спутанности. Утрата «эго» функции укрепления перспективы и ожидания является явной регрессией к периоду раннего детства, когда время как бы не существует. Переживание времени возникает в результате адаптации ребенка к инициальным циклам напряжения потребности, отсрочки ее удовлетворения и насыщения.

В детстве будущая самореализация антиципируется «галлюцинаторно»; когда достижение цели отодвигается во времени, возникает бессильный гнев, уничтожающий доверие; любой признак приближающегося удовлетворения потребности усиливает надежду, в то время как дальнейшая отсрочка вызывает удвоенный гнев. Наши пациенты, как мы видели, не доверяют времени и не считают, что удовлетворение может быть предсказуемо настолько, что сделает желаемое и «имеющееся» достаточно ценным.

Наиболее регрессировавшие, с нашей точки зрения, молодые люди в действительности явно одержимы общими установками, отражающими определенное недоверие времени: каждая отсрочка становится обманом, каждое ожидание — переживанием бессилия, каждая надежда — опасностью, каждый план — катастрофой, каждый возможный помощник — потенциальным изменником. Следовательно, время, если это необходимо, должно быть остановлено волшебной силой кататонической неподвижности. Это крайности, которые проявляются в некоторых латентных случаях смешения идентичности, и каждый подросток, я уверен, знает по крайней мере мимолетные моменты разногласия со временем. В этой своей нормальной переходной форме недоверие времени рано или поздно уступает место представлениям, требующим интенсивных и даже фантастичных вкладов в будущее либо быстрого достижения успеха. Кажется, что это совершенно не согласуется друг с другом и, во всяком случае, абсолютно утопично, ибо основано на ожиданиях, требующих изменения законов истории развития. Но потом вновь образы мира начинают казаться им утопичными, хотя каким-то образом они оказываются частично реализованными благодаря хорошему лидеру или удачному стечению обстоятельств. Следовательно, временнáя спутанность более или менее типична для всех подростков на той или иной стадии развития, хотя в чем-то она оказывается патологической.

Какова же роль социального процесса движения от культуры к культуре, от одной эры к другой? Я могу выдвинуть лишь несколько предположений. Так, был период романтизма, когда юноши (и художники и писатели) были поглощены руинами, оставшимися от прошлого, которое казалось более «вечным», чем настоящее. Между тем здесь необходимо подчеркнуть, что это не простой поворот к отдаленному прошлому, а целостное изменение качества переживания времени. В тех или иных культурных и исторических условиях оно оказывается столь же различным (исходя из примеров, уже приведенных в этой книге), как мираж в слепящем степном солнце и танцы под барабанный бой всю ночь напролет; как пассивное плавание в «абсолютном» времени, вызванное наркотиками, и «гусиный шаг» под звуки трубы в марше по случаю тысячелетия Рейха. Это действительно совершенно необходимый аспект всей идеологии, отражающий то значение, которое имеют для молодых людей ценности и цели различных цивилизаций, будь они склонными к спасению или к реформам, рискованными или победными, причиной или прогрессом, в соответствии с вновь открывающимися возможностями идентичности. Среди того существенного, что они предоставляют юности, имеется весьма убедительная временная перспектива, совместимая с когерентным образом мира. Это позволяет понять, что сегодня, когда антиципируемое будущее предельно стандартизировано, тысячи молодых людей предпочли бы вести себя так, как если бы мораторий был способом жизни и самостоятельной культурой. Как они предпочитают забыть о своем будущем, так общество забывает, что это только лишь современная — более популярная и более открытая — форма старого феномена, что отчетливо проявляется в хвастовстве некоторых молодых людей.

Среди ингредиентов спутанной идентичности мы выделяли также сознание идентичности, обозначая этим особую форму болезненного самосознания, фиксирующего противоречия между самооценкой, образом «я» автономной личности и образом «самого себя» в глазах окружающих. Тотальное разрушение самооценки у наших пациентов резко контрастирует с нарциссическим и снобистским презрением к мнению других. Мы вновь видим сопутствующие сенситивности подростков феномены, являющиеся альтернативой вызывающему бесстыдству перед лицом критики.

Это снова примитивные формы защиты, позволяющие сохранить шаткую уверенность в себе в противовес чувству сомнения и стыда (II.2). И хотя это состояние, как правило, преходяще, оно все же присутствует в некоторых свойствах характера многих творческих людей, которые, по их собственному свидетельству, переживают повторение отрочества, а вместе с ним и полный цикл чувственного отдаления и сильного самовыражения.

Самоосознавание (V.2) — новая редакция того первоначального сомнения, которое касалось возможности доверия родителей и самого ребенка только в отрочестве; однако такое сомнение имеет отношение и к вопросу надежности всего периода детства, которое теперь остается позади, и возможности доверия всему социальному универсуму, перед лицом которого он стоит. Теперь обязанность «состояться» с ощущением свободной воли к собственной автономной идентичности может вызвать болезненное чувство стыда, так или иначе сравнимого с первоначальным стыдом или гневом, связанным с тем, что окружающие взрослые видят тебя со всех сторон; только теперь этот стыд относится к тому, что твоя личность открыта сверстникам и они могут судить о ней. Все это, при нормальном ходе событий, перевешивается уверенностью в себе (V.2), характеризующейся определенным чувством независимости от семьи.

Среди социальных феноменов, относящихся ко второму конфликту, можно выделить общую тенденцию к некоему единообразию, либо к социальной униформе, или к определенной отличительной одежде, посредством которой недостаточная уверенность в себе может на время замаскироваться «групповой» уверенностью. Такая уверенность всегда обеспечивается знаками возрастного старшинства так же, как жертвоприношения конфирмации и инициации, но в то же время она может быть произвольно создана теми, кто стремится к различиям и все же устанавливает определенное единообразие этих отличий («стиляги», «битники»). Эти и другие, менее очевидные признаки единообразия усиливаются чувством стыда перед сверстниками, осуждением с их стороны, жестокостью группы, которая оставляет аутсайдеров в болезненной, но порой созидательной изоляции.

Демонстрация тотального соответствия *ролевой фиксации* (V.3), противоположной свободному ролевому *экспе-*

рисментированию, очевидно, связана с ранними конфликтами между свободной инициативой и Эдиповым комплексом вины в реальной жизни, фантазиях и играх ребенка. Если наши пациенты регрессируют ниже уровня Эдипова комплекса к тотальному кризису доверия, выбор саморазрушительной роли часто остается единственной приемлемой формой инициативы на пути назад и наверх, осуществляемой в форме полного отказа от амбиций, что только и позволяет полностью избежать чувства вины. Нормальным выражением относительно свободной от чувства вины, а в действительности более или менее «делинквентной» инициативы является в юности экспериментирование с ролями, которое следует за неписаными кодексами подростковых сообществ, сохраняющих собственную дисциплину.

Среди социальных установлений, которые поддерживают такую инициативу и обеспечивают некоторое возмещение, уменьшая чувство вины, мы можем указать здесь опять на инициативу и конфирмацию: они борются в атмосфере мифического безвременья, чтобы соединить некоторые знаки жертвенности и покорности с энергичным толчком к санкционированным способам действия — комбинация, которая, если она работает, гарантирует развитие у новичка оптимума согласия с максимумом чувства свободы выбора и солидарности. Эта специфическая склонность юности — а именно достижение чувства свободы выбора в результате ритуальной регламентации — универсально используется в армейской жизни.

Чрезвычайная *стагнация действия* (V.4) является логическим следствием глубокого чувства неадекватности собственных общих возможностей. Конечно, такое чувство неадекватности не всегда отражает реальное отсутствие возможностей; скорее оно выражает нереалистические требования, идущие от идеального «эго», желающего стать только всемогущим и всезнающим; оно может отражать также и тот факт, что непосредственное социальное окружение не имеет ниши для подлинных способностей индивида; в то же время оно может быть следствием того парадокса, что специально организованное в ранние школьные годы ускоренное развитие затормозило развитие его идентичности. Вследствие всех этих причин индивид может быть исключен из экспериментирующего соперничества в игре и работе, посредством которого он учится находить и отстаивать свои собственные достижения и

свою рабочую идентичность. Особенно важно это на ранних этапах делинквентности: делинквенты в разных вариантах являются «позитивными» двойниками наших пациентов по крайней мере уже потому, что они проявляют себя в компании, что подавляет уединение. Некоторая насмешка над работой, а также противопоставление ей явственно проявляется в таких делинквентных фразах, как «выполнить работу» (о краже со взломом) или «сделать хорошую работу» (в смысле полного разрушения). От этого лишь один шаг к другому очевидному заключению, а именно к тому, что молодые люди должны научиться наслаждаться чувством *ученичества* (IV.4), чтобы не испытывать жажду разрушения. Общим для шизоидов и делинквентов является недоверие к самим себе, неверие в возможность когда-нибудь совершить что-либо полезное. Это особенно заметно у тех, кто по тем или иным причинам не чувствует, что становится жертвой технологической идентичности своего времени. Причиной этого может быть то, что их собственные способности и таланты не нашли контакта с продуктивными целями механического века или что они сами принадлежат к социальному классу (здесь «верхний-верхний» замечательно равен «нижнему-нижнему»), который не был «съеден» потоком прогресса.

Социальные установления поддерживают силу и отличительность зарождающейся рабочей идентичности, предоставляя тем, кто еще учится и экспериментирует, определенный статус *ученичества*, мораторий, характеризующийся определенными обязанностями и санкционированным соперничеством, равно как и особыми вольностями.

Это регрессивные тенденции в кризисе идентичности, которые чрезвычайно четко проработаны в симптомах спутанной идентичности и некоторых социальных процессах, противодействующих им в повседневной жизни. Но это также и проявления формирования идентичности, которые антиципируют будущее развитие. Первый из них мы можем назвать сексуальной *поляризацией* (V.6), то есть выработкой определенной пропорции маскулинности и фемининности в ходе развития идентичности. Некоторые из наших пациентов более длительно и злокачественно страдают от состояния заурядности, проявляющегося в мягкой и преходящей форме на протяжении всего отрочества: молодой человек не ощущает отчетливо своей принадлежности к тому или иному полу, что делает его легкой добычей

гомосексуальных групп, в то время как для некоторых более предпочтительно ощущать себя кем угодно, нежели в течение длительного времени быть бисексуалом. Некоторые из них останавливают свой выбор на аскетическом отказе от сексуальности, который в любую минуту может закончиться драматическими прорывами сбивающих с толку импульсов. *Бисексуальная спутанность* (V.6) в отрочестве ведет к тому, что осознание идентичности тесно связывается с чрезвычайно значимым вопросом, что такое мужчина или женщина или что такое средний или отклоняющийся пол. Тоталитаристский ход мысли подростка может привести его к выводу о том, что быть немного меньше представителем одного пола означает быть гораздо больше (если не полностью) другим. Если в это время происходит нечто, социально отмечающее его как девианта, у него может развиться глубокая фиксация, усиливаемая переоценкой роли негативной идентичности, и настоящая близость покажется опасной. Сексуальные нормы отдельных культур и классов делают весьма значительными различия в психосексуальной дифференциации маскулинности и фемининности, возраста, вида и распространенности генитальной активности. Эти различия могут исказить уже обсуждавшийся выше общеизвестный факт, что развитие психосоциальной близости невозможно без прочного чувства идентичности. Побуждаемые специфическими нормами, молодые люди могут предрешить путь развития собственной идентичности концентрацией на ранней генитальной активности без близости, или, наоборот, они могут сосредоточиваться на социальных, художественных или интеллектуальных целях, которые низводят генитальный элемент до перманентной слабости генитальной поляризации с другим полом.

Социальные установления предоставляют возможность идеологической рационализации весьма различных паттернов частичного сексуального моратория, такой, например, как полная сексуальная абстинентность на определенный период, промискуитет или сексуальная игра без генитальных контактов. Что́ будет олицетворять групповая или индивидуальная «экономика либидо», зависит как от оставленного позади детства, так и от цели идентичности, которая проистекает из предпочитаемого сексуального поведения.

Но юность также делает важный шаг по направлению к родительству и взрослой ответственности, осваивая *лидерство* и *ведомость* (V.7) среди сверстников и достигая поразительной предусмотрительности в принятых функциях. Такая предусмотрительность может предшествовать полной зрелости индивида вследствие того, что превалирующая идеология помогает ориентации в лидерстве. Другим разрешается следовать и подчиняться (а сам лидер подчиняется вышестоящим лидерам), что ведет к смешению родительских образов, установившихся в инфантильном «супер-эго», с иерархией образов лидера, населяющих целую галерею идеалов, — этот процесс столь же типичен для делинквентных групп, как и для любой высокомотивированной группы. Когда молодой человек не способен ни подчиняться, ни отдавать приказания, он оказывается в изоляции, которая может привести его к трагическому уходу, но которая также, если он удачлив и талантлив, поможет ему ответить голосам, обращающимся к нему (как если бы они его знали) через века посредством книг, картин и музыки.

Сейчас мы подходим к той системе идеалов, которую общество предоставляет молодым в эксплицитной или имплицитной форме идеологии. Из того, что уже было сказано, мы можем приписать идеологии функцию предоставления юности: (1) упрощенной перспективы будущего, окружающей все предвидимое время и этим противодействующей индивидуальному «смешению времени»; (2) некоторого весьма ощутимого соответствия между внутренним миром идеалов и зла и социальным миром с его целями и опасностями; (3) возможности для демонстрации некоторого единообразия во внешности и поведении, противостоящего индивидуальному сознанию идентичности; (4) побуждения к коллективному экспериментированию с ролями и техниками, которые помогают преодолеть чувство подавленности и личной вины; (5) введения в преобладающую технологию и этим в санкционируемое и регулируемое соперничество; (6) историко-географического образа мира как каркаса для будущей идентичности молодого человека; (7) рационального сексуального способа жизни, совместимого с убедительной системой принципов, и (8) технологии подчинения лидерам, которые в качестве сверхчеловека или «старших братьев» стоят над амбивалентностью детско-родительских отношений. Без некото-

рой идеологической зрелости юность страдает от *спутанности ценностей* (V.8), которые могут быть опасными и которые по большому счету действительно опасны для структуры общества.

В заключение патографического очерка я описал некоторые феномены, относящиеся к социальной науке. Я могу оправдать это только тем, что клиническое исследование, пытающееся достичь некоторых рабочих обобщений в отношении индивидуальной патологии, может успешно протекать в рамках социального процесса, который социальные науки по необходимости отрицали. Психологическое изучение истории случая или истории жизни не может позволить себе исключить их из поля своего внимания. Итак, мы еще раз возвращаемся к формулировкам Шоу, что позволит нам сделать некоторые выводы.

* * *

Шоу был весьма экстравагантным человеком, искусно работавшим над социальной идентичностью Дж.Б. Шоу, так же как он работал над любым из своих сценических персонажей. Но делал это до пределов, которые были обозначены раньше: «клоун» часто не только лучшая, но также и наиболее искренняя часть Великого Шоу. Поэтому здесь стоит вспомнить слова, выбранные Шоу для характеристики истории его юношеских «превращений».

«Я *был втянут* в социалистское возрождение начала восьмидесятых, *весьма серьезное* для англичан, *горящее негодованием* по поводу совершенно *реальных* и *фундаментальных зол*, охвативших *весь мир*». Выделенные слова имеют следующее дополнительное значение: «Втянут в» — идеология обладает непреодолимой силой. «Возрождение» определяется традиционной силой омоложения. «Весьма серьезное» — даже циникам позволяет проявить искренность. «Горящее негодованием» — наделяет потребность в отвержении санкцией справедливости. «Реальный» — проецирует смутное внутреннее зло на ужас социальной реальности. «Фундаментальный» — обещает участие в попытках основательной реконструкции общества. «Весь мир» — структурирует определенный образ мира. Следовательно, здесь имеются элементы групповой идентичности, которая использует агрессивность и дискриминативную энергию молодых индивидов для обслу-

живания идеологии и помогает созданию индивидуальной идентичности. Таким образом, идентичность и идеология — два аспекта одного процесса. Оба создают необходимые условия для дальнейшего созревания индивида и этим для следующей, более высокой формы идентификации — солидарности, связывающей общие идентичности в единую — живущую, действующую и созидающую.

Насущная потребность соединить в одну мыслительную систему как иррациональную ненависть к собственной негативной идентичности, так и иррациональное отрицание враждебной непохожести делает молодых людей предельно компульсивными и внутренне консервативными, в результате чего они кажутся слишком анархичными и радикальными. Та же потребность аргументирует поиск ими образа мира, подкрепляемого тем, что Шоу называл «ясным пониманием жизни в свете понятной теории», хотя то, что кажется понятным, часто является лишь логикой прошлого, впитанного в детстве, но выраженного в шокирующе новых терминах.

Что касается фабианских социалистов, то употребление Шоу терминов, характеризующих интеллектуально яркую идеологию, полностью оправданно. В более общем виде можно сказать, что идеологическая система является когерентным органом отдельных образов, идей и идеалов, которые, будучи основанными на формальной догме, являются имплицитным мировоззрением, высокоструктурированным образом мира, политическим кредо или даже научным кредо (особенно в применении к человеку); обеспечивает (если ее систематически упрощать) членам группы когерентность, всеобщую ориентацию в пространстве и времени, в средствах и целях.

Понятие «идеология», безусловно, имеет негативный оттенок. По самой своей природе эксплицитные и пропагандистские идеологии противостоят другим идеологиям как непостоянные и лицемерные, критика идеологии направлена против упрощенчества как систематической формы коллективной псевдологии. Между тем у нас нет причин ограничиваться только современным политическим значением этого слова. То, что мы называем лицемерием, является в действительности другой стороной монеты. Не может быть идеологического упрощения без фактического притворства, которое противоречит так или иначе достигнутому уровню интеллектуальной софистики. Справедливо

также и то, что средний взрослый и среднее общество, если они не занимаются идеологической поляризацией, склонны перепоручать идеологию — как только заканчиваются стрельба и крики — весьма ограниченному аспекту своей жизни, где она оказывается весьма удобной для ритуалов и рационализаций, но не наносит чрезмерного вреда другим занятиям. Тот факт, что идеологии — это упрощенные концепции того, что произойдет, которые позже могут служить рационализацией того, что случилось, не устраняет возможности того, что на определенных стадиях индивидуального развития и в определенные периоды истории идеологическая поляризация, ведущая к военному конфликту и к радикальным переменам, неизбежно отвечает внутренней потребности. Юности необходимо основывать свои предпочтения на идеологических альтернативах, реально относящихся к существующему кругу альтернатив, и в периоды радикальных изменений это специфически подростковое пристрастие начинает доминировать над коллективным разумом.

Таким образом, создается впечатление, что идеологии обеспечивают значимые комбинации самых старых и самых новых групповых идеалов. Они действительно являются источником убежденности, искреннего аскетизма и пылкого негодования юности по отношению к социальной границе, где борьба между консерватизмом и радикализмом наиболее живуча. На этой границе фанатичные идеологи делают свое дело, а психопатические лидеры — свое; подлинные же лидеры создают здесь настоящие солидарности. В качестве награды за обещанное владение будущим идеологи требуют непреклонного достижения некоей абсолютной иерархии ценностей и некоего ригидного принципа поведения, будь это принцип тотального подчинения традициям, если будущее является земным королевством предков; тотальной отставки, если будущее должно быть чем-то из другого мира; тотальной военной дисциплины, если будущее замкнуто на определенном типе вооруженного супермена; тотальной внутренней реформы, если будущее воспринимается в основном как факсимиле небес на земле; или, наконец (отметим лишь один из идеологических ингредиентов нашего времени), полного прагматического отказа от совместной деятельности и процесса производства, если возрастающая продуктивность удерживает, как им кажется, настоящее и будущее вместе. Этот

тоталитаризм идеологий означает, что инфантильное «супер-эго» вновь стремится отвоевать место у подростковой идентичности: когда прежние идентичности истощаются, а новые становятся уязвимыми, возникающий кризис вынуждает мужчин вести жесточайшими средствами священные войны против тех, кто, как им кажется, угрожает или сомневается в их еще ненадежных идеологических обоснованиях.

В заключение мы можем еще раз обсудить следующее: как осуществляется наше вмешательство во все традиционно групповые идентичности, которые могли развиться в аграрных, феодальных, патрицианских или меркантильных эрах. Как было показано многими авторами, такое всестороннее развитие завершается утратой чувства космической целостности, провидческой предопределенности и божественного санкционирования средств производства и разрушения. Во многих странах мира это со всей очевидностью ведет к увлечению тоталитарным мировоззрением, взглядами, обосновывающими катаклизмы и защищающими самозваных смертных богов. Сегодня технологическая централизация может дать небольшим группам таких фанатичных идеологов конкретную власть тоталитарных государственных машин, а также небольшие и тайные либо большие открытые механизмы истребления.

Здесь удачное место для другого биографического очерка, касающегося моратория человека, которого я не мог бы поставить в один ряд с Бернардом Шоу хотя бы уже потому, что, наверное, он никогда не смеялся от всего сердца и никогда в жизни не мог никого заставить смеяться от души, — это Адольф Гитлер. Человек, бывший первым и единственным другом детства Гитлера, вспоминал, что в юности Гитлер неожиданно для всех исчез на два года, после чего он «всплыл», обуреваемый фанатичным идеологическим устремлением[18].

Этот совершенно анонимный мораторий, проведенный в полной изоляции, последовал за жестоким разочарованием позднего отрочества. Юношей Гитлер отчаянно мечтал стать архитектором; он днями как бы в прострации бродил по улицам, перестраивая свой родной город Линц. Под перестройкой он понимал полное разрушение старого, но, вне всякого сомнения, не пытался при этом быть конструктивным. Это случилось, когда он наконец послал свой проект нового здания оперы в Линце на конкурс, но

тот остался без внимания. После этого случая он порвал с обществом и исчез, чтобы вновь появиться в образе мстителя. И он отомстил, разрушив почти всю Европу. Обреченный на смерть, сидя в своем бункере, он вносил последние штрихи в свой проект здания оперы в Линце, которое к тому времени было почти построено. Таким образом, даже в личности с чрезвычайными деструктивными потребностями отроческие устремления могли просуществовать сверхъестественно долго.

Я не думаю, что личность, подобная Гитлеру, могла бы быть вылечена, хотя имеются данные о том, что он стремился лечить отдельные симптомы. Я даже не хочу думать о том, что такой человек, как Гитлер, мог навязать миру свою личную смесь бездонной деструктивности и конструктивного воображения без рокового совпадения его злого гения с исторической катастрофой. Как мы видели в гл. II, поражение Германии и Версальский договор вылились в широко распространенную травмирующую утрату идентичности, особенно среди немецкой молодежи, а следовательно, и в историческое смешение идентичности, стимулирующее состояние национальной делинквентности под предводительством банды подростков-переростков криминального склада. Но когда мы размышляем над такими национальными катастрофами, мы не должны позволять нашему отвращению ослеплять нас и не замечать конструктивных возможностей, которые у данной нации могут быть сильно извращены недостатками других наций.

Я уже отмечал в гл. II роль, которую сыграло технологическое развитие в поразительной успешности этого и других тоталитарных предприятий. Но я вновь должен признать, что мы по-прежнему мало знаем о том, как человек изменяется в самой своей глубине, имея в руках новую технологическую власть.

* * *

Под конец несколько слов о новой нации. Однажды на семинаре в Иерусалиме мне представилась возможность обсудить с израильскими учеными и клиницистами вопрос о том, что такое идентичность «израильтян», и, таким образом, рассмотреть одну из крайностей современной идеологической ориентации. Израиль очаровывает как своих друзей, так и врагов. Большое число идеологических

фрагментов европейской истории нашло свой путь в сознание этого маленького государства, и многие проблемы идентификации, занявшие полтора века американской истории, возникли в Израиле в течение нескольких десятилетий. Из числа подавленных меньшинств многих земель новая нация возникла на границе, которая не кажется принадлежащей кому-либо, и новая национальная идентичность возникла из «привозных» идеалов, вольнодумных, пуританских и мессианских. Любое обсуждение многочисленных и наиболее острых израильских проблем рано или поздно ведет к большим достижениям и большим идеологическим проблемам, поставленным первыми сионскими поселенцами, которые сделали то, что известно как движение кибуцев. Европейские идеологи, основываясь на историко-географическом моратории, созданном особым интернациональным и национальным статусом Палестины, первой в Оттоманской империи, а затем и в Британском мандатарии, смогли установить и укрепить мощный плацдарм сионистской идеологии. На этой «Родине», копаясь в грязи, собранные здесь евреи должны были преодолевать злые идентичности, являющиеся следствием вечного скитания, торговли и размышлений, чтобы вновь стать национально целостными. Никто не может отрицать того, что движение кибуцев породило отважный, ответственный, вдохновенный тип индивида, хотя определенные детали его системы образования (такие, как воспитание детей с рождения в детских домах и совместное содержание мальчиков и девочек в старших классах) подвергаются критике как в самом Израиле, так и за его пределами. Но бессмысленно применять стандарты метрополии к условиям окраины. Без сомнения, эти пионеры обеспечили новую нацию, родившуюся в одну ночь, историческим идеалом. В Израиле сейчас существует уже элита кибуцев — тех, кто в истории своей страны сыграл роль, сравнимую с тем, что сделали наши пионеры. Эта элита столкнулась с тем, что несравненно большая часть населения представляет эту совершенно неперевариваемую смесь идеологий. Это массы африканских и восточных иммигрантов, мощно организованных трудом жителей большого города, религиозных ортодоксов новой государственной бюрократии и, конечно, «доброго старого» торгового класса середняков. Более того, наиболее бескомпромиссная часть кибуцкого движения смогла найти себе место между двумя мирами,

с которыми сионизм связан крепкими историческими узами: американские и британские евреи (которые купили бóльшую часть земель у несуществующих арабских землевладельцев), с одной стороны, и советский коммунизм — с другой, к которому кибуцкое движение тяготело идеологически, но было отвергнуто Москвой как одна из форм уклона. Кибуцкое движение, таким образом, является одним из примеров современной идеологической действительности, которое на основании утопических идеалов высвободило неведомую до того энергию молодых, считавших себя одним «народом» и создавших чрезвычайно значимый групповой идеал совершенно непредсказуемой исторической судьбы в индустриальном мире. Между тем Израиль, несомненно, является одной из наиболее идеологизированных стран, которые когда-либо существовали. Ни крестьяне, ни рабочие никогда не спорили по поводу логики и значения повседневных решений. Я думаю, что представление о важности идеологии для формирования идентичности может быть получено путем сравнения таких сугубо вербальных и сильно институированных идеологий с теми часто не оформленными и преходящими симптомами превращения и отвращения, которые являются наиболее значимой частью жизни молодого человека или группы молодежи, причем понимание или даже любопытство со стороны окружающих их взрослых полностью отсутствует. Во всяком случае, многие крайние вкусы, мнения и лозунги, которыми насыщены аргументы молодежи, а также многие неожиданные импульсы к деструктивному поведению являются единым выражением фрагментов исторической идентичности, которые должны быть связаны воедино какой-то идеологией.

В патографическом разделе этой книги я указал на тотальный выбор негативной идентичности индивидами, которые могут реализовать свой уход через аутентичные или регрессивные склонности. Уход многих одаренных, но нестойких молодых индивидов в частную утопию не был бы необходим, если бы не имел отношения к общему развитию, которому они не способны подчиниться, а именно возрастающей потребности в конформизме, единообразии и стандартизации, которые характеризуют настоящую стадию этой «индивидуалистической» цивилизации. В этой стране потребность в конформизме по большому счету не развилась в эксплицитные тоталитаристские идеологии и

ассоциируется с пуританскими догмами церкви и стереотипами делового поведения. Изучая его, мы высоко оцениваем способность нашей молодежи управлять смешением идентичности в условиях индустриальной демократии посредством простого доверия, шутовского диссонанса, технической виртуозности, «иноверческой» солидарности и отвращения к идеологической эксплицитности. Чем же в действительности является имплицитная идеология американской молодежи, этой самой технологической молодежи в мире, — это принципиальный вопрос, который не может быть решен в книге такого типа. Никто не осмелится расценивать происходящие изменения, которые могут иметь место в этой имплицитной идеологии, как результат мировой борьбы, делающей милитаристскую идентичность частью ранней взрослости мирного времени.

Проще отметить, что поворот к негативной групповой идентичности, преобладающей у части молодежи, особенно в наших больших городах, а также религиозная маргинальность создают слабую основу для позитивной идентичности. Эти негативные групповые идентичности присутствуют в спонтанно образующихся группах: от соседствующих групп наркоманов, гомосексуальных кругов до преступных банд. Для того чтобы сделать значительный вклад в решение данной проблемы, необходим значительный клинический опыт. Кроме того, мы должны предостеречь себя от некритичного использования клинических терминов, установок и методов в отношении общественных проблем. Скорее мы можем вернуться к точке зрения, выработанной нами ранее. Учителя, судьи и психиатры, имеющие дело с молодежью, становятся важными действующими лицами этого стратегического акта «признания», акта, посредством которого общество «идентифицирует» и «принимает» своих молодых членов и этим вносит вклад в формирование их идентичности. Если для простоты или в силу укоренившихся привычек юрисдикции или психиатрии они диагностируются или расцениваются как криминальные, как конституционно непригодные, как просчеты воспитания или даже как умопомешательство, молодой человек, который по причинам личностной или социальной маргинальности близок к выбору негативной идентичности, может направить всю свою энергию на то, чтобы стать тем, кем ожидает его видеть худшая часть общества.

Можно, в конце концов, надеяться, что теория идентичности внесет в эту проблему скорее позитивный вклад, чем предостережение. В то же время я не предлагаю оставить все как есть: необходимо изучение специфической динамической природы выбранных источников — истории случая, истории жизни и сновидений[19].

V. Биографический очерк II: спутанность возвращается — психопатология ночи

В начале этой книги я процитировал Зигмунда Фрейда и Уильяма Джемса, которые, как мне кажется, сильно и поэтично сформулировали, в чем состоит жизненный смысл идентичности (или в чем он должен заключаться). Сейчас они могут помочь нам вновь заглянуть «за идентичность». Ибо так случилось, что оба они записывали и сообщали о сновидениях, которые иллюстрируют возвращение чувства спутанности идентичности и реставрации во сне идентичности позднего отрочества. Сновидения, безусловно, являются наиболее сенситивными индикаторами непрерывной борьбы индивида с ранними кризисами, и у всех тех, кто успешно преодолел другие регрессии, «кризис идентичности» вновь переживается в последующих, более поздних кризисах, но в «сублимированных» и символических актах, которые по большей части принадлежат психопатологии обыденной жизни, каждого дня или каждой ночи. Такое новое проживание предполагает, безусловно, что «кризис идентичности» однажды уже был пережит и что рецепт этого может быть восстановлен нормальными средствами. Сон Фрейда иллюстрирует проблему идентичности на стадии становления (генеративности), сон Джемса — на стадии старческого отчаяния.

1. Сон Фрейда об Ирме

Процитировав утверждение Фрейда о «позитивной» идентификации, направившей его к иудаизму, то есть идентичности с тем, кто, будучи одаренным выдающимися умственными способностями, работает в им самим избранной изоляции от «угнетенного большинства», я показал,

что в его единственном признании, а именно в анализе Фрейдом своего сна о пациентке Ирме[20], мы можем увидеть следы соответствующей *негативной идентичности*, которая, по определению, следует за позитивной как тень. Сон про Ирму приснился Фрейду на пороге пятого десятка его жизни, к которому мы относим кризис производительности, и действительно, как я уже отмечал[21], сон про Ирму касается забот человека среднего возраста, задающего себе вопрос о том, как много из того, что им начато, будет завершено и не помешает ли его слишком частая беззаботность поддержанию амбиции. Я буду выбирать только те отрывки, которые смогут показать новое *проживание* кризиса идентичности в терминах этого, более позднего кризиса.

Прежде всего, необходимо соотнести сон с тем моментом жизни Фрейда, когда он ему приснился, — с моментом, когда творческая мысль породила интерпретацию сновидений. Сон про Ирму обязан своей значительностью не только тому, что это был первый сон, детально проанализированный в «Толковании сновидений». В письме своему другу Флиссу Фрейд предается мечте о появлении таблички над его летним домом. Надпись будет гласить, что «в этом доме 24 июля 1895 года Тайна Сновидения открылась д-ру Зигм. Фрейду»[22]. Это и есть дата сна про Ирму.

Мы, таким образом, имеем дело с тридцатидевятилетним врачом, специалистом в области неврологии, живущим в Вене. Он был еврейским гражданином католической монархии, бывшей когда-то Священной Римской империей, германским подданным, находящимся под воздействием как либерализма, так и усиливающегося антисемитизма. Его семья быстро росла: в тот период его жена снова ждала ребенка. Он уже мечтал укрепить свое положение и свой доход получением академического звания. Однако это было весьма проблематично не только потому, что он был евреем, но также и потому, что в недавней совместной публикации со своим старшим коллегой д-ром Брейером он выступил с такими непопулярными и вызвавшими всеобщее недовольство теориями, что сам его соавтор, испугавшись, постарался отойти от Фрейда. Речь идет о книге «Этюды об истерии», в которой подчеркивается роль сексуальности в этиологии «защитных психоневрозов», то есть невротических нарушений, вызванных необходимостью защиты сознания от отвратительных и подавляемых идей, преимуще-

ственно сексуального характера. Молодой автор был весьма привержен этим идеям; с гордостью, часто омрачаемой отчаянием, он начал ощущать, что ему суждено сделать революционное открытие «небывалыми» средствами.

Фрейду пришло в голову, что в действительности сон был нормальным эквивалентом истерической атаки, «маленьким защитным психоневрозом». В истории психиатрии сравнение нормальных явлений с ненормальными не ново: греки называли оргазм «маленькой эпилепсией». Но если истерические симптомы, даже во сне, основаны на внутреннем конфликте, на непроизвольной защите против бессознательных мыслей, что могло бы служить оправданием для пациентов в том, что они не могут просто принять, долго помнить или последовательно использовать интерпретации, предлагаемые им психиатром? Вскоре Фрейду стало ясно, что для того, чтобы придать форму этим инструментам, необходим существенный сдвиг от физиологических понятий в сторону чисто психологических и от авторитарной медицинской техники к эмпатическому и интуитивному наблюдению и даже к самонаблюдению.

Следовательно, ситуация такова: будучи внутри академических кругов, которые, казалось, ограничивали его возможности, потому что он был евреем; в возрасте, когда он с тревогой заметил первые признаки старения и, конечно же, болезней; обремененный ответственностью за быстро растущую семью — ученый столкнулся с выбором: поставить свои способности на службу условной практике и исследованиям, что, как он уже показал, мог сделать, либо «обосноваться в самом себе» и дать миру новый взгляд на человека, демонстративно не осознающего лучшее и худшее в себе. Вскоре после сна про Ирму Фрейд написал своему другу Флиссу с нескрываемым ужасом, что, пытаясь объяснить механизм психологической защиты, он обнаружил, что объясняет что-то самое существенное в характере. Во время этого сновидения он знал, что должен сделать великое открытие, и слово *сделать* имеет здесь двойной смысл. Вопрос в том, будет ли он жить согласно сути своей идентичности, а эта суть позже была сформулирована как судьба исследователя-одиночки, отказывающегося от поддержки большинства. Но, конечно, его будущая работа была в стадии зарождения, и в любом случае он не мог всерьез сомневаться в том, что он состоялся лишь только в своих сновидениях.

Вечером, накануне сновидения, Фрейд испытал переживание, которое болезненно высветило его внутренние сомнения. Он повстречал коллегу Отто, который только что вернулся с летнего курорта. Там он встретил их общего друга, молодую женщину, бывшую пациенткой Фрейда, Ирму. Эта пациентка стараниями Фрейда излечилась от истерической тревоги, но не избавилась от некоторых соматических симптомов, таких, например, как неукротимая рвота. Перед отъездом в отпуск Фрейд предложил ей интерпретацию в качестве решения ее проблемы, но она не смогла принять ее. Сейчас Фрейд явственно услышал упрек в голосе Отто, говорящего о пациентке, которая показалась ему «лучше, но не совсем в порядке»; за упреком он почувствовал авторитет д-ра М., человека, который был весьма «значим в нашем кругу». По возвращении домой, находясь под впечатлением этого столкновения, Фрейд написал длинный отчет для д-ра М., объясняя свою точку зрения на заболевание Ирмы.

Он, очевидно, отправился спать с ощущением, что этот отчет прояснит дело настолько, насколько это мог сделать он сам. В эту ночь все персонажи, принявшие участие в этом случае, а именно Ирма, д-р М., д-р Отто и другой врач, д-р Леопольд, стали участниками сновидения.

«Большой холл, ряд гостей, которых мы принимаем, среди них Ирма, которую я немедленно отвожу в сторону как будто для того, чтобы ответить на ее письмо и упрекнуть ее за то, что она еще не приняла «решение» (его интерпретация)... Она отвечает: “Если бы вы только знали, какие боли меня терзали”».

Заинтересованный Фрейд отводит пациентку в угол, осматривает ее горло и действительно обнаруживает соматические симптомы, которые его озадачивают.

«Я быстро зову д-ра М., который повторяет обследование и подтверждает его результаты... Теперь мой друг Отто, тоже стоящий рядом с ней, и мой друг Леопольд выстукивают через одежду ее грудную клетку и говорят: «Внизу слева у нее имеется притупление», а также обращают внимание на инфильтрат на левом плече, который я могу ощутить (Фрейд имеет в виду: на своем собственном теле), несмотря на одежду. М. говорит: «Нет сомнения, что это инфекция, но это не имеет значения; может последовать дизентерия...» Мы точно знаем, как возникла

инфекция. Мой друг Отто не так давно сделал ей, когда она себя плохо чувствовала, инъекцию препарата пропила... пропилса... пропионовой кислоты... триметиламина (формулу которого я вижу перед собой, отпечатанную жирным шрифтом)... Нельзя было так опрометчиво делать эту инъекцию... Возможно также, что шприц был недостаточно стерилен».

Это сон врача и о врачах. Фрейд использовал этот сон, чтобы продемонстрировать, как сны реализуют желания.

«Результатом сновидения является то, что не я виноват в той боли, которая до сих пор мучает Ирму, в этом виноват Отто... Все оправдание (а этот сон не является ничем другим) живо напоминает защиту, выдвигаемую человеком, которого сосед обвиняет в том, что тот вернул ему чайник в плохом состоянии. "Во-первых, — оправдывается он, — я вернул чайник неповрежденным; во-вторых, в нем уже были дырки, когда мне его одолжили, и, в-третьих, я его вообще никогда не занимал"».

Переживания по поводу замечания д-ра Отто в предшествующий вечер о том, что Фрейд мог оказаться невнимательным доктором, — явное следствие пробудившихся детских ощущений собственной недостойности. Но, как мы могли видеть, они также ставят под сомнение принципы его идентичности, а именно его стремление работать и думать независимо. Ирма была не просто пациентом, она являла собой тестовый случай. И фрейдовская интерпретация истерии не была просто другой диагностической категорией, она была прорывом к изменившемуся образу человека. Для более высоких санкций человек обычно ищет определенный ритуал, и я предполагаю (исключительно для этой цели), что в сне про Ирму (как и в равнозначных «созидательных» сновидениях, таких, например, как трилогия сновидений Декарта) мы можем узнать очертания ритуального присоединения, обряд сновидения, который приносит встревоженному Фрейду санкцию на идеи греховного происхождения, которые на другом уровне сновидения высмеиваются, а в жизни — отталкиваются. Я проанализирую сон еще раз и в скобках обозначу то, что, по моему предположению, является признаком ритуала.

Праздничный вечер (церемонный сбор), резко выраженное ощущение общности (собрание) и доминантная позиция Фрейда (мы получаем) придают началу сновидения

облик церемонии, который между тем вскоре растворяется в беспокойстве о пациентке (изоляция, самообвинение). Преобладает настроение крайней необходимости. Фрейд быстро зовет д-ра М. (призыв к более высокому авторитету). На этот призыв о помощи ответил не только д-р М., но также д-р Леопольд и д-р Отто (предопределенный круг). По ходу обследования пациентки Фрейд внезапно чувствует и ощущает на *своем собственном теле* один из симптомов пациентки. Врач и мужчина, таким образом, слились с *пациентом* и *женщиной*, и этот «некто» становится *страдальцем* и *обследуемым* (прострация, подчинение). Подразумевается, что теперь именно он подлежит *осмотру* (разбирательство, признание). Д-р М. с большой уверенностью произносит что-то бессмысленное (ритуальная формула, латынь, древнееврейский язык), что кажется *магически эффективным*, оно пробуждает в видящем сон и других персонажах сновидения *непосредственную уверенность* (откровение) в том, что *причина* данного случая теперь ясна (магическая, божественная воля). Эта общая уверенность восстанавливает в сновидении интеллектуальное ощущение общности (общность, община), которая была утрачена, когда жена Фрейда и веселые гости исчезли. В то же время она восстанавливает у него чувство *принадлежности* (братства) к иерархической группе, *возглавляемой авторитетом* (священником), в которого *он имплицитно верит* (вера). Он немедленно извлекает пользу из его вновь обретенной благосклонности: он видит *формулу* перед глазами (откровение провидения), *напечатанную жирным шрифтом* (правда), и теперь он вправе переложить всю вину на д-ра О. (неверующего). Со *справедливым негодованием*, которое является наградой и оружием верующего, он теперь может считать своего обвинителя недобросовестным врачом.

Наличие этих ритуальных параллелей в сновидении Фрейда выдвигает вопросы, на которые я не буду пытаться здесь ответить. Фрейд, конечно, воспитывался как член еврейской общины преимущественно в католической культуре: могло ли все многообразие католического окружения запечатлеться в этом ребенке, представителе меньшинства? Многое говорит в пользу этого. Фрейд сообщил Флиссу, что в течение наиболее критических периодов своего детства, а именно когда он, «первенец молодой матери», должен был смиряться с появлением братьев и сестер, старая и

религиозно суеверная чешка водила его по всем церквам его родного города[23]. Он, очевидно, был настолько поражен такими событиями, что, приходя домой, проповедовал (по словам его матери) своей семье и показывал им, как Бог ведет себя; это, по всей видимости, относилось к священнику, которого он считал Богом. И кроме того, он описывал конфигурацию основного ритуала, который нашел свое выражение в других религиях: иудаизме, католицизме или каких-либо других. В любом случае человек, которому приснился сон про Ирму, является примером того, как можно временно найти место в «тесном» большинстве, в данном случае в медицинском мире, который сомневался в нем. В то же время сновидение защищает его от их упреков, позволяет ему присоединиться к ним в забавном ритуале, вновь оправдывает его повседневные занятия, связанные с потребностью исследовать, открыть и узнать.

Фрейд считает, что именно в юности «натуралистическая идеология» заняла у него место всей той религиозности, которая могла быть пробуждена иудаизмом или (в раннем детстве) всепоглощающим католицизмом. И если мы разглядим в этом сновидении стареющего мужчины что-то, связанное с половым созреванием, мы, возможно, коснемся существа дела, неоднократно отмеченного в письмах Фрейда, а именно «повторяющегося отрочества» творческих умов. Творческий ум проявляется в жизни человека неоднократно, а устанавливается в позднем отрочестве или ранней молодости. «Нормальный» индивид сочетает в себе различные запреты и ответственность идеального «я» в здравомыслящем, скромном единстве, более или менее хорошо закрепленном в техниках, которыми он владеет, а также в ролях, которые им сопутствуют. Беспокойный индивид, особенно оригинал, более или менее успешно ослабляет постоянно оживающий Эдипов комплекс путем нового утверждения своей уникальной идентичности. Там, где *позитивная идентичность* может быть соединена с высшими идеалами, как это было в случае с Фрейдом, ведущими к новой форме догматической и ритуальной ассоциации (психоаналитическая техника, психоаналитическое движение и психоаналитические институты), негативная идентичность имеет свои корни в типах, презираемых в детстве. Тщательное прочтение сновидения Фрейда делает понятным, что негативная идентичность, которую он изжил (или устранил сном), есть нечто род-

ственное еврейскому Schlemiel или немецкому Dummkopf. В любом случае одним из наиболее существенных и значимых событий его ранней юности (в соответствии с «Толкованием сновидений») было утверждение его отца (при особенно смущающих обстоятельствах, связанных с тем, что мальчик мочится в неподходящем месте) о том, «что мальчик никогда ничего не достигнет». Позже в сновидении про Ирму взрослый мужчина, который был близок к тому, чтобы достичь чего-то, должен бороться с этим «проклятием», и это, можно подозревать, и есть самое главное, то есть достижение, помимо всего прочего, было поражением отцовского предсказания, поражением, которого, конечно же, горячо желают многие отцы, бросающие вызов своим маленьким сыновьям, стыдя их за что-то.

2. Последний сон Уильяма Джемса

Для того чтобы вернуться к нашему второму свидетелю, мы сошлемся на самый, по-видимому, проницательный отчет о смешении идентичности в сновидении[24] — проницательный потому, что герой сновидения мог вновь отстаивать свою позитивную идентичность исследователя и записать это сновидение на следующий же день. Важна также и дата его сновидения, ибо это, возможно, был последний сон, записанный Джемсом, и точно последний из опубликованных им; он умер через полгода после этого, в возрасте шестидесяти четырех лет. Неудивительно поэтому, что в данном сновидении спутанность идентичности — часть внутренней бури, означающей потерю опоры в мире, вид бури, которую Шекспир в «Короле Лире», в соответствии с законом жанра, проецирует на природу и все же отчетливо обозначает ее как внутреннюю бурю. Джемс имел это сновидение в период, когда он искал выход за пределы «натуралистической психологии» и понимания определенных мистических состояний, в которых человек превосходит свои собственные границы. Он жалуется между тем, что этот сон был «точной противоположностью мистическому озарению», и это позволяет нам считать его продуктом конфликта между сохраняющимися надеждами человека на высшую Целостность и его полным отчаянием.

Действительно, Джемс иллюстрирует многое из того, что мы уже сказали здесь в описательных терминах, настолько близких нашим обобщениям, что этот сон привлек

мое внимание лишь недавно. Нет сомнения, что Джемс из личного опыта знал то, что мы описали как «пограничное» психотическое состояние[25]. Тем не менее он, очевидно, никогда не подходил столь близко к истинному психотическому опыту, как в этом сновидении, — факт, который я приписываю глубине «полного отчаяния», охватившего его на этой стадии жизни.

«Я отчаиваюсь дать читателю какую-либо идею по поводу спутанности сознания, в которую я был брошен этим наиболее сильным переживанием всей моей жизни. Я подробно описал это через пару дней после того, как это произошло, и дополнил описание некоторыми размышлениями. Даже если это не прольет света на мистицизм, я надеюсь, что эта запись заслуживает публикации хотя бы просто как вклад в описательную литературу по патологическим психическим состояниям. Я предлагаю вниманию читателей все именно так, как оно было записано, изменив лишь несколько слов, чтобы сделать объяснение более понятным».

Поскольку я не хочу прерывать этот отчет изумленными комментариями, я попрошу читателя обратить внимание на ясность, с какой характеристики острой спутанности идентичности появляются в этом сновидении: прерывистость времени и пространства; сумерки между сном и пробуждением; потеря границ «эго»; переживание захваченности сном, а не активного владения им и многие другие критерии, с которыми встретится читатель.

«Сан-Франциско, февраль, 14, 1906 г. Предпоследней ночью я проснулся в своей постели в Стенфордском университете около 7.30 утра после спокойного сна и, «собирая свой пробуждающийся ум», неожиданно обнаружил, что все у меня перемешалось с реминисценциями сновидения совершенно другого типа, которое как бы въехало в первый сон, тщательно проработанный и трагический. Я решил, что это было предыдущим сновидением того же сна, но кажущееся смешение двух сновидений было чем-то очень подозрительным, чего я никогда прежде не испытывал.

На следующую ночь (с 12 на 13 февраля) я внезапно пробудился от первого сна, который оказался очень тяжелым, в самой середине сновидения, обдумывая которое я неожиданно запутался в содержании двух других сновидений, которые сильно перемешались с первым, и я

никак не мог выхватить оригинал. «Откуда приходят эти сны?» — спросил я. Они были близки *мне* и свежи, как будто я только что их увидел. И все же они были далеки от *первого сновидения*. Все три сновидения были совершенно не связаны друг с другом по содержанию. Один носил атмосферу кокни, это случилось с кем-то в Лондоне. Два других были американскими. Один включал в себя примерку пальто (был ли это тот сон, от которого я пробудился?), другой был разновидностью кошмара, и там действовали солдаты. Каждый имел совершенно отличную эмоциональную атмосферу, свою индивидуальность. И еще, в момент, когда все эти три сновидения проникли друг в друга и я казался себе их общим очевидцем, мне отчетливо казалось, что они не шли последовательно друг за другом на протяжении одного сна. Но *когда же*? Опять же не в предшествующую ночь. *Когда же* и от *какого* из них я пробудился? Я *не могу этого сказать*: каждый был так же близок ко мне, как и другой, и я, казалось, принадлежу трем различным сновидениям одновременно, ни один из которых не соединяется с другими или с моим бодрствованием. Я начал чувствовать странную спутанность и *испуг* и попытался заставить себя окончательно проснуться, но мне казалось, что я *уже* проснулся. Холодок страха пробежал по моему телу: *не проникаю ли я в сновидения других людей*? Не есть ли это «телепатия»? Или это вторжение второй (или третьей) личности? Или это тромбоз кортикальной артерии и начало общего «помешательства» и дезориентации, которая только начинается, и кто знает, насколько далеко зайдет?

Несомненно, я терял ощущение своего «я» и получал представление об умственном истощении, которого я никогда не знал прежде, его ближайшим аналогом были погружение, головокружительная тревога, которую человек испытывает, заблудившись в лесу и окончательно осознав это. Большинство человеческих бед имеют конец. Большинство страхов указывают направление к кульминации. Наибольшее зло человек может встретить, выступая против чего-то в своих принципах, в своем мужестве, воле, гордости. Но в этом переживании все было диффузией, шедшей из центра, и точка опоры стерлась, связь разрушалась тем быстрее, чем сильнее я в ней нуждался. Между тем яркие воспоминания о различных сновидениях попеременно приходят ко мне. *Чьих? Чьих? Чьих?* Если я

не мог *соединить* их, я проваливался в море без горизонта и границ и *терял* себя. От этой мысли снова «мороз по коже», и с ней страх нового погружения в сон и возобновление всего процесса. Это началось предыдущей ночью, но тогда спутанность сделала лишь один шаг и казалась просто любопытной. *Это* был второй шаг, а где я окажусь после третьего шага?»

Этот отчет, по-моему, восстанавливает (как это делало описание сновидения Фрейда) активность видящего сон в терминах его профессиональной идентичности. Подойдя вплотную к тому, чтобы стать «пациентом», и ощущая близость «конца» жизни, он принимает прерогативу психолога на «объективную» эмпатию и систематическое сострадание, и это в словах, которыми мы были бы более чем рады закончить наше собственное описание смешения идентичности.

«В то же время я обнаружил, что весь наполнен новой жалостью к личностям, впадающим в слабоумие с распадом или испытывающим «раздвоение личности»; но чего *они* хотят в ужасном течении своего бытия в привычном «я», так это какой-либо устойчивости. Мы должны убеждать и переубеждать их, что мы будем стараться до конца узнать их настоящее «я». Мы должны разрешить им знать, что мы с *ними* и не являемся (как это им часто кажется) частью мира, который подтвердит и обнародует их отклонения.

Очевидно, я весь был во власти своего рефлексивного ума; и, когда я объективно размышлял о ситуации, в которой я находился, мои страхи прекращались. Но имелась тенденция к повтору сновидений и реминисценций, и к повтору яркому; и тогда смешение начиналось вновь, с ощущением страха, что оно будет развиваться дальше.

Затем я посмотрел на часы. Половина первого! Полночь, следовательно. И это дало мне другую рефлексивную идею. Обычно, отправляясь спать, я проваливаюсь в очень глубокую дремоту, из которой я никогда не выхожу раньше двух часов. Следовательно, я никогда не пробуждался от полуночного сна, как сделал это сегодняшней ночью, поэтому мое обычное сознание не сохраняло воспоминаний от полуночных сновидений. Когда я проснулся ночью, мой сон казался ужасно тяжелым. Состояние сна поддерживает память сновидения, так почему бы два последовательных сновидения (когда два из трех *были* по-

следовательными) не могли быть воспоминаниями *полуночных сновидений предыдущей ночи*, провалившихся вместе с настоящим сновидением в память о нынешнем пробуждении? Почему, короче говоря, я не мог быть полуночным слоем моего прошлого?

Эта идея принесла большое облегчение, я чувствовал себя теперь так, как если бы я полностью владел своим разумом... Казалось, таким образом, что порог между рациональным и болезненным состоянием у меня несколько понизился, как если бы аналогичная спутанность могла находиться очень близко к пределам возможностей каждого из нас».

И даже как порой кажется, что сновидения Фрейда (особенно про Ирму) были увидены лишь для того, чтобы раскрыть природу сновидений, так Джемс заканчивает свое описание утверждением, что это сновидение, являвшееся «точной противоположностью мистического озарения», было пронизано «чувством того, что реальность была обнажена», — чувством, которое он обнаружил в себе, чтобы быть «мистическим в высшей степени». И в своем стремлении и близости к переходу он заканчивает предположением, что это его сновидение было увидено «в действительности», но только другим «я», загадочным незнакомцем.

Глава V
Теоретическая интерлюдия

Я должен теперь задать несколько теоретических вопросов — вопросов, формулировка которых заняла десятилетия, — от лица моих коллег и тех исследователей человеческого поведения, которым близки по духу наши клинические и теоретические заботы. В настоящее время это неизмеримо большая группа людей. Но не для каждого читателя все в этой главе окажется близким его жизненному опыту и интересам.

1. «Эго» и окружение

До сих пор я почти преднамереннно (мне нравится так думать) пробовал использовать термин «идентичность» во многих различных смыслах. В одном случае он, казалось, относится к сознательному чувству уникальности индивида, в другом — к бессознательному стремлению к непрерывности жизненного опыта, а в третьем — к солидаризации с идеалами группы. Иногда он, по-видимому, употреблялся как в обыденной речи, был разговорным и наивным, в других случаях оказывался связанным с понятиями психоанализа и социологии. И не раз это слово соскальзывало с пера больше по привычке, благодаря которой многое кажется хорошо знакомым, прежде чем полностью прояснится. Поскольку, впервые сообщив о предмете исследования (в гл. II «Записок клинициста»), я объявил, что изучаю «эго-идентичность», то теперь я должен еще раз вернуться к понятию «эго».

Идентичность в самом общем смысле совпадает, конечно, во многом с тем, что целым рядом исследователей включается в понятие «я» в самых различных его формах: «я-концепции»[1], «я-системы»[2] или того флюктуирующего

«я-опыта», который описан Шилдером[3], Федерном[4] и другими. В психоаналитической «эго-психологии» ранее всех эта общая область наиболее ясно была очерчена Хартманом, когда при обсуждении так называемого либидного катексиса «эго» в нарциссизме он пришел к заключению, что речь идет скорее о «я», которое таким образом катексируется. Он отстаивает термин «саморепрезентация», противопоставляя его «репрезентации объекта»[5]. Эта саморепрезентация в определенном смысле была предвосхищена Фрейдом в его периодических отсылках к позиции «эго» по отношению к «я» и к флюктуирующим катексисам, которые даруют это «я» подвижным состоянием самоуважения[6].

Сначала мы здесь займемся генетической непрерывностью такой саморепрезентации — непрерывностью, которая, несомненно, должна быть отнесена за счет работы «эго». Никакой другой внутренний фактор не мог обеспечить избирательного выделения значимых идентификаций на всем протяжении детства и постепенную интеграцию образов «я», достигающую кульминации в чувстве идентичности. По этой причине я вначале и назвал идентичность «эго-идентичностью». Однако, избрав название, аналогичное «эго-идеалу», я поставил вопрос о взаимоотношениях «эго-идеала» и «эго-идентичности».

Фрейд относил интернализацию воздействий окружения к функциям «супер-эго» или «эго-идеала», которые должны представлять приказы и запрещения, исходящие от окружения и его традиций. Давайте сравним два утверждения Фрейда, относящихся к этому вопросу.

«"Супер-эго" ребенка в действительности строится не по модели родителей, а по модели «супер-эго» родителей; оно перенимает то же самое содержание, становится проводником традиций и всех вечных ценностей, которые передавались этим путем от поколения к поколению. Вы можете легко догадаться, насколько важно признание «супер-эго» для понимания социального поведения человека, например проблемы делинквентности, и, возможно, для обеспечения нас некоторыми практическими советами по образованию... Человечество никогда не живет полностью в настоящем. Идеологии «супер-эго» увековечивают прошлое, традиции племени и народа, которые поддаются, хотя и медленно, влиянию настоящего, новых тенденций

развития и, пока они действуют через «супер-эго», играют важную роль в жизни человека»[7].

Здесь необходимо отметить, что Фрейд говорит об «идеологиях “супер-эго”», понимая «супер-эго» как некое вместилище идей; тем не менее он также отсылает к нему как к «проводнику», то есть к части психической системы, через которую такие традиционные идеи и идеалы действуют. Очевидно, что под «идеологиями супер-эго» Фрейд имеет в виду нечто подсознательное в соответствии с близостью «супер-эго» к архаике и что в то же самое время он приписывает им магическую внутреннюю принудительность. Но очевидно также, что термин «идеология» используется им в более широком смысле, чем при сугубо политическом употреблении; я в свою очередь также пытался рассматривать идеологию как психологический факт и, обязательно связывая ее с политическими феноменами, не объяснял ими.

Во втором утверждении Фрейд признает также и социальную сторону «эго-идеала».

«“Эго-идеал” очень важен для понимания психологии группы. Помимо своей индивидуальной стороны, этот идеал имеет социальную сторону; он является также общим идеалом семьи, класса или нации»[8].

Очевидно, что здесь начинает проводиться различие между терминами «супер-эго» и «эго-идеал», основывающееся на их разном отношении к онтогенетической и филогенетической истории племени. «Супер-эго» понимается как более архаичное, более полно интернализованное и более бессознательно репрезентирующее врожденную склонность человека к развитию примитивного, категорического сознания. «Супер-эго», родственное ранним интроекциям, остается поэтому ригидно мстительным и карающим внутренним агентом «слепой» морали. Напротив, «эго-идеал», как представляется, более гибко и сознательно связан с впитанными в детстве идеалами определенной исторической эпохи. Он ближе к той функции «эго», которая обозначается как испытание реальности: идеалы могут изменяться.

Тому, что я некогда назвал «эго-идентичностью», следовало бы быть даже еще ближе к меняющейся социальной реальности, поскольку оно должно было испытывать, отбирать и интегрировать в свете идеологической атмосферы

юности те образы «я», которые проистекали из психосоциальных кризисов детства. Можно сказать, что, в то время как представления «эго-идеала» репрезентируют установку стремиться-к-никогда-не-достижимым-полностью идеальным целям для «я», «эго-идентичность» характеризуется по действительно достигаемому, но всегда-пересматриваемому чувству реальности «я» в социальной реальности.

Однако при применении слова «я» в смысле саморепрезентации Хартмана открываются возможности для радикального обсуждения этой терминологии. «Эго», если его понимать как центральный и частично бессознательный организующий фактор, должно на любой данной стадии жизни иметь дело с меняющимся «я», требующим синтеза с теми «я», которые остаются в прошлом, и теми, которые предвосхищаются в будущем. Это предположение, видимо, применимо к телесному «эго», про которое можно сказать, что оно является частью «я», обеспечиваемой опытом тела, и поэтому более точно могло быть названо *«телесное "я"»*. Предположение может быть отнесено и к *«эго-идеалу»* как представителю идей, образов и форм, которые обслуживают постоянное сравнение с *«идеальным "я"»*. Это предположение, наконец, следовало бы применить и к части того, что я назвал «эго-идентичностью», а именно той, которая состоит из ролевых образов. То, что могло быть в результате названо *«я-идентичностью»*, возникает из жизненного опыта, в процессе которого временно спутанные «я» успешно реинтегрируются в ансамбль ролей, также гарантирующих социальное признание. Таким образом, можно сказать, что структура идентичности имеет «я-аспект» и «эго-аспект».

«Эго-идентичность», далее, — это результат синтезирующей функции на одной из границ «эго», а именно границе с «окружением», каким является социальная реальность, как она передается ребенку в течение следующих один за другим кризисов детства. В этой связи идентичность следует признать наиболее важным достижением подросткового «эго», поскольку оно помогает одновременно и в сохранении постпубертатного «ид» и в приведении в равновесие по-новому призываемое в это время «супер-эго», а также в умиротворении часто довольно возвышенного «эго-идеала» — все в свете возможности предвидеть будущее, структурированное по идеологическому образу

мира. Можно в таком случае говорить об «эго-идентичности», когда обсуждается синтезирующая функция «эго» и «я-идентичности», когда обсуждаются образы «я» и ролевые образы индивида.

Возможно, именно здесь уместно кратко обсудить, почему я отказался от ранее использовавшегося мной термина «диффузия идентичности», заменив его термином «спутанность идентичности». На неправильный смысл первого мне неоднократно указывали, и особенно коллеги-антропологи. У них наиболее общее значение термина «диффузия» — строго пространственное, подразумевающее центробежное распределение элементов. При диффузии культуры, например, технологический объект, художественная форма или лингвистическая единица могут перемещаться посредством миграции или как бы пошаговой передачи от одной культуры к другой, более отдаленной. При таком применении термина не подразумевается ничего беспорядочного или спутанного. Диффузия идентичности, напротив, предполагает расщепление образов «я», потерю центра и рассеивание. Возможно, было бы лучше остановиться на последнем слове, хотя рассеивание опять предполагало бы, что идентичность может быть передана от одного ко многим, а не распадаться внутри самой себя, тогда как «спутанность», возможно, слишком радикальное слово; юный человек может быть в состоянии мягкой диффузии идентичности, совершенно не чувствуя спутанности.

Но так как «спутанность» — слово, которое явно больше подходит как для субъективных, так и для объективных аспектов описываемого состояния, наилучшим будет представить состояние спутанности в виде континуума, на одном конце которого будет «мягкая» спутанность, а на другом — «отягченная» и «пагубная».

2. Спутанность, перенесение и сопротивление

Мне кажется, именно теперь стоит обратиться к предмету в целом, исходя из традиционного фокуса клинического наблюдения.

Во время психотерапии некоторые пациенты переживают фазу особой злобности. Хотя глубина регрессии и опасность, проистекающая из нее, должны, конечно, руководить нашими диагностическими решениями, важно с

самого начала распознать механизм, присутствующий в таких поворотах к худшему: я должен назвать его «твердым основанием аттитюда». Он состоит из квазипреднамеренного отказа пациента от растягивания регрессии, радикальных поисков «твердого основания», то есть как конечной границы регрессии, так и наиболее подходящего крепкого основания для обновленного продвижения. Допущение таких преднамеренных поисков «основной линии», по-видимому, подводит «регрессию на службе “эго”» Эрнста Криса к опасной крайности. Но тот факт, что выздоровление наших пациентов иногда совпадает с обнаружением ранее скрытых художественных дарований, предполагает дальнейшее изучение именно этой критической точки.

Элемент преднамеренности, добавленный здесь к «истинной» регрессии, часто выражается в распространяющейся на все вокруг насмешке, характеризующей первоначальные терапевтические контакты с этими пациентами, и в той странной атмосфере садомазохистского удовлетворения, из-за которой часто трудно понять и еще труднее поверить, что их самообесценивание и готовность «пусть «эго» умрет» таят в себе опустошающую искренность. Как сказал один пациент: «То, что люди не знают, как преуспеть, — это довольно плохо. Но хуже всего, что они не знают, как потерпеть неудачу. Я решил по-настоящему потерпеть неудачу». Эту почти «смертоносную» искренность надо уметь увидеть в твердой решимости пациента ничему не доверять, но, не доверяя, все же из темного уголка сознания (действительно, часто уголком глаза) наблюдать за новым простым и откровенным жизненным опытом, чего бывает достаточно для возобновления экспериментирования во взаимной доверчивости. Психотерапевт, сталкиваясь с откровенно насмехающимся и дерзким молодым человеком, должен взять на себя обязанность (но не принять «позу») матери, открывающей ребенку, что жизнь заслуживает доверия. В центре лечения — потребность пациента очертить себя заново и таким образом перестроить основание своей идентичности. Вначале эти очертания сдвигаются резко: сильные сдвиги от границ «эго» в опыте пациента происходят буквально на наших глазах. Его подвижность может вдруг смениться «кататоническим» торможением; внимательность — превратиться

в непреодолимую сонливость, вазомоторная система — дать сверхсильную реакцию, вплоть до ощущения потери сознания; чувство реальности — уступить место деперсонализации или остатки самонадеянности — исчезнуть в миазмах потери чувства физического существования. Осторожное, но твердое расследование раскроет возможность того, что «атаке» предшествовал ряд противоположно направленных импульсов. Первый и внезапно возникающий интенсивный импульс — это желание полностью уничтожить психотерапевта, сопровождающийся, по-видимому, лежащим в основе «каннибалистическим» желанием поглотить его сущность и его идентичность. Одновременно, или чередуясь, могут существовать и страх, и желание быть поглощенным и, следовательно, достичь идентичности, будучи абсорбированным в сущности психотерапевта. Обе тенденции, конечно, часто бывают скрыты или обнаруживаются в соматических симптомах на протяжении длительных периодов времени, в течение которых они проявляются в завуалированной форме только после терапевтического сеанса. Такими проявлениями могут быть импульсивное возбуждение при промискуитете без сексуального удовлетворения или какого-либо чувства участия; полностью поглощающие ритуалы мастурбации или приема пищи; чрезмерное питье или безудержное вождение автомобиля или такие саморазрушающие действия, когда человек беспрерывно читает, слушает музыку, забыв про еду и сон.

В этом видны наиболее крайние формы того, что может быть названо «сопротивляемостью идентичности», которая, далеко не исчерпываясь представленными здесь случаями, является универсальной формой сопротивления, регулярно переживаемой, но часто нераспознаваемой в некоторых курсах психоанализа. В обычной, более мягкой форме сопротивляемость идентичности проявляется в страхе пациента, что аналитик, обладающий особой личностью, квалификацией или философией, может случайно или преднамеренно разрушить слабое ядро идентичности пациента и навязать тому свое собственное. Я должен без колебаний сказать, что некоторые из широко обсуждаемых неразрешаемых неврозов перенесения у пациентов, так же как и у тех, кто только готовится стать психоаналитиками, — прямой результат того, что сопротивляемость иден-

тичности если и подвергается анализу, то лишь несистематическому. В таких случаях пациент может на протяжении всего курса психоанализа сопротивляться возможному вторжению в его идентичность ценностей психоаналитика, хотя сдается во всем остальном; или впитать из идентичности психоаналитика больше, чем он может переработать; или он может прекратить посещать сеансы психоанализа и на всю жизнь остаться с чувством, что он не обрел чего-то существенного — того, что обязан был дать ему психоаналитик.

В случаях острой спутанности подобная сопротивляемость идентичности становится основной проблемой психотерапевтической дуэли. Это общая проблема всех разновидностей психоаналитической техники: доминирующее сопротивление должно быть признано в качестве главного ориентира техники, а интерпретацию следует приспособить к способности пациента использовать ее. В этих случаях пациент саботирует коммуникацию до тех пор, пока не примет решения о некоторых основных (пусть противоречивых) результатах. Пациент настаивает на том, чтобы психотерапевт принял его негативную идентичность как реальную и необходимую (такую, какова она есть или скорее какой была), не считая, что такая негативная идентичность — «это все, что в пациенте есть». Терапевт, способный выполнить оба эти требования, должен терпеливо, переживая множество суровых кризисов, доказывать, что он может понимать пациента, сохранять привязанность к нему, не поглощая его и не предлагая себя в качестве жертвенной пищи. Только после этого (хотя и с трудом) могут возникать более известные формы перенесения.

Я лишь намекнул на феноменологию спутанности идентичности, как она отражена в наиболее заметных и непосредственных перенесениях и сопротивлениях. Индивидуальное лечение, однако, только одна грань психотерапии в обсуждаемых случаях. Перенесения этих пациентов остаются диффузными, а их поступки — неизменно опасными. Поэтому некоторые из них должны находиться в стационаре, где можно заметить и ограничить их выход за пределы психотерапевтических взаимоотношений и где первые шаги, выходящие за пределы заново завоеванного биполярного отношения к психотерапевту, встречают немедленную поддержку доброжелательных медицинских се-

стер, собратьев-пациентов и компетентных преподавателей, представляющих достаточно широкий выбор областей деятельности.

В условиях стационара продвижение пациента может быть спланировано, как это сформулировала молодая пациентка, по установленной «прямой» от попыток эксплуатировать и провоцировать больничное окружение к возрастающей способности использовать его и, наконец, до возрастающей компетентности, позволяющей покинуть этот вид институциализированного моратория и вернуться на свое старое или занять новое место в обществе. Больничное сообщество позволяет исследователю-клиницисту быть участвующим наблюдателем не только при персональном лечении отдельного пациента, но также в «терапевтическом проекте», который должен отвечать законным требованиям пациентов, имеющих общую жизненную проблему — в данном случае спутанность идентичности. Само собой разумеется, что такая общая проблема получает толкование, которое больничное сообщество приспосабливает к трудностям, специфически усугубленным указанной проблемой. В этом случае стационар становится полностью спланированным институциализированным миром-между-мирами; это дает молодому человеку поддержку в перестройке тех наиболее витальных «эго-функций», от которых он (даже если когда-либо создавал их) отказался. Отношения с личным психотерапевтом — краеугольный камень для создания нового и честного содействия — функции, которая должна повернуть пациента лицом к очень смутно постигаемому и чрезвычайно энергично отвергаемому будущему. Все же именно в больничном сообществе пациент делает первые шаги в обновленном социальном экспериментировании. По этой причине первостепенное значение имеет программа деятельностей (не «трудотерапия»), позволяющая каждому пациенту развивать свои таланты под руководством профессиональных преподавателей, которые занимаются своим ремеслом с полной ответственностью, но не принуждают пациента ни к каким поспешным профессиональным выборам. Крайне необходимо, чтобы пациент знал свои права и обязанности, а также права и обязанности персонала. Отсюда ясно, что условия такого сообщества, как стационар, характеризуются не только потребностями

идентичности тех, кому случается быть пациентами, но также и тех, кто решает стать опекунами своих братьев и сестер. Широко дискутируются пути, по которым профессиональная иерархия распространяет функции, награды и статус такого опекуна и открывает двери множеству контр- и «кросс-перенесений», которые на самом деле превращают стационар в точное воспроизведение дома. С современной точки зрения подобные дискуссии раскрывают опасность таких случаев, когда больной берет как основу для своей кристаллизующейся идентичности именно роль пациента, так как она оказывается наполненной смыслом больше, чем любая потенциальная идентичность, испытанная прежде.

3. Я, моя «самость» и мое «эго»

Для того чтобы внести ясность и даже определить количество установок человека по отношению к себе, философы и психологи создали такие понятия, как «я» или «самость», творя из слов воображаемые реальности. Мне кажется, обыденный язык может многое сказать об этом невразумительном предмете.

Никто из тех, кто работал с аутичными детьми, никогда не забудет ужаса, который испытываешь, наблюдая, как отчаянно они борются, чтобы понять значение простых слов «я» и «вы», и как невозможно для них, для их языка, заранее допустить *переживание* непрерывного «я». То же можно сказать о работе с молодыми людьми, имеющими глубокие нарушения, когда сталкиваешься с внушающей страх неспособностью пациентов *чувствовать* слова «я» и «ты» — которые умом они понимают — с их боязнью, что жизнь может пройти, а они так и не узнают, что́ означает чувство «я» и «ты» в любви. Никакое другое несчастье не сделает настолько очевидным то, что и «эго-психология» в одиночку, сама по себе не может охватить все те вечные, самые важные человеческие проблемы, которые до сих пор психология оставляла поэзии или метафизике.

То, что́ «я» отражает, когда оно видит или созерцает тело, личность и роли, которыми оно прикреплено к жизни, — не зная, где оно было прежде или будет после, — это различные «самости», которые составляют нашу еди-

ную сложную «самость». Между этими «самостями» существуют постоянные и часто подобные шоку переходы: рассмотрим обнаженную телесную «самость» в темноте, а затем вдруг освещенную; одетую «самость» среди друзей или в компании выше- и нижестоящих; только что пробудившуюся сонную «самость» или выходящую освеженной из прибоя; «самость», преодолевающую тошноту или обморок; телесную «самость» в сексуальном возбуждении или в ярости; «самость» компетентную и беспомощную; «самость» верхом на лошади, в кресле дантиста и «самость», прикованную и пытаемую людьми, которые также говорят о себе «я». Действительно, требуется здоровая личность, для того чтобы открыто сказать «я» во всех этих условиях, так чтобы в любой данный момент это «я» могло свидетельствовать о «я» осмысленно непрерывной «самости».

Соперники «самостей» — это «другие», с которыми «я» все время сравнивает свои «самости» — кто из них лучше, а кто хуже. Поэтому я бы поддержал предположение Хейнца Хартмана о том, что психоаналитикам следует перестать употреблять слово «эго», когда они имеют в виду «самость» как объект «я» и, например, говорят об идеальной «самости», а не об «эго-идеале» как образе того, на что наша «самость» должна быть похожа, чтобы нам понравиться, а также не говорить о «самоидентичности», когда речь идет об «эго-идентичности», постольку поскольку «я» постигает свои «самости» как продолженные во времени и единообразные по сути. Ибо, если «я» восхищается образом своей телесной «самости» (как делал Нарцисс), оно влюблено не в свое «эго» (так как в противном случае Нарцисс мог бы сохранить душевный покой), но в одну из своих «самостей» — отраженную телесную «самость», которая постигалась аутоэротизированными глазами.

Только после того, как мы отделили «я» и «самости» от «эго», спросим: можно ли оставить за «эго» ту роль, которую ему приписывали с тех времен, когда в самом начале научной жизни Фрейда этот термин пришел из неврологии в психиатрию и психологию: роль внутреннего «агента», гарантирующего наше непрерывное существование посредством постоянного отбора и синтеза всех впечатлений, эмоций, воспоминаний, импульсов, которые пы-

таются войти в наше мышление и требуют нашего действия и которые разорвали бы нас на части, если бы не были отсортированы и управляемы постепенно развивающейся и очень бдительной системой отбора.

Следует быть по-настоящему решительным и сказать, что «я» полностью сознательно и что мы действительно осознаем постольку, поскольку можем сказать «я» и именно это «я» иметь в виду. (Пьяный скажет «я», но его глаза опровергнут это, и позже он не вспомнит, о чем в пьяной уверенности говорил). «Самости» большей частью предсознательны. Последнее означает, что они могут стать сознательными, когда «я» сделает их таковыми и настолько, насколько «эго» согласится с этим. «Эго» бессознательно. Мы осознаем работу «эго», но никогда — само «эго». Пожертвовать хоть чем-нибудь в понятии бессознательного «эго», которое, управляя внутренним миром, делает для нас то (как сердце и мозг), что мы никогда не смогли бы «вычислить» или спланировать сознательно, — значило бы отказаться от психоанализа как инструмента, а также (выражаясь в духе последователей Фомы Аквинского) от красоты, которую только психоанализ может заставить нас увидеть. С другой стороны, игнорировать сознательное «я» в отношении к его существованию (как это делала психоаналитическая теория) — значит вычеркнуть ядро человеческого самосознания, способность к которому, в конце концов, делает возможным самоанализ.

Но кто или что является соперником «эго»? Во-первых, конечно, «ид» и «супер-эго» и, затем, — так гласит теория — «окружение». Первые два термина по-английски выглядят неуклюже — в английском не культивируется академически-мифическое великолепие немецкого, где «das Es» или «das Ueber-Ich» всегда не что-то существующее объективно, подобно вещи, но нечто, данное сверхъестественно и изначально. Общая задача «эго» в простейшем выражении — преобразовывать пассивное в активное, превращать навязанное соперниками в желаемое. Это верно на внутреннем рубеже, где то, что испытывается как «ид», должно стать привычным, даже прирученным и тем не менее максимально приятным; где то, что переживается как уничтожающее бремя сознания, должно стать сносным, даже «хорошим» сознанием. Это же многократно

было ясно продемонстрировано в процессе психоанализа, когда можно было видеть, как парализованное «эго» становилось пассивным или, точнее, лишенным активности в своих функциях — защитной и адаптивной. Все же «ид» и супер-эго» могут действительно быть союзниками «эго», что проявляется, например, в сексуальной распущенности и справедливом поступке.

Еще один соперник «эго» — «окружение», которому в этом качестве недостает специфичности. Как уже отмечалось, это следствие старомодной привычки натуралиста говорить «именно этот» организм и «его» окружение. Экология и этология решительно вышли за пределы этого упрощения. Представители одного и того же вида и других видов всегда являются частью универсума (Uniwelt) один другого. К тому же об этом говорит и признание того факта, что человеческое окружение социально и что *внешний мир «эго» составлен из «эго» других*, значимых для него. Они значимы, поскольку на многих уровнях, как грубой, так и тонкой коммуникации, все мое существо чувствует в них готовность принять способ, которым мой внутренний мир упорядочивается и включает их и который делает меня в свою очередь готовым принять тот способ, которым они упорядочивают свой мир и включают меня. Взаимное подтверждение в таком случае может зависеть от активации моей сущности и сущностей тех, с кем я общаюсь. Говоря об этом, я должен ограничить значение термина *взаимность*, в котором заключен секрет любви, признав неизбежность *обоюдного* отрицания: законности возражения против того, чтобы какие-то люди заняли свое место в моем мире и законности их права не пускать меня в свой мир.

Ничто в природе, по всей вероятности, не напоминает ненависти, которую вызывает такое отрицание, и ничто не напоминает амбивалентности, которая делает нас неуверенными в том, как в этих отношениях мы соотносимся друг с другом, хотя смесь ярости, дискомфорта и страха, проявляемая некоторыми животными в неопределенных ситуациях, и громадная аффективная насыщенность церемониалов приветствия (их и наших) позволяют задуматься о филогенетических предпосылках «амбивалентности». Во всяком случае, главная сложность человеческой жизни — это коммуникация на уровне «эго», где «эго» каждого

человека проверяет всю информацию, получаемую сенсорно и чувственно, лингвистически и подсознательно, для подтверждения или отрицания его идентичности.

Постоянное усилие, упорядочивающее все эти процессы вместе на психосоциальной «территории» доверяемых взаимностей и определяемых обоюдных отрицаний, и есть то, что мы имеем в виду под «групповым "эго"». Я уже указывал на добавочное осложнение: граница этой территории проходит точно через каждую составляющую «эго», деля его на позитивную и негативную идентичности. Здесь вновь конфликт внутри (как амбивалентность снаружи) вызывает специфически человеческую тревожность, и, только когда в наших связанных мирах мы отчетливо подтверждаем или отрицаем сами себя и друг друга, возникает вопрос, идентичность ли это, психосоциальная идентичность.

Но «я» не что иное, как словесное утверждение, согласно которому я чувствую, что я — это центр сознания в мире опыта, где я имею последовательную идентичность, и что я владею моим разумом и способен выразить свои мысли и ощущения. Неразложимый на отдельные составляющие аспект этого опыта может оправдать тот субъективный ореол, который означает, что я жив, что я и *есть* сама жизнь. Поэтому соперником «я» может быть, строго говоря, только божество, которое одолжило этот ореол смертному и которое есть Оно само, одаренное вечной божественностью подтвержденной всеми «я», выражающими признательность за этот дар. Вот почему Бог, когда Моисей спросил Его, как он должен назвать Того, Кто призвал его, ответил: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ». Он затем приказал Моисею говорить толпе: «Я ЕСМЬ послал меня к вам». И действительно, только толпа, скрепленная общей верой, совместно владеет общим «я» в полном объеме по той причине, что «братья и сестры в Боге» могут предназначать друг другу подлинное «Вы», говорящее о взаимном сочувствии и почитании. Индусское приветствие, когда один смотрит в глаза другого — руки с сомкнутыми ладонями поднялись близко к лицу, — говорит: «Я узнаю Бога в вас». Оно выражает то, что идет от сердца. Но ведь так делает и любящий, который простым мимолетным взглядом узнает божественность в лице возлюбленной, в то же время чувствуя,

что вся его жизнь зависит от такого узнавания. Однако те немногие, которые полностью обращены к божеству, должны избегать любой любви, кроме братства.

4. Сообщества «эго»

Так называемая базисная биологическая ориентация психоанализа, по-видимому, постепенно становится (из простого введения в курс дела) своего рода псевдобиологией, что особенно проявляется в концептуализации «окружения» человека. В психоаналитических произведениях термины «внешний мир» или «окружение» часто употребляются для обозначения неисследованной зоны, которая считается внешней просто потому, что ей не удается быть внутри — под кожей индивида, — или внутри его психических систем, или внутри его самости в самом широком смысле. Такое неясное и тем не менее вездесущее «внешнее» необходимо допускает ряд идеологических и, конечно, небиологических коннотаций, как, например, антагонизм между организмом и средой. Иногда «внешний мир» понимается как тайный заговор реальности против инфантильного мира инстинктивных желаний организма, а иногда — как индифферентный или раздражающий факт существования других людей. Но даже в не так давно признанном — пусть и частично — значении благотворного влияния материнской заботы сохраняется упорная тенденция трактовать «матéринско-детские отношения» как «биологическую» сущность, более или менее изолированную от ее культурного окружения, которое в таком случае опять становится «средой», которая безлико помогает или давит и в которую можно «вписаться». Так, шаг за шагом, нас загромождают следы наслоений, которые были некогда необходимы и достаточно плодотворны, ибо было важно установить тот факт, что моралистические и ханжеские социальные требования склонны подавлять сферу инстинктов у взрослого человека и эксплуатировать ее у ребенка. Важно концептуализировать определенные внутренние антагонизмы между интересами индивида и общества. Однако бессмысленно полагать, что индивидуальное «эго» могло бы существовать вопреки или без специфически человеческого «окружения» и так называемой социальной организации. По-

добное допущение, как и псевдобиологическая ориентация, грозит изолировать психоаналитическую теорию от богатых экологических представлений современной биологии.

И вновь Хартман открывает путь для дальнейшего обсуждения[9]. Его утверждение, что человеческий младенец рождается преадаптированным к «среднему ожидаемому окружению», подразумевает более точное биологическое, равно как и неизбежное социальное, определение. Потому что даже не самые лучшие материнско-детские отношения могли бы сами по себе составить ту тонкую и сложную «среду обитания», которая позволила бы человеческому младенцу не только выжить, но и сформировать свои потенциальные возможности для развития и становления уникальности. Экология человека требует все время обновляющегося природного, исторического и технологического приспособления, которое сразу делает очевидным, что только постоянное, пусть даже незначительное, переструктурирование традиции может гарантировать каждому новому поколению младенцев все подходящее в «среднеожидаемом» окружении. Сегодня, когда быстрые технологические изменения заняли лидирующие позиции во всем мире, вопрос установления и сохранения в гибких формах «среднеожидаемой» непрерывности окружения, необходимой для развития и образования ребенка, стал фактически вопросом человеческого выживания.

Специфический тип преадаптированности человеческого младенца — а именно готовность развиваться, эпигенетическими шагами проходя психосоциальные кризисы, — требует не только одного, базисного, окружения, но целой последовательности «ожидаемых» окружений, поскольку, когда ребенок адаптируется скачком или проходя стадии, он, достигая любой конкретной ступени, претендует на следующее «среднеожидаемое окружение». Другими словами, человеческое окружение как целое должно предоставить возможности и гарантировать серии более или менее дискретного и все же культурно и психологически последовательного становления, каждая стадия которого расширяет радиус жизненных задач. Все это делает так называемую биологическую адаптацию человека основанием жизненных циклов, развивающихся в рамках меняющейся истории человеческого сообщества. Следова-

тельно, психоаналитическая социология непосредственно сталкивается с задачей осмысления окружения человека как упорной попытки поколений соединить в организационном усилии обеспечение интегрированных серий «среднеожидаемых окружений».

В статье, рассматривающей попытки подхода к изучению отношения культуры и личности, Хартман, Крис и Лоунстейн пишут: «Культурные условия могли бы рассматриваться с точки зрения вопроса о том, как и какие возможности для функций «эго» в свободной от конфликта сфере они привлекают или как и каким препятствуют. Их следовало бы так и рассматривать»[10]. В отношении возможности изучения отражения таких «культурных условий» в психоанализе индивидов авторы кажутся менее мужественными. Они констатируют: «Психоаналитики также сознают различия в поведении, проистекающие из культурных условий, они не лишены того общего смысла, который всегда подчеркивал эти различия, но их воздействие на наблюдателя-психоаналитика имеет тенденцию уменьшаться по мере того, как развивается работа и имеющиеся в распоряжении данные продвигаются от периферии к центру, то есть от манифестируемого поведения к данным, часть которых доступна только психоаналитическому исследованию».

Я рискну предложить (и, надеюсь, фрагменты иллюстративного материала, представленного в этой книге, помогут это доказать), что центральные проблемы развития «эго», которые, действительно, «доступны только психоаналитическому исследованию», скорее требуют, чтобы осознание психоаналитиком культурных различий значительно выходило за пределы «здравого смысла», который упомянутые выше авторы, по-видимому, считают достаточным для этой частной области наблюдения, хотя для других областей они, несомненно, настаивали бы на более тонко «анализируемом» здравом смысле. Как мы предположили, отношения между организованными ценностями и институциональными усилиями сообществ, с одной стороны, и природой «эго-синтеза» — с другой, являются более систематическими, и, во всяком случае с психосоциальной точки зрения, базисные социальные и культурные процессы могут рассматриваться *только* как объединенное стремление множества «эго» взрослых людей раз-

вить и сохранить через объединенную организацию максимум свободной от конфликтов энергии во взаимно поддерживающем социальном равновесии. Только такая организация является подходящей, чтобы дать устойчивую последовательную поддержку развитию многих «эго» растущих и выросших людей на каждой возрастной стадии.

Потому что, как было показано в гл. III, старшее поколение столь же нуждается в младшем, сколь младшее зависит от старшего, благодаря силе «эго» каждого поколения. Очевидно, что в сфере этой взаимности побуждений и интересов «эго», на всем протяжении развития старшего, так же как и младшего поколений, именно такие несомненные базисные и универсальные ценности, во всей их компенсирующей энергии и защитной силе, становятся важными объединяющими достижениями развития индивидуального «эго» и «группового эго» — и таковыми остаются. Фактически (именно это начинает обнаруживаться в наших клинических историях) указанные ценности обеспечивают необходимую поддержку для развития «эго» подрастающих поколений тем, что они придают некоторое специфическое надындивидуальное постоянство родительскому поведению, хотя различные виды постоянства — включая постоянное непостоянство — меняются в зависимости от систем ценностей и типов личности.

Только общественные процессы, репрезентирующие множественную взаимную зависимость, будут воспроизводить «среднеожидаемые» окружения или через ритуальное переосвящение, или через систематическое переформулирование. В обоих случаях избранные или выделившиеся самостоятельно лидеры и элиты считают необходимым всегда вновь демонстрировать убедительную, «харизматическую» генерализованную генеративность, то есть надличностные интересы в сохранении и восстановлении социальных институтов. В истории некоторые такие лидеры отмечены как «великие»; они, по-видимому, способны из глубочайших личностных конфликтов извлекать энергию, которая удовлетворяет особую потребность их времени в новом синтезе превалирующего образа мира. Во всяком случае, только через постоянное переосвящение социальные институты получат активные и вдохновенные вклады новой энергии от молодых членов общества. Научно это можно

сформулировать так: только посредством сохранения полного соответствия между ценностями общества и основными кризисами развития «эго» можно выяснить, справится ли общество с тем, чтобы иметь в распоряжении своей особой групповой идентичности максимум свободной от конфликта энергии, накапливаемой из кризисов детства своих молодых членов. Остается лишь заключить, что функционирующее «эго», хотя и охраняет индивидуальность, вовсе не изолировано, поскольку определенная общинность соединяет множество «эго» в их взаимной активации. В таком случае ясно, что нечто в процессах «эго» и нечто в социальных процессах вполне идентично[11].

5. Теория и идеология

В изучении отношения «эго» к изменяющейся исторической реальности психоанализ подходит к новой армии бессознательных сопротивлений. В природе психоаналитического исследования имплицитно заложено, чтобы такие сопротивления локализовались и оценивались наблюдателями, в привычных для них представлениях, до того, как их наличие у наблюдаемого могло быть понято и подвергнуто лечению. Тогда изучающий инстинктивность человека психоаналитик может понять, что и его стремление изучать также отчасти инстинктивно по своей природе. Он знает, что он реагирует частичным контрперенесением на перенесение пациента, то есть что из-за особых причин, коренящихся в нем самом, он может потакать неясному желанию пациента удовлетворить инфантильные побуждения в той самой терапевтической ситуации, которая должна была бы излечить его от них. Аналитик признает все это и все же методически работает с тем, чтобы достичь той границы свободы, где ясное ви́дение неизбежного делает сопротивления излишними и высвобождает энергию для творческой работы.

Общим местом является, далее, и то, что психоаналитик должен сознавать исторические детерминанты, сделавшие его тем, что он есть, прежде чем он может надеяться совершенствовать человеческий дар понимания того, кто отличается от него самого.

Новый здравый смысл, освещающий новую тенденцию самоанализа психоаналитика, был зна́ком прогресса всю-

ду, где эта новая понятийная тенденция становилась частью психоаналитической практики. Если я серьезно полагаю, что психосоциальная точка зрения может стать частью психоаналитических интересов, я должен также рассмотреть возможность того, что специфические сопротивления могли быть ранее уже включены в способ такого инсайта и только природа инсайта сопротивляющегося человека может указать на природу сопротивления. Тогда это выражало бы отношение профессиональной идентичности поколения наблюдателей к идеологическим тенденциям их времени.

Вопрос «допустимости» социального рассмотрения имел бурную историю в «официальном» психоанализе со времени публикации работы Альфреда Адлера, и нельзя было избавиться от ощущения, что этот вопрос был и остается столь же идеологическим, сколь и методологическим. По-видимому, на карту было поставлено, с одной стороны, хранимое как сокровище допущение Фрейда, что психоанализ мог бы быть наукой, подобно любой другой, и не иметь иного взгляда на мир (а «*Weltanschanung*»), чем тот, который есть в естественных науках, и, с другой стороны, устойчивое убеждение многих наиболее одаренных психоаналитиков младшего поколения, что психоанализ как критика общества должен соединять революционную ориентацию, которая в Европе сплотила многие наиболее оригинальные умы. За этим стоит скорее полярное противопоставление Маркса и Фрейда, возникшее в результате внутреннего антагонизма между их взглядами, как если бы они реально были представителями тех двух взаимно исключающих идеологий, которыми, до последней запятой, они действительно вначале являлись, доказательством чего служит то, что каждый из них полностью исключает другого до такой степени, что догматически игнорируются довольно очевидные общие интересы и представления.

Кажется, что, в конце концов, некоторые из наиболее жгучих и неподатливых ответов на вопросы, что есть или чего нет в природе психоанализа, порождают другой совершенно неотложный вопрос, а именно: чем психоанализ должен быть, или оставаться, или стать для отдельного исследователя, так как особый образ мира необходим для

его идентичности как человека, профессионала и гражданина?

Итак, психоанализ предоставил богатые возможности для целого ряда профессиональных идентичностей. Он дал новые функции и сферу деятельности таким различным устремлениям, как натуральная философия и талмудическая аргументация, медицинские традиции и миссионерское обучение, литературная иллюстрация и построение теории, социальная реформа и зарабатывание денег. Психоанализ как движение дал убежище целому ряду образов мира и утопий, истоки которых обнаруживаются на разных стадиях его истории в различных странах. Это, я думаю, необходимое требование для человека, который, чтобы быть способным эффективно взаимодействовать с другими людьми, и особенно если он хочет лечить и учить, должен время от времени создавать целостную ориентацию из определенной стадии частичного знания. Некоторые ученики Фрейда, таким образом, обнаруживали, что их идентичность лучше всего подтверждается в отдельных его тезисах, которые обещали особую психоаналитическую идеологию и вместе с этим устойчивую профессиональную ориентацию. Подобным же образом преувеличенные антитезисы к некоторым пробным и преходящим тезисам Фрейда служили догматическими основами для профессиональной и научной ориентации других исследователей, работающих в этой сфере. Так новые «школы» приводят к необратимым систематизациям, которые ставят себя вне аргументации или самоанализа.

Когда я оглядываюсь назад, на свои первые шаги в качестве психоаналитика иммигрантов в этой стране, я начинаю запоздало осознавать еще один идеологический фактор в истории диаспоры психоанализа. Мне был дарован моими пациентами род моратория, в течение которого я мог замазывать мое полное невежество в английском языке (не говоря уже о всех тех разговорных нюансах, которые только и выражают окружение пациента) и мог упорно цепляться за представление, что то, о чем говорили книги, подходило для любого человека, где бы он ни находился, и что, чем больше бессознательного, тем лучше.

Теперь я понимаю, что в этом пациенты (и кандидаты в пациенты) вступали в сговор со мной, поскольку я пред-

ставлял интегрированную систему убеждений, которая обещала заменить хрупкие остатки ортодоксальных воззрений их отцов и дедов (все равно — религиозных или политических). Если я сумел присоединиться к некоторым из моих американских друзей в их убедительном культурном релятивизме и мог научиться видеть культурные различия, это, несомненно, было обусловлено специальной мотивацией, коренящейся в моей собственной истории жизни, которая сделала меня маргинальным относительно семьи, нации, религии и профессии и подготовила меня к чувству дома в иммигрантской идеологии.

Это, по-видимому, довольно личностный способ завершения некоторых теоретических замечаний. Однако я стараюсь не делать эти вопросы «относительными», но скорее внести в них необходимую социальную и историческую относительность. Меньше всего я хочу пренебречь подлинной идеологической силой и источником вдохновения, которые исходят из теоретических и технических догматов психо-анализа Фрейда. Как раз потому, что некоторые из психоаналитических «ревизионистов», по-моему мнению, воспользовались ненужными шансами (нудно обсуждая как научные те различия, которые были идеологическими), я не был способен много думать над вопросом о том, насколько мои методологические и терминологические предложения могут или не могут соответствовать их предложениям. Для меня наиболее важным было продвигать мое учение в психоаналитические институты маленькими шагами, не отказываясь от наших уникальных идеологических основ. Часто самое лучшее место для работы — уединенные места — «катакомбы», и многие из нас испытывают ностальгию по дням, когда мы сидели и учились в социальной и академической изоляции. Такая изоляция была некогда почти духовным условием для истинно творческой идеи, *психотерапевтической* идеи, которая приглашала пациента вступить в чрезвычайно требовательный психотерапевтический процесс, посредством которого и он, и психоаналитик наблюдали бы феномены и законы интернализованного мира, укрепляя одновременно таким образом и внутреннюю свободу, и внешний реализм. Мне нравится думать, что мы еще делаем для этого все, что в наших силах. А в наших силах следующее: когда пациент оказывается именно та-

кого типа, то есть способным в результате объединить в себе внутреннюю свободу и внешний реализм, мы, психотерапевты, получаем удовлетворение от осознания возможностей нашего метода. Говоря о человеке такого типа, я на самом деле имею в виду человека, обладающего идентичностью, так как психоанализ заранее предполагает не только общность наблюдения у психотерапевта и пациента, но также силу и руководство психотерапевтической идеологии, которая делает такую общность плодотворной для обоих. Это порождало в поколениях исследователей невообразимую интеллектуальную энергию, но это также предполагает, что процесс поддерживается и что аналитик и пациент (а также обучающийся анализу и тот, кто хотел бы обучаться) не становятся зависимыми от общего догматического заговора, рассматривающего только ту реальность, которая оказывается соответствующей прошлому идеологическому состоянию теории и особой локальной или региональной тенденции в политической организации самого психоанализа.

Существует еще одна работа, производимая в сфере, которая может дальше развиваться только посредством становления сознания своей собственной истории. Каждый психологический термин, касающийся центральной человеческой проблемы, первоначально усвоен с идеологическими коннотациями, которые простираются от того, что Фрейд назвал «возрастными идеологиями "супер-эго"» до влияния современных идеологий. И то и другое, конечно, быстро вытеснялось в тех случаях, когда термин становился привычным и ритуализированным, особенно в различных языках. Возьмем само по себе «супер-эго»: немецкое «Ueber» может иметь значение («Ueber allen Wipflen...»), совершенно отличное от английского «Super» («Superjet» — сверхзвуковой реактивный самолет). Относительно небольшая группа исследователей может, конечно, договориться о том, что́ означает термин, особенно когда описывает его, противопоставляя другим предметам, таким, как «ид» и «эго». Но когда область расширяется, отдельные исследователи и группы исследователей приписывают новые значения каждому термину в соответствии со своим собственным прошлым и настоящим. Как я неоднократно показывал, наиболее фундаментальное из наших терминов, «Trieb», и его прилага-

тельное «Triebhaft» имели в своем первоначальном употреблении натурфилософское качество облагораживания, а также естественную силу («die suessen Triebe» — «сладкие побуждения»), по словам немецкого поэта, а по мнению стойких физиологов — «силу достоинства»; по этой причине, в добавление к причинам экономии, Фрейд был вынужден чрезвычайно сдерживаться, чтобы не приписывать новые «базисные» элементы к Олимпу Triebe. Другие (американские) психологи могли представлять себе длинные списки побуждений с маленькой буквы «d», цель которых состояла в подтверждении, а не в мифологическом убеждении.

Аналогично «die Realitaet», посредством того факта, что оно могло быть использовано с артиклем, было почти персонализированной силой, сравнимой с Ananke, или Роком, и предусматривало намного больше, чем разумное приспособление к фактически существующей реальности. «Реальность» сама по себе — один из терминов, искажающихся при использовании, так как он может означать образ мира, обоснованный как реальный всеми, кто, сообща и жертвуя своими интересами, пользуется разумом, чтобы установить то, с чем можно единодушно согласиться, и жить в соответствии с этим. Тогда как во многом реальность означает сумму всего, что можно сделать безнаказанно, без ощущения крайней греховности или вступления в конфликт (которого можно избежать) с правилами и инструкциями, поскольку они пишутся для того, чтобы проводиться в жизнь. Вероятно, наиболее уязвимыми к изменению смыслов является термин, производный от «эго»; для некоторых это полностью не утративший одиозности «эготизм», для других — «эгоцентричность» (в то время как для многих он остается качеством закрытой системы в процессе внутренней трансформации). Наконец, это термин «механизм».

Когда Анна Фрейд говорит: «На протяжении всего детства действует процесс созревания, который в обслуживании возрастающего знания и адаптации к реальности стремится к совершенствованию («эго») функций, к превращению их во все более и более объективные и независимые от эмоций, до тех пор пока они не станут такими же точными и надежными, как механические аппараты»[12] — она описывает тенденцию, которая более чем в

одном смысле у «эго» является общей с нервной системой и мозгом (поэтому человек может создавать машины), но она, конечно, не имеет в виду защиту механической адаптации как цель человеческой жизни. Фактически ее «механизмы защиты», хотя и являются весьма необходимой *частью* психической жизни, заставляют личность *находиться под влиянием* их бедности и стереотипности. И все же там, где человек чрезмерно идентифицируется со своими механизмами, он может захотеть стать (и заставить стать других) более управляемым посредством нахождения однородных методов механического приспособления. Резюмируя, я не отрицаю, что можно согласиться с тем, что́ термин означает логически. Не надо спрашивать, не защищаю ли я (Боже избави!) такое положение, при котором социальные науки должны избегать наводящих на богатые размышления терминов. Но я указываю, что сознательное изменение смыслов большинства важнейших терминов — одно из требований «самоаналитической» психосоциальной ориентации.

Затем, говоря о научном доказательстве и научном прогрессе в области, которая непосредственно имеет дело с ближайшими потребностями людей, необходимо учитывать не только методологические, практические и этические факторы, но также необходимость профессиональной идеологии. По этой причине психоаналитическое обучение будет вынуждено касаться ряда образований профессиональной идентичности, тогда как теоретическое обучение должно освещать также идеологическую основу главных различий в том, что переживается как наиболее практическое, наиболее истинное и наиболее верное на различных стадиях развивающейся области. Если бы здесь, кажется, потребовалось другое универсальное сопротивление, а именно сопротивление идентичности, по аналогии с сопротивлениями «ид» и «супер-эго», я повторил бы в заключение, что все, относящееся к идентичности, более близко к историческому времени, чем другие соперники «эго». Этому типу сопротивления, затем, может противодействовать не только дополнительное напряжение при психоанализе индивида, но, сверх всего, объединенное усилие заново применить прикладной психоанализ к самому психоанализу.

Я могу добавить, что полностью сознаю факт, что при следовании в новом направлении обнаруживается тенденция держаться одностороннего курса, временно игнорирующего исхоженные и альтернативные направления, предлагаемые в других первопроходческих работах. Но встает важнейший теоретический вопрос: приведет ли новое направление к новым наблюдениям?

Глава VI
К современным проблемам: юность

1

Общественные и человеческие пороки обычно изображались и в учебниках, и в беллетристике в жанре социальной критики, часто питающей самое себя. Когда молодежь видит, как ее, так сказать, «прославляют» в mass media, ее чувству идентичности остается ценить лишь ту энергию, которой она обладает по крайней мере как признаком жизни. Но я считаю необходимым — по причинам отнюдь не пропагандистским — спросить себя, что́ должно быть брошено на чашу весов, для того чтобы расценить какой-либо феномен либо как психопатологию (которую мы научились распознавать), либо как позитивную цель, встроенную в каждую стадию развития. «Позитивное» во многих сферах часто предполагает иллюзорный уход от отвратительной реальности; но разве это не часть любой клинической установки — требование изучить «натуру», которую, с нашей терапевтической помощью, следует сделать «курабельной»? Я уже указывал в гл. III, что намерен определить для каждой стадии ее собственную витальную силу, а для всех стадий — эпигенетическую систему таких сил, которые создают человеческую (а здесь это означает родовую) витальность. Если я решительно назвал эти силы базисными добродетелями, то сделал так для того, чтобы показать, что без них всем другим ценностям и добродетелям недостает витальности. Моим оправданием в применении именно этого слова было то, что значение его некогда имело дополнительный оттенок прирожденной силы и активного качества: например, когда лекарство или питье выдыхались, говорили, что они остались «без добродетели». В этом смысле, я думаю, можно употреблять также термин «витальные достоинства», чтобы вызвать смысловые ассоциации с определенными качествами, которые, распространяясь, начинают воодушевлять человека на протяжении сле-

дующих одна за другой стадий его жизни. Самая первая и наиболее базисная — надежда.

Однако применение такого термина для осмысления качества, возникающего из взаимодействия индивидуального развития и социальной структуры, воскрешает в сознании многих читателей «натуралистическое заблуждение» — наивную попытку приписать эволюции интенцию развития у человека определенных типов украшающих добродетелей. Все же такие новые концепции, как Uniwelt этологов, подразумевают оптимальное отношение врожденных потенций к структуре окружения. И даже если человек — создание, которое приспосабливается к разнообразию окружающих условий или, скорее, склонно изменять себя и эти условия согласно своим собственным измышлениям, он тем не менее остается созданием, развивающимся по определенным жизненным циклам, которые задают тип модифицируемого окружения, а это в свою очередь задает потенциал постоянно обновляемой витальной адаптации. Если эта витальная адаптация является частью такого развивающегося приспособления, то человек может заболеть и выздороветь таким способом, который никто не мог бы назвать естественным, он способен также к диагностике и лечению, критике и изменению. Последние в свою очередь опираются на ревитализацию силы, возрождение ценностей, восстановление продуктивной мощи. Я считаю ревитализацию силы родовым принципом цикла жизни, увековечивающим ряд витальных добродетелей — от *надежды* в младенчестве до *мудрости* в старости. Относительно юности и вопроса о том, что́ находится в центре ее наиболее страстных и беспорядочных стремлений, я сделал вывод, что *верность* — это та витальная сила, в которой нуждается юность, чтобы стремиться к чему-то, бороться за что-то и за что-то умереть. Сделав такое «базисное» утверждение, я могу только повторить некоторые из представленных ранее вариаций на темы юности, для того чтобы понять, действительно ли верность обнаруживается во всех проявлениях юности.

Я не буду здесь рассматривать другие стадии жизни и специфические силы и слабости, вкладываемые каждой в ненадежную адаптацию человека, но хочу еще раз бросить беглый взгляд на стадию жизни, которая непосредственно предшествует юности, — школьный возраст, — а затем вернуться к юности самой по себе.

Школьный возраст, который вторгается между детством и юностью, застает ребенка, до того всецело поглощенного игрой, готовым, желающим и способным обучаться элементарным умениям, необходимым для подготовки к овладению инструментами и орудиями, символами и понятиями его культуры. К тому же этот возраст застает его страстно стремящимся к тому, чтобы реализовать подлинные роли (предварительно проигранные), которые обещали ему возможное признание в рамках специализаций и технологий его культуры. Я хотел бы сказать далее, что *умелость* — особая сила, возникающая у человека в школьном возрасте. Однако все, что человек приобретает — стадия за стадией — в течение детства, оставляет метку инфантильного опыта на самых горделивых его достижениях. Так же как возраст игры завещает всем жизненным целям и стремлениям человека качество грандиозной иллюзии, так и школьный возраст оставляет в человеке любовь ко всему, «что работает».

Когда школьник присваивает способы, он также позволяет способам присвоить себя. Рассматривать как хорошее только то, что работает, чувствовать себя признанным, только если вещи работают, управлять и быть управляемым может стать доминирующим наслаждением и ценностью. И с тех пор как технологическая специализация является подлинной частью человеческой орды, или рода, или системы и образа мира культуры, гордость человека за орудия, которые работают с материалами и животными, распространяется на оружие, которое работает против других людей, так же как и против других видов. Что это может пробуждать холодное коварство, так же как и неизмеримую жестокость, редкую в мире животных, обусловлено, конечно, комбинацией событий развития. Среди них нас больше всего будет интересовать (поскольку она выходит вперед в течение юности) потребность человека соединять технологическую гордость с чувством идентичности: начиная с инфантильного опыта, усиленный технологической гордостью смысл личной тождественности медленно нарастал, и эта тождественность испытывалась в столкновениях с постоянно расширяющейся общностью.

У людей есть еще одна потребность, не присущая больше ни одному природному виду и не существующая у человечества в целом, — это потребность чувствовать, что

они представляют некоторый особый род (клан или нацию, класс или касту, семью, профессию или тип), чьи знаки отличия они будут носить с тщеславием и убежденностью и защищать (наряду с экономическими требованиями и т.п.) от других, иностранных, враждебных и уже поэтому как бы не вполне человеческих родов. Таким образом, получается, что молодые люди могут применить все свои умения, которыми они гордятся, в борьбе с другими людьми, и даже те, кому не откажешь в разумности и цивилизованности, убеждены, что с моральной точки зрения они не могли бы поступить иначе.

Наша цель, однако, не рассуждать о легкости искажения и продажности морали человека, но определить, что́ представляют собой те сущностные добродетели, которые — на этой стадии психосоциальной эволюции — требуют нашего пристального внимания и этической поддержки: антиморалистам, как и моралистам, легко проглядеть наличие в природе человека основания для нравственной силы. Как мы указывали, верность есть та добродетель и качество силы подросткового «эго», которая принадлежит к эволюционному наследию человека, но которая — подобно всем базисным добродетелям — может возникать только во взаимодействии стадии жизни с индивидами и социальными силами истинной общности.

Основания верности молодые люди ищут в чем-то или в ком-то, что является безусловно истинным, — это можно видеть в различных стремлениях, как санкционируемых, так и не санкционируемых обществом. Этот поиск истинного часто прячут за приводящим в недоумение сочетанием меняющейся преданности и внезапной порочности, временами более преданно порочной, временами более порочно преданной. И все же при всей видимой неустойчивости юности молодежь постоянна в этом поиске истины всюду и во всем: в точности научного и технического метода и в искренности повиновения; в достоверности исторических и беллетристических описаний и в честности игры; в подлинности художественного произведения, высокой точности репродукции и в истинности убеждений, надежности обязательств. Эти поиски легко понять неправильно, и часто они только смутно ощущаются самим индивидом, так как юность, всегда готовая постичь как разнообразие в принципе, так и принцип в разнообразии, должна часто испыты-

вать крайности, прежде чем принять взвешенное решение. Эти крайности, особенно во время идеологической сумятицы и широко распространенной маргинальности идентичности, могут включать в себя не только мятежные, но также девиантные, делинквентные и саморазрушительные тенденции. Однако все это может быть в природе моратория периода замедления, суть которого — подвергнуть испытанию нижний предел некоторой правды, перед тем как вверить силы тела и души части существующего (или грядущего) порядка, подчиниться существующим в обществе законам. Лояльность, законопослушность — опасное бремя, если только оно не взваливается на плечи с чувством независимого самостоятельного выбора и не переживается как верность. Развивать это чувство — совместная задача последовательности истории жизни индивида и этического потенциала исторического процесса.

2

Обратимся к одной из трагических пьес Шекспира. Может быть, она поможет нам понять стихийную природу кризисных отношений человека. Говоря о кризисе Гамлета, давайте не забудем, что «ведущие семейства» небес и истории некогда персонифицировали гордость человека и трагическую невозможность. Принцу Гамлету больше двадцати; некоторые скажут — немного больше, другие — намного больше. Мы скажем, что он в середине своего третьего десятилетия, когда молодость уже не юность, и он готов лишиться своего моратория. Мы застаем его в трагическом конфликте — невозможности следовать единственному принципу, диктуемому одновременно его возрастом и его полом, его позицией и его исторической ответственностью: королевскому отмщению.

Попытка прояснить способность Шекспира проникнуть в сущность одного из «возрастов человека» покажется предосудительной знатокам драматического искусства, особенно если она предпринята профессиональным психологом. Все остальные интерпретируют Шекспира в свете преобладающей в обычных условиях наивной психологии (как мог он поступить иначе?). Я не буду пытаться, однако, решить загадку непостижимой натуры Гамлета хотя бы потому, что верю, что его непостижимость является его натурой. Я достаточно предупрежден самим Шекспи-

ром, который позволяет Полонию говорить, подобно карикатуре на психиатра:

И вот мне кажется — иль это мозг мой
Утратил свой когда-то верный нюх
В делах правленья, — будто я нашел
Источник умоисступленья принца*.

Решение Гамлета играть душевнобольного — секрет, который публика делит с ним с самого начала, но не освобождается от чувства, что он находится на грани соскальзывания в состояние, которое симулирует. «Его сумасшествие, — говорит Т.С. Элиот, — меньше, чем сумасшествие, и больше, чем притворство».

Если сумасшествие Гамлета — больше, чем притворство, оно отягчено по крайней мере пятикратной привычной меланхолией, интровертированностью личности, тем, что он датчанин с острым ощущением скорби и любви. Все это делает вполне правдоподобной регрессию к Эдипову комплексу, которая постулируется Эрнстом Джонсом в качестве основной темы «Гамлета», так же как и многих других великих трагедий[1]. Другими словами, Гамлет не может простить недавнюю незаконную измену матери, потому что он не был способен как ребенок простить ее за то, что она вполне законно изменила ему с отцом, но в то же самое время он не способен отмстить за недавнее убийство отца, потому что как ребенок он сам предавал его в фантазиях и желал, чтобы тот ушел с пути.

Поэтому он беспрестанно откладывает — до тех пор, пока не уничтожает виноватого вместе с невинным, — смертную казнь своего дяди, которая одна освободила бы призрак его любимого отца от рока существования:

На некий срок скитаться осужденный
Ночной порой, а днем гореть в огне**.

Никакая публика, однако, не могла избежать чувства, что Гамлет — человек исключительный и что он действительно опережает правовые понятия своего времени, которые разрешали ему отмстить без колебаний.

---

*Ш е к с п и р В. Гамлет. Акт II. Сцена 2. Пер. М. Лозинского//Ш е к с п и р В. Собр. соч.: В 8-ми тт. Т. 6. М., 1960. С. 47.

**Ш е к с п и р В. Гамлет. Акт I. Сцена 4. Пер. Б.Л. Пастернака. М., 1953. С. 247.

Неизбежно еще одно предположение, а именно то, что в личности Гамлета проявляется нечто от драматурга и актера, поскольку там, где другие ведут за собой людей и изменяют курс истории, он, размышляя, передвигает характеры на подмостках (пьеса внутри пьесы); короче, там, где другие действуют, он «ломает комедию». И действительно, Гамлет, говоря исторически, мог бы символизировать преждевременного лидера, мертворожденного мятежника. Вместо этого он — болезненный молодой интеллектуал своего времени, ибо разве не он недавно вернулся домой, отучившись в Виттенберге, рассаднике гуманистической порчи, который являлся для его времени аналогом Афин, когда там расцветал софизм, и современных центров учения, наводненных экзистенциализмом, психоанализом или чем-нибудь еще похуже?

В пьесе пятеро молодых мужчин, все сверстники Гамлета и все с определенной (или даже чрезмерно определенной идентичностью), как исполненные сознания своего долга сыновья, придворные и будущие вожди. Но их тащат в моральное болото неверия, которое проникает в характер всех тех, кто обязан быть преданным «гнилой» Дании, тащат посредством сложной интриги, которую Гамлет надеется разрушить собственной интригой (пьеса внутри пьесы).

Мир Гамлета — мир диффузных реальностей и верности. Только через пьесу в пьесе и через сумасшествие в безумии Гамлет — актер в комедианте — открывает благородную идентичность в притворных идентичностях и наивысшую верность в роковом притворстве.

Его отчуждение — отчуждение спутанной идентичности. Отчуждение от самого существования — это тема известного монолога. Гамлет отчужден от человеческого существования и от существования человека: «Мужчины не занимают меня, женщины тоже»; отчужден от любви и деторождения: «Я говорю, довольно браков». Он отчужден от судьбы своей страны, «хотя я здесь родился и свыкся с нравами»* (и очень похож в этом на нашу «отчужденную» молодежь); он отчужден от сверхстандартизированного человека своего времени, которого и

---

* Шекспир В. Гамлет. Акт I. Сцена 4. Пер. М. Лозинского//Шекспир В. Собр. соч.: В 8-ми тт. Т. 6. М., 1960. С. 29.

описывает как отчужденного, который «перенял всего лишь современную погудку и внешние приемы обхождения»*.

И тем не менее через все это прорываются у Гамлета целеустремленные и трагически обреченные поиски верности. Вот сущность исторического Гамлета, той старинной модели, которая была героем на народной сцене в течение веков перед тем, как Шекспир модернизировал и обессмертил его[2]:

«Он не желал, чтобы думали, что он склонен лгать о чем-либо, и желал держаться в стороне от любого обмана; и поэтому он так смешал обман и искренность, что хотя его словам не хватало правды, все же не было ничего, что не означало бы правды и не выдавало бы, как далеко ушла его проницательность».

С общей диффузией правды в «Гамлете» согласуется то, что эта центральная тема заявляется в обращении старого дурака к своему сыну:

П о л о н и й: Но главное: будь верен сам себе;
Тогда, как вслед за днем бывает ночь,
Ты не изменишь и другим**.

Но это также центральная тема наиболее страстных высказываний Гамлета, которые делают его безумие всего лишь помощником его благородству. Он ненавидит общепринятое притворство и отстаивает истинность чувства:

Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу
Того, что кажется. Ни плащ мой темный,
Ни эти мрачные одежды, мать,
Ни бурный стон стесненного дыхания,
Нет, ни очей поток многообильный,
Ни горем удрученные черты
И все обличья, виды, знаки скорби
Не выразят меня; в них только то,
Что кажется и может быть игрою;
То, что во мне, правдивей, чем игра;
А это все — наряд и мишура***.

Он ищет то, что действительно поймет только цвет общества, — «честный метод»:

---

* Там же. С. 147.
** Там же. С. 26.
*** Там же. С. 15.

«Помнится, раз ты читал мне один отрывок; вещь никогда не ставили или не больше разу — пьеса не понравилась. Для большой публики это было, что называется, не в коня корм. Однако, как воспринял я и другие, еще лучшие судьи, это была великолепная пьеса, хорошо разбитая на сцены и написанная с простотой и умением. Помнится, возражали, что стихам недостает пряности, а язык не обнаруживает в авторе приподнятости, но находили работу добросовестной...»*

Он фанатично настаивает на чистоте формы и точности воспроизведения:

«...но во всем слушайтесь внутреннего голоса. Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям, с той только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет: держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости и каждому веку истории — его неприкрашенный облик»**.

И наконец, страстное (или сверхстрастное) признание подлинности характера его друга:

С тех пор
Как для меня законом стало сердце
И в людях разбирается, оно
Отметило тебя. Ты знал страданья,
Не подавая виду, что страдал.
Ты сносишь все и равно благодарен
Судьбе за гнев и милости. Блажен,
В ком кровь и ум такого же состава,
Он не рожок под пальцами судьбы,
Чтоб петь, что та захочет. Кто не в рабстве
У собственных страстей? Найди его,
Я в сердце заключу его с тобою,
В святилище души. Но погоди***.

Это, затем, Гамлет в Гамлете. Объединение комедианта, интеллектуала, молодого человека и невротика проявляется в том, что слова — это и есть его лучшие по-

---

* Шекспир В. Гамлет. Акт II. Сцена 2. Пер. Б. Пастернака//Шекспир В. Избранные произведения. М., 1953. С. 259.

** Там же. С. 265.

*** Там же. С. 265–266.

ступки, он может ясно сказать, что не может жить и что его верность должна оказаться роковой для тех, кого он любит, из-за них он совершает в конце то, чего сначала пытался избежать. Гамлет преуспевает в осуществлении только того, что нам следовало бы назвать его негативной идентичностью, и в становлении именно того, что его собственное этическое чувство не могло переносить: безумного мстителя. Итак, остается вопрос: устраивают ли внутренняя реальность и историческая актуальность сговор, чтобы не допустить у трагического человека позитивную идентичность, для которой он, кажется, был специально избран? Конечно, публика все время ощущала в полной искренности Гамлета близость «запретной черты». В конце он отдает свой «умирающий голос» сопернику на исторической сцене, молодому победоносному Фортинбрасу, который в свою очередь настаивает на том, что Гамлет:

> Будь он в живых, он стал бы королем
> Заслуженно*.

Церемониальные фанфары, трубы и пустота объявляют о конце этого необыкновенного молодого человека. Избранные сверстники подтверждают королевские знаки его рождения. Но публика чувствует, что особый человек, будучи погребенным, подтвержден как король и все же не имеет знаков отличия.

3

Мы сказали, что важный элемент в человеческой потребности личной и коллективной идентичности — принадлежать к особому, отличному от других роду — создает в некотором смысле «псевдоразновидности». «Псевдо» предполагает обман, и, может быть, я стараюсь подчеркнуть именно это — отклонение от факта во всяком мифологизировании. Теперь должно быть ясно, что человек — лгущее животное как раз потому, что он старается быть исключительно правдивым: и искажение, и исправление — часть его вербального и идеаторного снаряжения. Для того чтобы иметь хоть сколько-нибудь ус-

* Там же. С. 300.

тойчивые ценности, он должен абсолютизировать их, для того чтобы иметь стиль, он должен верить, что является венцом вселенной. Точно так же каждое племя или нация, культура или религия будут изобретать исторические и моральные резоны для своей исключительно божественной предопределенной уникальности, и в такой же степени, в какой они являются псевдоразновидностями, оказывается несущественным, чем еще они являются и чего добиваются. С другой стороны, человек также находит временное самоосуществление в величайших моментах культурной идентичности и цивилизованного совершенства, и каждая такая традиция идентичности и совершенства ярко освещает то, чем человек мог бы быть, и то, мог ли он быть всем этим. Утопия нашей собственной эпохи предсказывает, что человек будет единым видом в едином мире с универсальной технологической идентичностью, которая заменит делящие его на части иллюзорные псевдоидентичности, и с интернациональной этикой, заменяющей все моральные системы, суеверия, подавления и запрещения. Тем временем идеологические системы конкурируют в своей способности предложить не только наиболее практичные, но также наиболее универсальные убеждения, обеспечить политическую и частную мораль для такого будущего мира; а универсальные убеждения — это, помимо всего прочего, такие, которые заслуживают доверия в глазах юности.

В юности сила «эго» возникает из взаимного подтверждения индивида и общества в том смысле, что общество узнает молодого индивида как носителя свежей энергии и что индивид, таким образом подтвержденный, узнает общество как живой процесс, вдохновляющий верность, которую оно получает от него, сохраняющий преданность, которой оно привлекает его, чтящий доверие, которого оно требует от него. Давайте теперь вернемся к источникам того сочетания актуализации влечений и дисциплинируемой энергии, иррациональности и бесстрашной способности, которые принадлежат к наиболее обсуждаемым и наиболее загадочным феноменам жизненного цикла. Мы должны полностью признать, что эта загадка и есть сущность феномена. Для того чтобы быть целостной и объединиться с другими, личности следует быть уни-

кальной, и функционирование каждого нового поколения непредсказуемо для выполнения этой его функции.

Из трех источников новой энергии физический рост — наиболее легко измеряемый и систематически используемый, хотя его вклад в агрессивные побуждения наименее понятен, за тем, по-видимому, известным исключением, что любое препятствие на пути использования физической энергии в тех случаях, когда действия подлинно осмысленны, приводит к подавленному гневу, который может стать разрушающим или саморазрушающим. Присущие юности силы понимания и познания могут быть экспериментально изучены и планомерно применены к обучению ремеслу и исследованию; менее известна, однако, их связь с идеологическим воображением. Наконец, замедленное половое созревание — источник не только неисчислимой энергии, но и актуализации влечений, сопровождающейся внутренней фрустрацией.

Когда юноша, физически созревший для деторождения, все же не способен любить так, чтобы чувствовать связь с другим человеком (это могут давать друг другу лишь люди с достаточно сформированной идентичностью), он не может последовательно прилагать усилия, чтобы быть родителем. Два пола, конечно, весьма различаются в этом отношении, как и отдельные индивиды, хотя общества обеспечивают различные возможности и устанавливают разные санкции, задавая границы, в пределах которых индивид должен заботиться о своих потенциальных возможностях — и о своей потенции. Психосоциальный мораторий, по-видимому, построен в режиме развития человека. Подобно всем «скрытым состояниям» в режиме развития, замедление взросления может быть как пролонгировано, так и действенно и решительно интенсифицировано, что объясняет и совершенно особые человеческие достижения, и совершенно особые слабости в таких достижениях. Какими бы ни были частичные удовлетворения и частичные воздержания, характеризующие добрачную половую жизнь в разных культурах — удовольствие ли и гордость от мощной детородной активности без каких бы то ни было обязательств, или эротическое состояние без детородного завершения, или дисциплинируемое и самозабвенное замедление, — развитие «эго» использует психосексуальные силы юности для уси-

ления стилевой определенности и идентичности. Здесь также человек никогда не является животным: даже тогда, когда общество содействует близости полов, оно делает это стилизованным способом. С другой стороны, сексуальный акт, говоря биологически, — это акт порождения потомства, и в любой социальной ситуации, которая в конечном итоге неблаго-приятна для завершающей фазы порождения потомства и заботы о нем, существует элемент психобиологической неудовлетворенности, которую здоровые в других отношениях люди могут вытерпеть, так же как можно выдержать и все другие частичные воздержания, оказывающиеся для определенных периодов и в особых условиях благоприятными для целей формирования идентичности. У женщины, несомненно, эта неудовлетворенность играет намного большую роль вследствие ее более глубокой включенности, физиологически и эмоционально, в половой акт как первый шаг в обязательство порождения потомства, о котором ей регулярно напоминает, телесно и эмоционально, ее ежемесячный цикл; более полно это будет обсуждено в следующей главе.

Различные препятствия для полного завершения юношеского полового созревания имеют множественные глубокие следствия, создающие важную проблему для дальнейшего проектирования. Наиболее известно регрессивное возрождение той более ранней стадии психосексуальности, которая предшествовала эмоционально спокойным первым школьным годам: инфантильной генитальной и психомоторной стадии с ее тенденцией к аутоэротической манипуляции, грандиозной фантазией и энергичной игрой[3]. Но в молодости аутоэротизм, максимализм и стремление играть — все безмерно расширяется половой потенцией и локомоторной зрелостью и крайне усложнено тем, что мы вскоре будем описывать как новую историческую перспективу юношеского сознания.

Наиболее широко распространенное выражение неудовлетворенных поисков юности, так же как ее природной плодовитости, — это страстная тяга к передвижению, выражаемая или в генерализированном «существовании в движении» — «нестись сломя голову», «бегать по кругу», — или в реальном движении, таком, как энергичная работа, азартные спортивные соревнования, танцы, беспо-

мощный Wanderschaft*, а также езда — по правилам и без них — на лошадях, машинах и т.п. Но это выражается также через участие в сегодняшних общественных движениях (бунтах местного значения, парадах и кампаниях основных идеологических сил), если только они обращаются к потребности ощущать себя «движущимся» и видеть сущность в чем-то движущемся по направлению к открытому будущему. Ясно, что общества предлагают любое количество ритуальных комбинаций идеологических перспектив и энергичных движений (танцы, спортивные состязания, парады, демонстрации, мятежи), чтобы запрячь молодость на службу своим историческим целям, и что там, где обществам это не удается, молодежь будет искать свои собственные комбинации в малых группах, занятых серьезными играми, добродушными безрассудствами, жестокими проказами и делинквентными стычками. Кроме того, ни на какой другой стадии жизненного цикла ошибки в нахождении себя и угроза потери себя так тесно не объединены.

В связи с тягой к движению мы должны отметить два великих индустриальных достижения: автомобильный двигатель и кинематограф. Мотор автомобиля, конечно, — самое сердце и символ нашей технологии, и его владычество — цель и стремление многих из современной молодежи. В связи с незрелостью юности, однако, необходимо понять, что и мотор автомобиля, и кинематограф предлагают им, на самом деле склонным к пассивному передвижению, интоксицирующую иллюзию чрезмерно активного существования. Преобладание автомобильных краж и дорожных происшествий среди юношества сильно порицается (хотя публике требуется длительное время, чтобы понять, что кража — незаконное присвоение ради прибыльного обладания, в то время как автомобили крадутся молодыми в поисках своего рода автомобильной интоксикации, которая может буквально захватить и машину и юнца, а не для других целей). Все же, несмотря на крайне взвинченный смысл автомобильного всемогущества, потребность в активном передвижении часто остается неосуществленной. Это в особенности относится к кинематогра-

*Странствование, путешествие (*нем.*).

фу, предполагающему зрителя, который сидит себе и сидит, а механизм его эмоций мчится, совершая быстрое и яростное движение в искусственно расширенном зрительном поле, усыпанном крупными планами насилия и сексуального обладания, — и все это без предъявления минимальных требований к интеллекту, воображению или усилию. Я отмечаю здесь широко распространенное несоответствие в опыте подростка, так как думаю, что это объясняет новые виды подростковых взрывов и указывает на новую необходимость владычества. Такое владычество предполагается в новейших танцевальных стилях, которые сочетают машинообразную пульсацию с подобием ритмической развязности и ритуалистической искренности. Изолированность каждого танцора, подчеркнутая мимолетными мелодиями, которые позволяют ему соединяться со своим партнером время от времени, по-видимому, отражает потребности юности более правдиво, чем поддельная близость партнеров, «склеенных» вместе и все же безучастно смотрящих мимо друг друга.

Опасность чувства, переполненного одновременно внутренним импульсом и безостановочным пульсом моторизации, частично уравновешивается у той части молодежи, которая может получить активный заряд технического развития и управляет, чтобы научиться и идентифицироваться с искусностью изобретения, улучшением производства и уходом за механизмами, существуя, таким образом, во власти нового и неограниченного применения юношеских способностей. Там, где молодежь лишена прав на такой технический опыт, она должна взрываться в мятежном движении; там, где она не одарена, она будет чувствовать отчуждение от современного мира до тех пор, пока технология и нетехнический интеллект придут к определенному слиянию.

Когнитивные способности, развивающиеся в течение первой половины второго десятилетия жизни, дают мощный инструмент для решения задач молодости. Пиаже называет приобретения в познании, достигаемые в середине периода от тринадцати до девятнадцати лет, достижением «формальных операций»[4]. Это означает, что юность может теперь оперировать гипотетическими утверждениями и может представлять себе возможные переменные и потенциальные отношения — и представлять их исключительно

в уме, независимо от того, можно ли их конкретно проверить, что раньше было необходимо. Как сформулировал Дж. С. Брунер[5], ребенок теперь может «систематически вызывать в воображении полный ряд альтернативных возможностей, которые в любой данный отрезок времени могли бы существовать». Такие когнитивные ориентации не противопоставляются, но дополняют потребность юного человека сформировать смысл идентичности, так как среди всех возможных и воображаемых связей он должен сделать ряд всегда ограниченных выборов из личностных, профессиональных, сексуальных и идеологических обязательств.

Здесь опять разнообразие и верность поляризуются, они делают друг друга значимыми и сохраняют друг друга. Верность без чувства разнообразия может стать навязчивой идеей и скукой; разнообразие без чувства верности — пустым релятивизмом.

4

Итак, чувство идентичности становится более необходимым (и более проблематичным) всюду, где бы ни предусматривался широкий ряд возможных идентичностей. В предшествующей главе я показал, насколько сложен реальный предмет обсуждения, здесь мы добавляем и принимаем во внимание значение чувства тождества, единства личности, которое приемлемо и, если возможно, величественно так же, как необратимый исторический факт.

Поэтому мы описали основную опасность этого возраста как спутанность идентичности, которая может выражаться в чрезмерно пролонгированных мораториях (Гамлет дает возвышенный пример), или в повторяемых импульсивных попытках закончить мораторий внезапным выбором (то есть играть с историческими возможностями и затем отрицать, что некоторое необратимое обязательство уже имеет место), или иногда также в серьезной регрессивной патологии, как это проиллюстрировано в предшествующей главе. Доминирующий результат этой, как и любой другой, стадии поэтому — уверенность, что активное, избирательное «эго» стоит во главе и дает возможность стоять во главе социальным структурам, представ-

ляющим данной возрастной группе место, в котором она нуждается и в котором она необходима.

В письме к Оливеру Уэнделлу Холмсу Уильям Джеймс пишет о желании «перекрестить себя» в их друга, и одно это слово говорит о многом из того, что включено в радикальное направление социального сознания и социальной потребности юности. Из середины второго десятилетия жизни способность думать и сила воображать простираются выше людей и личностей, в которые юность действительно может глубоко погружаться. Юность любит и ненавидит в людях то, что они «символизируют», и выбирает их для значимого столкновения, влекущего за собой результаты, которые часто действительно больше, чем вы и я. Мы слышим объяснение Гамлета в любви его другу Горацио — объяснение, быстро прерванное: «Достаточно об этом». Таким образом, это новая реальность, для которой индивид желает возродиться, с теми и посредством тех, кого он выбрал как своих новых предков и своих истинных современников.

Этот взаимный отбор (хотя он и ассоциируется часто с бунтом против родительского окружения или уходом от него и вследствие этого таким образом интерпретируется) является на самом деле выражением подлинно новой перспективы, которую я уже назвал «исторической» — в одном из тех свободных применений этого древнего и сверхспециализированного слова, которое иногда становится необходимым для создания специфических значений. Под «исторической перспективой» я имею в виду нечто такое, что человеческое существо начинает развивать только в течение подростничества. Это — чувство необратимости существенных событий и часто настоятельная потребность понимать полностью и быстро, какого рода события в реальности и мыслях детерминируют другие и почему. Как мы видели, психологи, такие, как Пиаже, признают за юностью способность ценить то, что любой процесс может быть понят, когда воссоздан его ход и он таким образом переведен обратно в мысль. Все же не будет противоречием сказать, что тот, кто приходит к такому пониманию, понимает также, что в реальности среди всех явлений, которые можно представить, не многие будут детерминировать и ограничивать друг друга с исторической неиз-

бежностью, все равно заслуженно или незаслуженно, умышленно или неумышленно.

Юность, следовательно, чувствительна к любому предложению, которое может быть жестко детерминировано тем, что произошло раньше в историях жизни отдельных людей или в истории человечества. С психосоциальной точки зрения это должно означать, что необратимые идентификации детства должны препятствовать развитию собственной идентичности индивида, а с исторической — что облеченные властью силы должны препятствовать группе в реализации ее сложной исторической идентичности. По этой причине юность часто отвергает родителей и авторитеты и хочет принизить их как логически непоследовательных, ищет людей и движения, которые заявляют или кажется, что заявляют, что могут предсказать неотвратимое будущее и таким образом обогнать его. Последнее в свою очередь объясняет принятие юностью мифологий и идеологий, предсказывающих курс вселенной или историческую тенденцию; юноша-интеллигент и юноша-практик равно могут радоваться тому, чт́о лучше структурировано и дает им возможность вникать в детали, которыми можно управлять, если только знаешь (или убедительно говоришь, что знаешь), чт́о эти детали обозначают и где ты сам находишься. Таким образом, «истинные» идеологии верифицируются историей в течение некоторого времени; так как, если они смогут что-то внушить молодежи, она заставит прийти эту предсказанную историю.

Указывая, что в сознании молодежи люди что-то «символизируют», я вовсе не ставлю акцент на идеологической ясности, имея в виду под этим преклонение молодежи перед личностями. Выбор личностей в полном смысле слова может осуществляться в структуре указанных практик, таких, как отбор в образовании или работе, а также в религиозных и идеологических сообществах, в то время как методы отбора героев могут варьировать от банальной приязни и неприязни до опасной игры с границами здоровья и законности. Но обстоятельства в общем предоставляют взаимную оценку и взаимное оправдание для распознания как личностей тех, которые могут быть большим, чем, по-видимому, являются, и чьи потенциальные возможности нужны порядку, который есть или будет. Такие отобранные как личности представители мира взрос-

лых могут защищать и воплощать в жизнь технически правильный метод научного исследования, убедительное исполнение правды, кодекс честности, нормы художественной достоверности или пути личной подлинности. Они становятся представителями элиты в глазах молодежи, совершенно независимо от того, кажутся ли они таковыми в глазах семьи, общественности или полиции. Выбор может быть опасным, но для некоторых юношей опасность — необходимый ингредиент эксперимента. Опасными могут быть и естественные явления, но, если бы молодежь не могла принимать на себя избыточные обязательства, она не могла бы принимать на себя и отбор подлинных ценностей — одного из главных управляющих механизмов психосоциального развития. Факт становится естественным только тогда, когда верность обнаруживает, что поле ее проявления есть человечество, подготовленное так же, как, скажем, птенец в природной среде, когда он может положиться на собственные крылья и занять свое собственное взрослое место в экологическом порядке.

Если у подростка это поле его проявления поочередно сменяется: полный конформизм или крайняя девиантность, вновь возникшая преданность или бунт, — то это следует объяснить существующей у человека необходимостью реагировать (и реагировать наиболее интенсивно в юности) на разнообразие условий. На фоне психосоциальной эволюции мы можем приписывать перспективный смысл особо чувствительному индивидуалисту и бунтовщику так же, как и конформисту, хотя и в разных исторических условиях. При здоровом индивидуализме «преданная» девиантность сдерживает гнев, служа целостности, которую необходимо восстанавливать, без чего психосоциальная эволюция была бы обречена. Таким образом, человеческая адаптация имеет свою «преданную» девиантность, своих бунтовщиков — тех, которые отвергают существующее, чтобы приспособиться к тому, что так часто называют (и защищаясь, и роковым образом злоупотребляя) хорошими словами «человеческие условия».

«Преданная» девиантность и формирование идентичности у необычных личностей часто связываются с невротическими и психотическими расстройствами или по крайней мере с пролонгированным мораторием относительной изоляции, в которых претерпеваются все отчуждения юности.

В «Молодом Лютере»[6] я попытался показать страдания великого молодого человека в контексте его величия и его исторической позиции. К несчастью, однако, такая работа не отвечает на наиболее настоятельный вопрос многих молодых людей о точном отношении особой одаренности к неврозу. Можно сказать только, что часто существует внутренняя связь между самобытностью дара личности и глубиной ее личностных конфликтов. Но жизнеописания, детально разбирающие появление того и другого в жизни человека прошлого, действительно бывшего самобытным и великим, мало помогают и могут лишь запутать тех, кто имеет глубокие конфликты и самобытные дарования сегодня. Лучше это или хуже, но сегодня мы действительно имеем психиатрическую просвещенность и фактически психиатрическую форму самосознания, которая объединяет все другие факторы, создающие спутанную идентичность. Поэтому мало смысла в вопросе (который канцлер кафедрального собора Святого Павла наполовину шутливо задал в обзоре моей книги), уцелеет ли гениальность молодого Лютера при применении психиатрии. Никто не оказывает слишком много психиатрической помощи молодым современникам, чтобы сравнить их сомнения с типом колебаний, которые испытывались до нашей «психотерапевтической» эпохи. Может показаться, что говорить так безжалостно, но самобытности и способности к творчеству следует сегодня воспользоваться своими превосходными шансами, которые представляют наши доминирующие ценности, — а это может включать использование шанса признать психотерапию или отказаться от нее. Тем временем можно найти простой критерий, чтобы спросить себя, *есть* ли у тебя некоторый род невроза, наряду с другими сложностями, которыми можно управлять, или является ли невроз *худшим* из них, и в таком случае не должно быть слишком унижающим или опасным принять помощь в превращении второго, пассивного, затруднения обратно в первое, активное. Самобытность сама заботится о себе, и, во всяком случае, ее следует рассматривать как опору идентичности человека, если это зависит от отрицания потребности в помощи.

5

Вернемся еще раз к истории психиатрии: о классическом случае юношеского невроза рассказывает первая публикация Фрейда, которая посвящена восемнадцатилетней девушке, страдающей от «petite hystérie с наиболее общими... симптомами»; интересно напомнить, что в конце лечения Фрейд был озадачен тем, «какого рода помощи» девушка хотела от него. Он сообщил ей свою интерпретацию структуры ее невротического расстройства, интерпретацию, которая стала центральной темой его классической публикации о психосексуальных факторах в развитии истерии[7]. Клинические сообщения Фрейда, однако, остаются удивительно свежими в течение десятилетий, и сегодня этот случай исторически ясно раскрывает психосоциальную центрацию истории девушки на вопросах верности. Фактически без преувеличения можно сказать одно: три понятия характеризуют ее социальную историю — сексуальная *неверность* со стороны некоторых из наиболее значимых взрослых в ее жизни, *предательство*, проявившееся в отрицании отцом попыток его друга соблазнить ее, попыток, которые явились в действительности причиной, способствующей возникновению болезни девушки, и странное стремление всех окружавших девушку взрослых сделать ее *доверенным лицом* в целом ряде вопросов, в то время как они не пользовались у нее достаточным доверием, чтобы суметь узнать правду о ее болезни.

Фрейд, конечно, сосредоточился на других вопросах, вскрывая с вниманием психохирурга символический смысл ее симптомов и их историю; но, как всегда, он на периферии своих интересов сообщил релевантные данные. Так, среди вопросов, которые отчасти озадачили его, он сообщает, что пациентка была «почти вне себя от идеи ее существования, предполагавшей, что она просто придумывала» (и таким образом изобретала) условия, которые делали ее больной, и что она все время «тревожно старалась удостовериться, вполне ли я откровенен с ней» или что врач — предатель, такой же, как ее отец. Когда она в конце концов ушла от психоаналитика и перестала заниматься психоанализом, «для того чтобы столкнуть окружающих ее взрослых лицом к лицу с секре-

тами, которые она знала», Фрейд рассматривал такую агрессивную правдивость как действие мести — и им, и ему; и в общем контексте его интерпретаций эта частичная интерпретация остается в силе. Тем не менее сейчас мы можем видеть, что в ее поведении было больше настойчивого требования исторической правды, чем отрицания правды внутренней. И это особенно справедливо для юности. Поскольку вопрос о том, что́ именно необратимо подтверждает их как правдивый или мошенничающий, болезненный или мятежный тип, — первостепенный в сознании подростков, то следующий вопрос, были они правы или нет в отвращении к условиям, которые сделали их больными, так же важен для них, как только может быть важно и любое проникновение в «более глубокий» смысл их болезни. Другими словами, они настаивают, что сам факт их болезни находит признание в переформулировании исторической правды, которая устремлена за свои пределы — к тем возможностям, которые открывают новые и изменяемые условия, а не к тем, которые соответствуют продажным условиям соглашений с окружением, которое желает приспособить их к себе или (как предложил отец Доры, когда привел ее к Фрейду) «образумить».

Несомненно, Дора к тому времени *была* больна истерией, и бессознательный символический смысл ее симптома *был* психосексуальным, но сексуальная природа ее нарушений и ускоренные события в этом случае не должны скрывать от нас того факта, что неверность была общей темой во всех предлагаемых сексуальных ситуациях и что другие случаи неверности (в форме предательств, семейных и общественных) также различными путями заставляют юношей заболеть в других эпохах и других местах. Только когда достигается юность, на самом деле возникает вопрос: проявляется ли в формировании систематического симптома способность к верности; только когда историческая функция сознания укрепляется, возникает вопрос: могут ли значимые упущения и подавления становиться достаточно заметными, чтобы согласованно вызвать формирование симптома и определяемую деформацию характера. Глубина регрессии детерминирует серьезность патологии, и именно к ней применяется терапия. Однако картина болезни, схематически изображен-

ная в гл. IV как общая для больной юности, ясно различаема в общем состоянии Доры, хотя истерия как наивысшее из всех невротических заболеваний делает различные компоненты менее пагубными и даже несколько наигранными. Эта картина, как мы сказали, характеризуется отказом признать течение времени, в то время как все родительские утверждения перепроверяются и Дора страдает от «отвращения к жизни», которое было, вероятно, не вполне подлинным. Но такое замедление делает мораторий болезни концом в собственном смысле слова. В это время смерть и суицид могут стать, как мы уже говорили, ложным пристратием — «не вполне подлинным» и все же иногда непредсказуемо ведущим к суициду; и родители Доры обнаружили «письмо, в котором она прощается с ними, так как она не может больше выносить жизнь. Ее отец... догадался, что девушка не имеет серьезных суицидальных намерений». Такое предельное решение прервало бы саму жизнь, до того как она могла бы привести к взрослому обязательству. Существует также социальная изоляция, которая исключает любое чувство солидарности и может вести к снобистской изоляции: Дора «старалась избежать социальной связи» и была «холодной» и «недружелюбной». Вспышка яростного отрицания, которая может сопровождать первые шаги формирования идентичности, — у невротиков восстание против себя: «Дора не была удовлетворена ни самой собой, ни своей семьей».

Самоотрицание в свою очередь не может предполагать верности и, конечно, боится слияния в любви или сексуальных столкновений. С подобной картиной часто связывается работа торможения (Дора страдает от «усталости и недостатка сосредоточенности») — это действительно жизненное торможение в том смысле, что, как предполагается, применение каждого ремесла или метода связывает индивида с ролью и статусом, предписываемыми деятельностью. Таким образом, опять любой подлинный мораторий невозможен. Там, где сложились фрагментарные идентичности, они остро самоосознаются и немедленно подвергаются испытанию: Дора, очевидно, разрушила свое собственное желание быть женщиной интеллектуальной и конкурировать со своим успешным братом. Ее самосознание — странная смесь снобистского превосходст-

ва: убеждения, что она на самом деле слишком хороша для своего сообщества, своего периода истории или, действительно, для этой жизни, и равного этому глубокого чувства собственного ничтожества.

6

Мы описали в общих чертах наиболее очевидные социальные симптомы юношеской психопатологии, отчасти чтобы показать, что бессознательное значение и сложная структура невротических симптомов сопровождается картиной поведения настолько открыто, что иногда удивляешься, лжет ли пациент, говоря так просто правду, или говорит правду, даже когда избегание ее совершенно очевидно. Ответ в том, что надо слушать, что́ пациенты *говорят*, а не только символизацию, подразумеваемую в их сообщениях.

Представленный эскиз, однако, также служит для сравнения изолированного страдающего подростка с теми юношами, которые стараются разрешить свои сомнения, вступая в девиантные группировки и банды, члены которых старше их. Фрейд обнаружил, что «психоневрозы являются, так сказать, негативом перверсий»[8]. Это означает, что невротик страдает под давлением тенденцией, которые извращают попытку «выжить». Такая формvла может быть применима к факту, что изолированный «страдалец» старается решить уходом то, что объединенные в группу пытаются решить заговором.

Если мы теперь вернемся к этой форме подростковой патологии, отрицание необратимости исторического времени, по-видимому, выражается в самоназначении группировки или банды как «народа» или «класса» с ее полностью собственными традицией и этикой. Псевдоисторический характер подобных групп выражается в таких наименованиях, как «навахи», «святые» или «эдуарианцы», в то время как их вызов направлен против общества (вспомним молодых гангстеров военных лет) со смесью бессильного гнева, выплескиваемого во время вспыхивающих иногда смертоносных бунтов, и сверхбеспокойста, приобретающего характер фобии, за которым всякий раз следует жестокое подавление. На самом же деле эти «секретные общества» — не более чем причуды, которым не-

достает какой-либо организованной цели. Но они показывают неопровержимый внутренний смысл жесткой справедливости, которая психологически необходима для каждого члена и является основой для их солидарности, что можно наилучшим образом понять при кратком сравнении мук изолированного подростка с временными достижениями, возникшими у члена группировки из-за одного лишь факта, что он был взят в псевдосообщество. Временна́я диффузия, сопровождающая неспособность изолированного наметить жизненный путь, «исцеляется» вниманием объединившихся к «работам» — воровству, разрушению, дракам, убийству или извращениям или наркомании, — замышляющимся мгновенно и тотчас выполняющимся. Эта «рабочая» ориентация также заботится о рабочем торможении, так как члены группировки или банды всегда «заняты», даже если они просто «околачиваются». То, что они готовы даже не дрогнуть под любым позорящим обвинением, часто рассматривается как знак полной гибели личности, хотя в действительности это их отличительный знак, именно тот знак отличия «рода», к которому юнец (большей частью маргинальный в экономическом и этическом отношениях) принадлежал бы даже под угрозой смерти, но не воспользовался бы своим шансом у общества, чтобы с такой же страстностью подтвердить себя как правонарушителя, а затем реабилитировать себя как бывшего правонарушителя.

Там, где изолированного подростка терзают чувства бисексуальности или незрелости потребности в любви, юноша, объединенный в социальной патологии, самим действием объединения принимает ясное решение: мальчик — это особь мужского пола с лихвой, девочка — особь женского пола без сентиментальщины. В том и другом случае они могут отрицать как любовь, так и деторождение в качестве функции пола и могут сделать полуизвращенную псевдокультуру из того, что ими покинуто. К тому же они признают авторитет только в утвердительной форме, выбранной в действии объединения, отвергая авторитет официального мира; изолированный же отвергает существование как таковое и вместе с этим самого себя.

Правомерность повторения этих сравнений лежит в общем знаменателе верности: бессильное стремление изоли-

рованного «страдальца» быть верным себе и энергичная попытка «объединившихся» быть верным группе и ее отличительным знакам и принципам. Поэтому я не хочу отрицать, что изолированный болен (о чем свидетельствуют его физические и психические симптомы) или что «объединяющийся» может пойти по преступному пути, о чем свидетельствуют его все более и более необратимые действия и выборы. Как теории, так и психотерапии; однако, не хватит собственных рычагов, если ими не будет понято значение потребности в верности (в том, чтобы получать или давать ее), и особенно в том случае, если юному девианту начнут вместо этого ставить различные диагнозы, которые каждым действием авторитетов в области исправления или психотерапии будут подкреплять представление о нем как будущем преступнике или пожизненном пациенте.

Молодые люди, загоняемые в крайнюю степень своего состояния, могут, в конце концов, найти больший смысл идентичности в существовании, углубленном в себя, или существовании в качестве делинквента, чем в любом предложении от общества. Все же мы недооцениваем скрытую чувствительность этих молодых людей к осуждению общества в целом. Как это выражает Фолкнер: «Иногда я думаю, что никто из нас не является чистым сумасшедшим и никто из нас не является полностью нормальным до тех пор, пока чаша весов в нас не укажет ему, каков путь». Если «наша чаша весов» диагностирует этих молодых людей как психически больных или преступников с тем, чтобы эффективно избавиться от них, это может быть финальным шагом в формировании негативной идентичности. Для большей части молодых людей общество предлагает только одно это убедительное «подтверждение». Банды, естественно, становятся субсообществами для тех, кого подтвердили таким образом.

В случае Доры я пытался показать феноменологию потребности в верности. О юных делинквентах я могу только процитировать опять одну из тех редких газетных заметок, которые сообщают в рассказе достаточно, чтобы показать событие со всех сторон. Кей Т. Эриксон и я использовали этот пример как введение к нашей статье «Подтверждение делинквента»[9].

«Судья дает срок за бродяжничество из-за дерзости подсудимого. Вилмингтон, «самоуверенный» юноша, носивший зауженные брюки и обритый наголо, сегодня осужден к 6 месяцам за бродяжничество из-за дерзости несправедливому судье.

Майкл А. Джонс, 20 лет, из Вашингтона, был оштрафован на 25 долларов и судебные издержки судьей Эдвином Джей Робертсом, младшим судьей Высшего суда, за неосторожное управление автомобилем. Но судья не ограничился этим.

«Я понимаю, как это произошло у такого человек, как ты с твоими зауженными брюками и бритой головой, — сказал Робертс, определяя размер штрафа. — Продолжай таким образом, и я предсказываю, что через пять лет ты будешь в тюрьме».

Когда Джонс пришел уплатить штраф, он услышал, как офицер-стажер Гидеон Смит рассказывает судье о том, сколько беспокойства приносят самоуверенные молодые правонарушители.

«Я просто хочу, чтобы вы знали, что я не вор», — прервал Джонс судью.

Голос судьи пророкотал судебному клерку: "Измените этот приговор — шесть месяцев за бродяжничество"».

Я здесь процитировал эту историю, чтобы добавить к прежней интерпретации новую: судья в этом случае (ни случай, ни судья не отличаются от множества других) рассматривает как оскорбление достоинства власти то, что может также было отчаянным «историческим» отрицанием, — попытку утверждать, что подлинно антиобщественная идентичность еще не сформирована и что была проявлена достаточная разборчивость и потенциальная верность, отброшенные для того, чтобы что-то было сделано кем-то, кто имел желание сделать так. Но вместо этого то, что сделали молодой человек и судья, было, скорее всего, конечно, постановкой клейма необратимости и подтверждением рока. Я говорю «скорее всего», так как не знаю, чтó произошло в этом случае; нам хорошо известен, однако, высокий рецидив преступности среди молодежи, которая в период формирования идентичности принуждалась обществом к исключительной идентификации с закоренелыми преступниками.

7

Таким образом, психопатология юности предполагает рассмотрение тех же самых вопросов, которые мы считали значимыми для эволюционных и связанных с развитием аспектов этой стадии жизни. И если мы теперь вернемся к истории, нельзя не заметить, что иногда политический андеграунд всех сортов может использовать и действительно использует не только «верную» потребность в верности, обнаруживаемую в любом новом поколении, ищущем новые причины, но также избыток ярости, аккумулированной в этом поколении, которое полностью депривировано в своей потребности развивать любую веру. Здесь для исправления социальной патологии может использоваться социальное омоложение, так же как у особых индивидов одаренность может быть связана с неврозами, и исправлять их. Однако у подростка, существующего в промежуточном состоянии, вся преданность, мужество и находчивость юности могут также эксплуатироваться демагогами, в то время как весь идеологический идеализм поддерживает юношескую стихию, которая может стать явным обманом, когда изменится историческая действительность.

Как сила дисциплинированной преданности, верность, кроме того, может быть достигнута вовлечением молодежи во все виды жизненного опыта, если только они раскрывают сущность некоторых аспектов той эры, к которой молодые люди должны присоединиться как священники и блюстители традиций, как практики и изобретатели технологий, как восстанавливающие и обновляющие этическую силу, как мятежники, решившиеся на разрушение прожитого, и как девианты с фанатическими свершениями. Все это по крайней мере — потенциальные возможности молодости в психосоциальной эволюции: и если оно может восприниматься как рационализация, поддерживающая у юности любой звучный самообман, любое потворство своим желаниям, маскирующееся как преданность, или любое добродетельное оправдание для слепого разрушения, то делает по крайней мере доступным для понимания страшное расточительство, сопровождающее этот, как и любой другой, механизм человеческой адаптации. Как уже отмечалось, наше понимание подобных

расточительных процессов только отчасти продвигается «клинической» редукцией подростковых феноменов к их инфантильному прошлому и к фундаментальной дихотомии побуждения и сознания. Мы должны также понимать функцию юности в обществе и истории, так как развитие подростка включает в себя новую совокупность процессов идентификации как со значимыми личностями, так и с идеологическими силами, которые тем самым принимают и силы, и (как мы должны сейчас определить) слабости юного сознания.

В молодости история жизни пересекается с историей; здесь индивиды утверждаются в своих идентичностях и сообществах, возрождая свой жизненный стиль. Но этот процесс также подразумевает неизбежное выживание юношеских способов мышления и юного энтузиазма в истории человека и идеологических перспективах, а также разрыв между благоразумием взрослого и идеалистическим убеждением, которое чрезвычайно очевидно у оратора, как политического, так и религиозного.

Как отмечалось в гл. II, исторические процессы уже вошли в ядро индивида в детстве. Прошлая история выживает в прототипах «добра и зла», которые направляют родительские представления и окрашивают волшебную сказку и семейное предание, суеверие и болтовню и простые уроки раннего обучения речи. Историки, как правило, анализируют не многое из этого; они объясняют только соперничество независимых исторических идей и равнодушны к факту, что эти идеи проникают в жизни поколений и снова всплывают через ежедневное пробуждение исторического сознания у молодых людей и обучение ему: через мифотворцев религий и политик, через искусство и науки, через драму, кино и беллетристику — через все, что более или менее сознательно, более или менее ответственно вкладывается в историческую логику, впитываемую юностью. И сегодня мы должны добавить к этому списку, по крайней мере для Соединенных Штатов, психиатрию и социальные науки и для всего мира — прессу, которая выставляет все значимое поведение на всеобщее обозрение и немедленно добавляет к фактам репортерское искажение и редакционный комментарий.

Мы говорили, что для того, чтобы войти в историю, каждое молодое поколение должно найти идентичность,

совместимую с ее собственным детством и с идеологической перспективой воспринимаемого исторического процесса. Но в юности скрижали зависимости детства начинают медленно переворачиваться: старым больше непросто учить молодых смыслу жизни. Это молодые своими реакциями и действиями сообщают старому, имеет ли жизнь, как она представляется им, некоторую витальную перспективу, и это молодые несут в себе силу поддерживать тех, кто поддерживает их, чтобы обновлять и возрождать, чтобы отрекаться от того, что прогнило, чтобы преобразовывать и бунтовать.

И к тому же существуют «молодежные лидеры», которые так или иначе идентифицируются с юностью. Я говорил о Гамлете как о неудавшемся идеологическом лидере. В его драме объединены элементы, из которых создается успешный идеологический лидер: это часто запоздалые подростки, которые именно из противоречий своего затянувшегося подростничества создают полярности своей харизмы. Индивиды с необычной глубиной конфликта, они часто также имеют необыкновенные дарования и сверхъестественное везение, с которыми они присоединяют к кризису целого поколения решение их собственного личностного кризиса — всегда, как формулировал это Вудро Вильсон, «влюбленные в широкомасштабную деятельность», всегда чувствующие, что их единственная жизнь предназначена для тогс, чтобы иметь значение для жизней всех людей, всегда убежденные, что то, что потрясло их, когда они были молоды, все, что было для них проклятием, падением, землетрясением, ударом молнии — короче, откровением, следует разделить со своим поколением и с многими, чтобы достичь цели. Их смиренное требование к существующему, выбранному против их воли, не препятствует желанию иметь универсальную силу. «Пятьдесят лет спустя, — написал Кьеркегор в своем духовном дневнике, — весь мир будет читать мой дневник». Он чувствовал, может быть, и не обязательно с сознанием триумфа, что надвигающаяся мертвая точка массовых идеологий должна вызвать вакуум, готовый для идеологии, аналогичной изолированности экзистенциализма. Мы должны изучить вопрос (я подошел к этому в моем изучении молодого Лютера), как действуют в истории идеологические лидеры — стремятся ли они к вла-

сти и затем сталкиваются с духовными сомнениями или сначала сталкиваются с духовной мукой и затем пытаются найти универсальное воздействие. Их ответы часто создают более широкую идентичность из всего, что беспокоит человека, особенно юного, в критические периоды: опасности, проистекающей от новых открытий и оружия, тревожности от травм детства, типичных для времени, и экзистенциального ужаса ограничений «эго», увеличенных дезинтегрирующих сверхидентичностей.

И приходя к мысли об этом, следует спросить, не придать ли особый, необычный смысл призванию рисковать и беспокоиться о том, чтобы дать такие всеобъемлющие ответы? Возможно ли это, доказуемо ли фактически, что среди наиболее страстных идеологов есть неперестроившиеся подростки, передающие своим идеям горделивый момент возвращения своего преходящего «эго», с их временной победой над силами существования и истории, но вместе с тем и с патологией их глубочайшей изоляции, защищенности их навечно подростничающего «эго» — и с их боязнью штиля взрослости. «Дальше сорока лет жить, — сказал герой «Записок из подполья» Достоевского, — неприлично, пошло, безнравственно!» Это подтверждают исследования, как исторические, так и психологические, показывающие, как некоторые из наиболее влиятельных лидеров отворачиваются от родительства только для того, чтобы впасть в среднем возрасте в отчаяние от результата их лидерства.

Ясно, что сегодня об идеологических потребностях почти всей интеллектуальной молодежи, придерживающейся гуманистических традиций, начинают заботиться через подчинение идеологии технологической сверхидентичности, в которой встречаются даже американская мечта и марксистская революция. Если их конкуренция может быть остановлена до того, как она приведет к полному взаимному уничтожению, возможно, что новое человечество, видя, что оно может сейчас как построить, так и разрушить все в гигантском масштабе, сосредоточит свои интеллектуальные силы (женские, так же как и мужские) на этических вопросах, касающихся человеческих поколений, — за пределами производств, сил и идей. Идеологии в прошлом также содержали этические коррективы, но новые этики должны в конечном счете переступить за

пределы союза идеологии и технологии, так как великим станет вопрос о том, как человек на этических и родовых основаниях ограничит применение технологической экспансии даже там, где это могло бы на некоторое время повысить престиж и выгоду.

Основы морали рано или поздно изживут себя, этика — никогда: это то, на что, кажется, указывает потребность в идентичности и в верности, возрождаемая каждым поколением. Можно показать, как принципы поведения в моралистическом смысле утверждаются на суевериях или иррациональных внутренних механизмах, которые фактически всегда вновь подтачивают этический склад поколений, но старая мораль не потребляется только там, где одерживают победу новые и более универсальные этики. Это та мудрость, которую слова многих религиозных учений пытались передать человеку. Он настойчиво цепляется за ритуализированные слова, даже если только смутно понимает их и в своих действиях полностью игнорирует или искажает. Но существует многое в древней мудрости, которая сейчас, возможно, может стать знанием.

Когда в близком будущем люди различных родовых и национальных прошлых соединятся, что должно в конечном счете стать идентичностью для единого человечества, они смогут найти начальный общий язык только в разработках науки и технологии. Это в свою очередь может хорошо помочь им сделать явными суеверия, имеющиеся в традиционных основах их морали, и может даже разрешить им быстро пройти через исторический период, в течение которого они должны поставить самовлюбленную сверхидентичность неонационализма на место их многократно эксплуатируемой слабости исторической идентичности. Но они должны также смотреть поверх главных идеологий «установленного» сейчас мира, предлагаемого им как ритуальные маски, для того чтобы пугать и притягивать. Важнейший результат — создание не новой идеологии, но универсальной этики, прорастающей из универсальной технологической цивилизации. Это может быть сделано только через мужчин и женщин — не идеологических юношей, не моралистических стариков, но тех, кто знает, что от поколения к поколению испытание того, что вы производите, — это *забота*, которую

оно вдохновляет. Если вообще существует какой-нибудь шанс, он в мире, более стимулируемом, более осуществимом и более древнем, чем все мифы, ретроспективы или перспективы, — он в исторической реальности, по крайней мере для тех, кто заботится об этике.

Глава VII

Женственность и внутреннее пространство

1

Повышенное внимание к положению женщины в современном мире объясняется множеством различных причин. Глобальная ядерная угроза, освоение космоса, развитие в глобальном масштабе коммуникаций — все это приводит к глубоким изменениям в восприятии географического пространства и исторического времени, вызывает необходимость пересмотра в рамках нового взгляда на человека наших представлений об идентичности обоих полов. Я не буду сейчас вникать в историю противоборства и примирения полов. Эту историю еще предстоит написать и даже просто осмыслить. Но ясно, что теперь, когда уже эмбриону в чреве матери грозит опасность быть отравленным ядами, созданными человеком и невидимо разлитыми в окружающей среде, одной из важных мужских прерогатив — разрешению конфликтов путем регулярных, все более масштабных и эффективных войн — пора положить конец. Возникает вопрос, действительно ли имеющийся сейчас в мире арсенал средств уничтожения имеет право на существование при том, что матери, дающие человеку жизнь, отстранены от принятия решений.

Угроза ядерного уничтожения свидетельствует о том, что воображение лидеров-мужчин плохо приспосабливается к меняющимся условиям. Одно из основных мужских качеств — любовь к тому, что «хорошо работает», к созданиям рук человеческих, независимо от того, предназначены ли они для разрушения или созидания. Именно поэтому мысль о необходимости пожертвовать какими-то высшими достижениями технологии и политическими триумфами ради спасения человечества не льстит мужской идентичности. Один из американских президентов сказал: «Ребенок — не статистическая единица»; эти слова свидетельствуют о необходимости разработки новой полити-

ческой и технологической этики. Возможно, если бы женщины набрались решимости публично высказаться в защиту того, за что они всегда стояли в ходе эволюции и истории (реальность семейной жизни, ответственность за воспитание детей, изобретательность в поддержании мира, врачевание), они внесли бы в политику в широком смысле этого слова этическое, сдерживающее и подлинно наднациональное начало.

На это, я думаю, надеются многие мужчины и женщины. Но их надежды наталкиваются на господствующие в нашей технологической цивилизации тенденции, а также на глубокое внутреннее сопротивление. Человек, всем обязанный самому себе, «даровав» женщинам относительную эмансипацию, мог предложить им в качестве образца для подражания лишь собственный, придуманный им самим образ. Завоеванная женщинами свобода была, таким образом, в значительной мере растрачена на получение ограниченного доступа к профессиональной конкуренции, стандартизованному потреблению и на создание своего семейного очага. Итак, женщине в типологических и космологических схемах, создание которых и поклонение которым было исключительной привилегией мужчин, было отведено почти прежнее место. Другими словами, даже там, где равенство было достигнуто в наибольшей мере, оно не стало равноценным, а равные права ни в коей мере не обеспечили равное представительство женщин в борьбе за власть. Имея в виду колоссальную односторонность технологического прогресса, угрожающую сделать человека его рабом, популярный сегодня спор между мужчинами и женщинами: может ли и каким образом женщина стать «полноценным человеком» — поистине грандиозная пародия. Сам по себе вопрос, что́ значит быть «полноценным человеком» и кто наделен правом считать таковым других, показывает, что спор о мужском и женском начале в природе человека затрагивает довольно фундаментальные проблемы.

Их решение невозможно без изучения эмоциональных реакций или возражений, затрудняющих взаимопонимание. Мы уже убедились, что практически невозможно обсуждать природу женщины или проблему воспитания, не затрагивая аргументов «за» и «против» недавней эмансипации. Нравоучительный пыл моралистов отстает от меняющихся условий жизни, а феминизм с подозрительностью следит за всеми попытками мужчин дать определение

особенностей женщины, как будто особенности изначально предполагают неравенство. И все же большинству женщин, видимо, трудно отчетливо выразить наиболее глубокие свои чувства, кратко и предельно ясно изложить наиболее важные и актуальные свои проблемы. Некоторые женщины, наделенные способностью наблюдать и глубоко мыслить, очевидно, не склонны обнаруживать свой природный ум, опасаясь показаться недостаточно умными. Даже успешная конкуренция в сфере науки не поправила положения. Итак, женщин все еще нетрудно «поставить на место» везде, где они чувствуют себя не на своем месте. По-видимому, большой проблемой являются взаимоотношения женщин, играющих заметную роль в жизни общества. Насколько мне известно, женщины-лидеры склонны к постоянной морализаторской или резкой манере общения. Как правило, их мало волнуют проблемы и взгляды других женщин, далеких от решения глобальных проблем.

Мужчины реагируют на «феминистскую угрозу» двояко. Одни полностью ее игнорируют, другие реагируют на нее весьма возбужденно, но несомненно одно — мужчины любой ценой хотят сохранить противоположность полов, важнейшее противостояние, то фундаментальное различие, которое может, по их мнению, утратиться в условиях равенства или как-то стереться из-за слишком частых рассуждений на эту тему. Кроме того, защитная реакция мужчин (в том числе высокообразованных) имеет много других аспектов. Например, когда мужчина испытывает желание, он хочет пробудить ответное желание, а не сочувствовать или вызывать сочувствие. Если же он не испытывает желания, ему трудно заставить себя сочувствовать, особенно если сочувствие предполагает необходимость поставить себя на место другого. Страх перед размытостью различий способен убить и радость от восприятия «другого», и сочувствие к себе подобному. Понятно также, что тогда, когда господствующая идентичность может оставаться идентичностью лишь в качестве господствующей, трудно гарантировать настоящее равенство тому, кто подчиняется. И наконец, когда человек чувствует, что он поставлен под удар, что он в опасности или загнан в угол, сохранять здравомыслие весьма непросто.

Все это объясняется очень старыми психологическими причинами. Как правило, мужчины игнорируют то, чего не понимают. Среди «запретных» тем — физиологические

изменения и эмоциональные испытания, связанные с вечным чудом: беременностью и родами. Это тревожит каждого мужчину и в детстве, и в молодости, и в зрелом возрасте. В описаниях культур и исторических эпох мужчины представляют эту сторону жизни как нечто неизбежное, но второстепенное; выживание человечества обычно приписывается замечательной согласованности мужских замыслов. При этом забывается, что в то время, как эти замыслы подвергались проверке и многие из них ее не выдерживали, на долю женщин выпадало поддержание основ жизни, их восстановление и воспитание восстановителей. Очевидно, что новое соотношение мужского и женского, отцовского и материнского начал подготовлялось не только современными переменами в отношениях между полами, но и более широкой осведомленностью, распространявшейся там, где развивались наука, технология и настоящее самонаблюдение. Но обсуждение этого вопроса сегодня предполагает признание того, что попытка «обмена взглядами» может скорее временно усугубить, нежели разрешить старые противоречия и неопределенность.

2

Есть еще одно соображение, которое должно предварить обсуждение столь неполно сформулированного и столь актуального вопроса. Решая какую-либо проблему, человек хочет и должен начать с того момента, который, как ему кажется, проясняет или, наоборот, затрудняет ситуацию. Но тут он может услышать что-то похожее на слова одного фермера, ответившего шоферу, спросившему у него дорогу, следующее: «Ну, я бы на вашем месте ехал не отсюда».

Вот и я тоже начинаю оттуда, откуда начинаю. В предисловии, написанном на основе статьи для молодежного журнала «Daedalus»[1], я указал на то, что обсуждение идентичности молодых женщин, по сути, так и не состоялось, хотя автор начал его весьма решительно. Я считаю это серьезным теоретическим упущением. Психологи и врачи-психоаналитики знают, что решающий для развития цельной женской идентичности момент — это переход от юности к зрелости, когда молодая женщина, неважно какой профессии, о которой раньше заботились родители,

оставляет родительскую семью и посвящает себя любви к чужому человеку и заботам об их общем ребенке.

Я высказывал мнение, что душевная и эмоциональная способность принимать и соблюдать верность — свидетельство окончания юности, тогда как зрелость начинается со способности принимать и проявлять любовь и заботу. Ведь сила поколения (а под этим я имею в виду основные установки, на которых основано все многообразие систем ценностей) определяется процессом, в котором двое молодых людей противоположного пола находят каждый свою индивидуальную идентичность, а затем соединяют их в интимных отношениях, возобновляя каждый традиции своей семьи, и вместе производят и растят новое поколение. В этот период все половые различия и склонности, сформировавшиеся ранее, окончательно поляризуются, поскольку они участвуют в процессе воспроизводства, характеризующем период зрелости. Но в чем особенности формирования идентичности женщины, определяющиеся тем, что в ее теле существует «внутреннее пространство», в котором вынашивается ребенок избранного ею мужчины, что в свою очередь определяет ее биологическое, психологическое и этическое предназначение — материнство? И не это ли предназначение (независимо от того, работает ли женщина, и даже от того, есть ли у нее дети) — основная проблема женской верности? Исследуемая психоанализом психология женщины «начинается», однако, не с этого. В соответствии со своей ориентацией на истоки, то есть со стремлением объяснить проблему в корне, психоанализ начинает с самых ранних впечатлений о различиях полов, в основном реконструированных на основании показаний клиенток, которые не в ладах со своей женской природой и с тем, что она, как им кажется, обрекает их на вечное неравенство. Но поскольку психоаналитический метод мог формироваться лишь в процессе работы с остро страдающими людьми, будь то взрослые или дети, клинические наблюдения стали отправной точкой изучения того, как маленькая девочка, постепенно начинающая осознавать половые различия, путем наблюдения — при помощи зрения или осязания — узнает, какие ощущения доставляют ей удовольствие, а какие — вызывают неприятную напряженность или к каким она может приходить заключениям, используя свои познавательные способности или воображение. Я думаю, что на психоаналитическую концепцию женщины

сильно повлияло то, что первые и основные данные были получены психоаналитиками, в задачу которых входило понять природу того или иного негативного психологического состояния и облегчить его, и то, что им нужно было постигнуть женскую душу через сопереживание, предложив ей «принятие реальности».

Тот факт, что дети обоих полов рано или поздно «узнают», что у одного из полов пенис отсутствует, а на его месте — отверстие, похожее на рану, послужил основой для обобщений, касающихся природы и воспитания женщин. Но в дальнейшем стали склоняться к другой точке зрения: неразумно предполагать, что наблюдение и переживание должны (если исключить острые кратковременные расстройства) обязательно фиксироваться на том, чего нет. Любой ребенок женского пола и в любых условиях, кроме городских, скорее всего, поймет, наблюдая старших девочек, женщин, самок животных, что в их теле существует некое внутреннее пространство, предназначенное для воспроизводства, но несущее одновременно потенциал опасности.

Здесь имеются в виду не только беременность и роды, но и лактация, и все другие части женского тела, ассоциируемые с наполненностью, теплотой и щедростью. Интересно, например, вызывают ли у девочек такую же тревогу, как у некоторых мальчиков, признаки беременности или менструации или они подсознательно воспринимают это как нечто естественное — если, конечно, они не «защищены» от возможности осознать универсальность и смысл этих естественных явлений. Несомненно, на разных стадиях детства наблюдения интерпретируются в соответствии с познавательными возможностями возраста, воспринимаются по аналогии с наиболее остро ощущаемыми органами тела и сопровождаются преобладающими в этом возрасте побуждениями. Сны, мифы и обряды свидетельствуют о том, что влагалище вызывает ассоциации с поглощающим пищу ртом, с выводящим выделения сфинктером, помимо ассоциаций с кровоточащей раной. Однако весь опыт становления и самоощущения себя мужчиной или женщиной, по-моему, не может определяться исключительно страшными аналогиями и фантазиями. Чувственная реальность и логические выводы уточняются кинестетическим опытом и воспоминаниями, которые «понятны»; и в этом общем контексте существование продуктивного

внутреннего пространства, надежно укрытого в глубине женского тела, имеет, как мне кажется, большее значение, чем отсутствие внешнего органа.

Я начал с этих рассуждений, так как думаю, что определение половых различий должно как минимум принимать во внимание постфрейдистские теории, чтобы устоять перед нападками и возражениями сторонников дофрейдистских взглядов.

3

Я хотел бы теперь поделиться наблюдениями за детскими играми. Они позволят мне разъяснить суть дела, не прибегая к дополнительным комментариям. Речь идет о десяти-двенадцатилетних мальчиках и девочках, которые дважды в год приходили в Калифорнийский Педагогический Центр для осмотра, собеседования и тестирования. В течение двух десятилетий дети (и их родители) не только регулярно приходили, но и не стесняясь делились своими мыслями, и даже делали это, используя любимое слово Джин Макфарлейн, директора Центра, с большим «жаром». Дети не сомневались в том, что в них видят взрослеющую индивидуальность, и охотно проявляли себя, раскрывая то, что (как им убедительно объяснили) необходимо и полезно было знать специалистам. Так как до того, как я стал участником этого исследования, я занимался интерпретацией игрового поведения — анализ невербального поведения помогал мне понять то, что мои маленькие клиенты не могли выразить словами, — было решено, что я отберу несколько игровых конструкций, построенных детьми, а затем сравню их с другими доступными мне данными. За два года я трижды встретился со 150 мальчиками и 150 девочками и просил каждого с помощью игрушек изобразить какую-нибудь сценку. Игрушки были самые обычные: несколько кукол (полицейский, летчик, индус, монах и т.д.), диких и домашних животных, мебель, машины и просто кубики. Я просил детей представить себе, что стол — это киностудия, игрушки — актеры, а сами они — режиссеры. Нужно было представить увлекательный эпизод из какого-нибудь фильма, а потом объяснить его. Рассказ мы записывали, место действия фотографировали. Возможно, следует добавить, что

никаких «интерпретаций» с нашей стороны не давалось. Мы просто хвалили детей[2].

Затем мы сопоставляли построенное ребенком с его биографическими данными, пытаясь понять, дает ли это какой-нибудь ключ к его психическому развитию. Обычно такое сопоставление оказывалось полезным, но здесь речь не об этом. Данный эксперимент позволил также сравнить творческие способности детей.

Некоторые дети выполняли задание с несколько презрительным видом — как не вполне достойное усилий молодого человека, которому уже больше десяти, — но почти все дети принимались за дело с той готовностью помочь нам, которая была свойственна в Центре всем.

Скоро стало ясно, что главное здесь — пространство. Лишь половина сцен была «увлекательной» и редко какая имела отношение к кино. Сюжеты были чаще всего краткими и по богатству тем не шли ни в какое сравнение с результатами вербальных тестов. Но старательность и (не удержаться от этого слова) эстетическая ответственность, с которой дети выбирали кубики и игрушки, а затем располагали их в соответствии с, видимо, глубоко укорененными представлениями о том, как должно быть организовано пространство, поражали. Создавалось впечатление, что у них вдруг появлялось ощущение: «Вот теперь все правильно», дело сделано, и, как бы очнувшись от бессловесных переживаний, они оборачивались ко мне и говорили: «Готово», имея в виду, что они готовы рассказать о том, что построили.

Меня больше всего интересовали не столько сюжеты, сколько организация пространства: как она соотносится с возрастом и с видами неврозов в период, предшествующий половой зрелости. Таким образом, сначала половые различия не были в центре моих интересов. Я обращал внимание на то, занимали ли конструкции все пространство стола или только его часть, росли ли они ввысь или вширь. Все это могло немало сказать об исполнителе. Но скоро я понял, что, оценивая конструкцию, построенную ребенком в процессе игры, я должен учитывать, что девочки и мальчики по-разному используют пространство и что некоторые явно повторялись, а другие были уникальны.

Сами по себе эти различия настолько просты, что сначала казались самоочевидными. Но затем мы убедились,

что девочки «выделяли» *внутреннее* пространство, а мальчики — *внешнее*.

Скоро с помощью таких простых пространственных терминов я смог объяснить это различие. Благодаря этому другие исследователи по одним только фотографиям конструкций могли рассортировать фотографии в соответствии с преобладающими в них конфигурациями, причем здесь прослеживалась явная статистическая закономерность. Эти независимые оценки показали, что более двух третей конфигураций, которые я впоследствии назвал мужскими, встречались в конструкциях мальчиков, а более двух третей «женских» — в конструкциях, построенных девочками. (Я опускаю здесь подробности, характеризующие нетипичные, но явно построенные мальчиками или девочками конструкции.) Итак, перечислим типичные признаки: девочки конструировали *внутреннее пространство* дома — расставленная определенным образом мебель, не огражденная стенами, или замкнутое, *огороженное* кубиками пространство. У девочек люди и животные находились чаще всего *внутри* такого пространства в статичных позах. Ограждения представляли собой низкие стены (высотой в один кубик), но иногда встречались более *сложные* конструкции с дверными проемами. Представленные сценки были весьма незамысловатыми, отражающими в основном *спокойную* семейную жизнь. Часто маленькая девочка играла на пианино. Но иногда в это внутреннее пространство *вторгались* животные или «опасные» мужчины. Но вторжение не обязательно приводило к сооружению защитных стен или к закрыванию дверей. В большинстве своем эти сюжеты скорее несли в себе элемент комизма.

Мальчики увлекались строительством сложных сооружений конусоидальной или цилиндрической формы. Но действие происходило исключительно на *открытом пространстве*, причем позы людей и животных были весьма динамичными. Несколько сценариев отражали *автодорожные происшествия* или уличные ситуации, в центре которых обязательно был полицейский. У большинства мальчиков преобладали *высокие постройки.* Некоторые тешились разрушительной деятельностью, устраивая обвалы или крушения; *руины* изображали только мальчики!

Итак, в мужском и женском пространстве преобладали, соответственно: высота и обвалы, интенсивное регулируемое движение и статичное внутреннее пространство, не-

замкнутое либо просто огороженное, мирное или подвергшееся нападению. Некоторых удивит, а другим может показаться само собой разумеющимся, что половые различия в организации игрового пространства, видимо, отражают различия в строении половых органов: у мужчин наружный орган, способный напрягаться и внедряться, направляющий подвижные сперматозоиды; у женщин — внутренние органы с преддверием, ведущим к неподвижно выжидающим яйцеклеткам. Вопрос в том, какую это дает нам информацию об обоих полах.

4

Пятнадцать лет назад я сообщил эти данные специалистам, работающим в разных областях, но некоторые стандартные интерпретации не изменились ни на йоту. Иногда, конечно, сталкиваешься с насмешливой реакцией: считается, что психоаналитик обязательно объяснит данные такого рода через старые символы. И действительно, более полувека назад Фрейд отмечал, что «дом — единственный регулярно повторяющийся в снах символ человеческого тела». Но с точки зрения методологии есть большая разница между появлением символа в снах и реальной пространственной конфигурацией. Тем не менее было выдвинуто чисто психоаналитическое или соматическое объяснение: эти построения отражают сосредоточенность ребенка доподросткового возраста на своих половых органах.

Чисто «социальная» интерпретация отрицает в этих конфигурациях что бы то ни было символическое или соматическое. Считается самоочевидным, что мальчикам больше нравится быть на улице, а девочкам — дома или, во всяком случае, что они видят свое предназначение, соответственно, в том, чтобы жить дома или выходить на широкий простор приключений; в спокойной женской любви к семье и детям или в высоких мужских дерзаниях.

Нельзя не согласиться с обеими интерпретациями — до определенного предела. Разумеется, любая социальная роль, связанная с физическими данными человека, отразится в темах игр или художественного творчества. И конечно, если у человека одна из частей тела напряжена или он на ней сосредоточен, она воспроизводится в игровых построениях: на этом основана игровая терапия. Таким образом, сторонники и соматической и социальной

интерпретаций в какой-то степени правы, настаивая на том, что ни одну нельзя исключать из рассмотрения. Но это вовсе не значит, что те или другие абсолютно правы.

Социальная интерпретация не дает ответа на слишком многие вопросы. Если бы мальчики думали только о своей настоящей или будущей роли, тогда почему, например, полицейский является их любимой игрушкой? Почему они часто воспроизводят дорожные ситуации, главным действующим лицом которых является грозный полицейский? Если в сценах, изображенных мальчиками, решающее значение имеет бурная деятельность вне дома, то почему они не строили спортивных площадок? (Как это сделала одна девочка с мальчишеским характером.) Почему любовь девочек к дому не выразилась в постройке высоких стен и закрытых дверей как залога интимности и безопасности? И можно ли считать куклу, играющую на пианино в кругу семьи, отражением самых сильных стремлений этих девочек (к верховой езде и вождению автомобиля)? Итак, получив указание: изобразить увлекательный киноэпизод, мальчики изображали динамичную жизнь в открытом пространстве, а девочки — добродетельную жизнь внутри дома. В этом проявились функциональные проблемы и острые конфликты, не объясняемые теорией простого подчинения осознанным культурным ролям.

Я бы предложил гораздо более многоплановую интерпретацию: между полами имеется глубокое различие в восприятии человеческого тела. Речь здесь скорее о склонностях и предпочтениях, нежели об исключительной способности, ибо и мальчики и девочки (одного возраста и примерно одинакового развития) быстро научаются имитировать пространственные модели противоположного пола. Таким образом, наша интерпретация никоим образом не подразумевает, что каждый из полов навечно привязан к той или иной пространственной модели; скорее предполагается, что, когда нет подражания или соревнования, эти модели «более естественны», и на это есть природные причины, которые должны нас интересовать. В таком случае наблюдаемое нами явление отражает два принципа организации пространства, соответствующие мужскому и женскому принципам устройства человеческого тела.

Особенно явно они могут проявляться в период, предшествующий половой зрелости, а также в некоторые другие периоды жизни, но и играть существенную роль при

распределении половых ролей на протяжении всей жизни человека. Разумеется, эта интерпретация не может быть «доказана» лишь при помощи приведенных здесь данных. Вопрос в том, как она соотносится с другими данными о пространственном поведении в иной среде, в иные эпохи: может ли она правдоподобно объяснить некоторые явления психического развития, способна ли она более убедительно объяснить другие половые различия, тесно связанные с устройством и функциями мужского и женского организма. При этом, если бы другие методы наблюдения выявили, что в тех сферах мозговой деятельности, которые обеспечивают вербальное или логическое единообразие в восприятии людьми математики или культурных традиций, половые различия незначительны или их нет вообще, это бы ей не противоречило. Именно данное единообразие может корректировать различия в восприятии обоими полами мира.

«Игры» детей в (Беркли) Калифорнийском Педагогическом Центре еще наведут нас на целый ряд размышлений о пространстве, особенно в том, что касается развития и мировоззрения женщины. О мужчинах остается сказать немного. Их достижения в освоении географических пространств и сфер научных исследований, в распространении идей говорят сами за себя и еще раз доказывают истинность традиционных мужских ценностей.

Чрезвычайно одаренное, но несколько инфантильное человечество с увлечением играет в исторические и технологические игры и воспроизводит такую же поразительно простую (несмотря на ее технологическую сложность) модель мужского поведения, как и упомянутые детские сооружения. Не повторяются ли мотивы игрушечного микрокосмоса в занимаемом человечеством пространстве: высота, внедрение, скорость, столкновение, взрыв — и межпланетарная полиция? При формировании женской идентичности главная роль отводится качествам заботливой хозяйки, любящей матери сообразно ее природе, не смеющей подвергать сомнению мужские прерогативы.

5

Прежде чем пойти дальше, я должен вернуться к сказанному ранее о том, что результаты наблюдений за детьми в Педагогическом Центре хотя и были неожиданными, но,

казалось, подтверждали нечто давно известное. Они прояснили многие упоминавшиеся ранее сомнения, касающиеся психоаналитических теорий женской психики. Большинство первых выводов психоанализа основано на представлении о так называемой «половой травме»: девочка вдруг осознает, что у нее нет и никогда не будет пениса. Предположение, что женщинам свойственна зависть, что девочка отворачивается от матери и привязывается к отцу, когда обнаруживает, что мать не только лишила ее пениса, но и сама его лишена, и, наконец, склонность женщин отказываться от мужской агрессивности в пользу «пассивно-мазохистской» ориентации — все эти посылки основаны на концепции «травмы», и все они использовались при тщательной разработке теорий женственности. Все это в той или иной степени присутствует во всех женщинах, что неоднократно доказывалось практикой психоанализа. Но всегда следует иметь в виду, что данный метод, вероятно, особенно успешно обнаруживает те истины, для открытия которых он создает специальные условия, в данном случае это излияние в потоке свободных ассоциаций скрытых обид и подавленных травм. Эти же истины становятся весьма относительными в рамках нормативной теории развития женской психики. Там они, видимо, подчинены главному — наличию продуктивного внутреннего пространства. Это позволяет перенести теоретический акцент с потери внешнего органа на ощущение жизненно важного внутреннего потенциала, с презрения и ненависти к матери на чувство солидарности с ней и другими женщинами, с «пассивного» отказа от участия в мужских сферах деятельности на целенаправленную деятельность, сообразную наличию яичников, матки и влагалища, с мазохистского удовольствия от боли на способность переносить (и принимать) боль как значимый аспект существования человека вообще и женщины в частности. Так и обстоит дело с «абсолютно женственными» женщинами, что отмечали многие выдающиеся авторы, хотя в их терминологии ключевым был психопатологический термин «мазохизм», названный — что показательно — по имени австрийского писателя Л. Захер-Мазоха, описавшего это сексуальное извращение как сексуальное возбуждение и удовлетворение, связанные с причиняемой партнером болью (хотя склонность причинять боль была названа по имени маркиза де Сада).

Если согласиться с этим, то много разрозненных данных выстроится в систему. Но врач обязан по ходу дела задать себе и такой вопрос: какой тип мышления создал такую терминологию, такую теорию психического развития и позволил выдающимся врачам-женщинам принять ее? Этот тип мышления, как мне кажется, восходит не только к ранней стадии психоанализа как ответвления психиатрии, но и к изначально аналитико-атомистической природе используемого им метода. В естественных науках атомистическое мышление в значительной мере соответствует самому строению материи и, таким образом, способствует ее познанию.

Но, применяя атомистическое мышление к человеку, мы «расчленяем» его скорее на изолированные фрагменты, чем на составные части. Человек в патологическом состоянии действительно состоит из фрагментов, так что в психиатрии атомистически мыслящий врач может столкнуться с феноменом распада и ошибочно принять фрагменты за атомы. В психоанализе мы для собственного ободрения (и в качестве аргумента в споре) повторяем, что психику человека удобнее всего изучать в состоянии частичного распада или, во всяком случае, ярко выраженного конфликта, потому что конфликт очерчивает границы и проясняет, какие силы вступают в противоборство на этих границах. По словам Фрейда, структура кристалла видна лишь тогда, когда он дает трещину. Но кристалл отличается от организма или личности: он неодушевлен. Тогда как мы имеем дело с органическим целым, которое нельзя разбить, не повредив его части. «Я», которое, согласно психоаналитической теории, стоит на страже внутренней цельности, в патологическом состоянии в той или иной степени парализуется, то есть теряет способность упорядочивать личность и опыт и соотносить себя в процессе взаимодействия с другим «я». Поэтому подсознательные защитные механизмы «я», находящегося в состоянии конфликта или изоляции, изучать «легче», чем «я», активно взаимодействующее с окружением человека. И все же я не думаю, что можно полностью понять нормальное функционирование «я», исходя из аномалий в его функционировании, и что все важнейшие конфликты следует понимать как неврозы.

Итак, основные положения неофрейдизма следующие: комплексы и конфликты, выявленные психоанализом в его

первых попытках описать природу человека, действительно существуют; они действительно могут доминировать во время случайных или закономерных в развитии психики жизненных кризисов. Но новизна и целостность опыта и перспектив, возникающих в результате разрешения кризиса, могут со временем оказаться сильнее травм и защитных механизмов. Для примера я кратко остановлюсь на часто повторяемом положении о том, что маленькие девочки в определенный период «обращаются» к отцу, в то время как до того они привязаны в основном к матери. В действительности Фрейд настаивал лишь на том, что теоретически «либидо» переходит с одного объекта на другой; эта теория одно время импонировала ученым, потому что вызывала аналогии с простой и (в принципе) измеримой передачей энергии. Однако с точки зрения развития психики девочка обращается к отцу в то время, когда период ее полной зависимости от матери завершен. Ее отношения с отцом носят совершенно иной характер, чем отношения с матерью; они приобретают особую важность потому, что девочка уже научилась доверять матери и более не подвергает сомнению эти основные отношения. Теперь в ней может возникнуть новая любовь — к существу, которое в свою очередь способно или должно быть способно реагировать на пробуждающееся в ней дразнящее женское начало. Таким образом, это процесс гораздо более многосторонний, чем простое утверждение, что объектом либидо для девочки становится отец, а не мать. Такой перенос можно реконструировать как изолированный «механизм» только тогда, когда «я» в какой-то степени утратило способность упорядочивать опыт в соответствии с эмоциональным, физическим и интеллектуальным созреванием. Только в этом случае можно говорить о том, что девочка обращается к отцу, поскольку она разочарована в матери — так как мать отказалась предоставить ей нечто, а именно пенис. Без сомнения, некоторые ранние разочарования и новые надежды играют важную роль во всех сменах привязанности от одного человека или вида деятельности к другому, но при любой нормальной смене перспективы, открываемые новыми отношениями, перевесят память о старых разочарованиях. Нет сомнения и в том, что за новыми привязанностями последуют новые разочарования, так как продуктивная функция внутреннего пространства, которая, по нашему предположению, в рудиментарном виде присутствует в сознании уже в

раннем возрасте, вызовет у маленькой женщины такие фантазии, которые будут подавляться, а это неминуемо приводит к фрустрации. Например, осознание того, что дочь не может быть матерью детей своего отца. Несомненно и то, что само существование продуктивного внутреннего пространства рано вызывает у женщин специфическое чувство одиночества, страх, что оно останется незаполненным, что ее лишат чего-то ценного, боязнь иссушения. Это имеет не меньшие последствия как для отдельно взятого человека, так и для всего человечества, чем мечты и разочарования маленькой Электры*. Именно поэтому совершенно не следует считать, что эти чувства объясняются исключительно обидой девочки на то, что она не мальчик, или на то, что ее искалечили.

Вернусь к детским конструкциям и поясню, в каком смысле они были неожиданными и в то же время предсказуемыми. Неожиданным было то, что все пространство отражало половые различия, и это выходило далеко за рамки символического изображения половых органов. А предсказуемы эти данные были прежде всего как полученные в обычных клинических условиях невербальные аргументы в пользу распространенных предположений о важности «внутреннего пространства» в жизненном цикле женщин. Биографии девочек, приходящих в Педагогический Центр, вне этой посылки не поддавались интерпретации, так же как и истории болезней женщин всех эпох. Ибо, как уже говорилось, клинические наблюдения свидетельствуют о том, что для женщины «внутреннее пространство» — источник отчаяния, хотя оно же и условие ее реализации. Пустота для женщины — гибель. Это чувство иногда свойственно и некоторым эмоциональным мужчинам (о них мы поговорим позже). Например, одиночество, лишение сердечного тепла, утрата жизнеспособности означают для женщины опустошение. Мужчины, как правило, не понимают, почему женщина так глубоко страдает. Иногда страдающая женщина вызывает сочувствие, иногда — безразличие. Если в молодом и зрелом возрасте приступы душевной боли возникают у женщины время от времени (это связано, например, с менструацией,

---

* Электра — в греч. мифологии дочь Агамемнона и Клитемнестры, убившая мать и ее возлюбленного Эгисфа из чувства мести за отца. — *Прим. ред.*

потерей близкого человека и т.д.), то в климактерический период ощущение пустоты и одиночества становится постоянным. С медицинской точки зрения это совершенно нормальное состояние, свойственное климактерическому периоду. Первобытные люди старались помочь женщине избавиться от него, прибегая к очистительным обрядам. Современные просвещенные мужи, преисполненные технологической гордости, смогли предложить лишь одно объяснение: страдающая женщина более всего стремится к тому, что есть у мужчин, а именно внешнему оснащению и традиционному доступу к «внешнему» пространству. Действительно, такая зависть живет во всех женщинах и в некоторых культурах выражена особенно сильно; но ее объяснение при помощи терминов, предложенных мужчинами, и установка на то, что она неизбежна и может компенсироваться лишь удвоенным наслаждением, получаемым при помощи прелестей женского тела (должным образом оцененных и признанных второсортными), не помогли женщинам найти свое место в современном мире. Это превратило женственность в универсальный компенсаторный невроз, характеризующийся ожесточенным стремлением к «обретению отнятого».

Итак, я сделаю два обобщения. Я считаю, что в психоанализе не было придано должного значения различиям способов воспроизводства, обусловленным анатомическими различиями, и я постараюсь сформулировать допущение, что способы воспроизводства в большей или меньшей мере определяют состояния возбуждения и вдохновения и, при условии их интеграции, обогащают опыт любого человека и обеспечивают его передачу другим.

Придавая важнейшее значение половым различиям, я тоже на первый взгляд воспроизвожу часто навязчивое пристрастие психоанализа к половым символам и игнорирую то обстоятельство, что женщины, так же как и мужчины, приспособлены для различных видов деятельности, а не только для половой, и бо́льшую часть времени занимаются ими. Но хотя как подавление сексуальности, так и сосредоточенность на ней изолируют сексуальность от прочих аспектов человеческого существования, нас должно интересовать то, как половые различия, когда-то принимаемые за нечто само собой разумеющееся, интегрированы в нем. Но половые различия, помимо того что имеют следствием поляризацию стилей жизни и возможность

получить максимальное удовольствие от противоположного пола (которое теперь более чем когда-либо может быть отделено от воспроизводства), тем не менее сохраняют морфологию воспроизводства. Медицинские исследования роли внутреннего пространства в сексуальных реакциях людей, проводимые в Сен-Луи, выявили огромное значение органов размножения.

6

Если «внутреннее пространство» — столь универсальная конфигурация, оно должно присутствовать и на начальных стадиях развития общества. И здесь мы опять можем обратиться к визуальным данным.

Фильмы, снятые в Африке Уошберном и Девор, дают ясную картину основных форм социальной организации бабуинов. Стадо, перемещающееся по определенной территории в поисках пищи, организовано таким образом, что беременные и кормящие детенышей самки находятся в самой середине, в безопасном внутреннем пространстве. Их окружают защитники — сильные самцы, роль которых заключается в нахождении мест пропитания и защите сородичей от возможной опасности. В мирное время сильные самцы также защищают «внутренний круг» — беременных или кормящих самок — от посягательств как своих менее сильных, так и чужих самцов. Как только появляется сигнал об опасности, самцы тут же занимают оборонительную позицию, образуя круг, внутри которого находятся беременные самки и матери с новорожденными.

На меня эти фильмы произвели впечатление не только красотой природы и мастерской работой съемочной группы, но и тем, что я увидел в дикой природе конфигурации, аналогичные детским игровым постройкам. Но картины о бабуинах позволяют нам сделать еще один шаг вперед. Все различия в строении костей, в позах, в моделях поведения самок и самцов приспособлены к выполняемым ими функциям: прикрывать и защищать концентрированные круги — от самок, производящих на свет потомство, до границ охраняемой территории. Таким образом основные морфологические черты «приспособлены» к определенным функциям и, следовательно, получают дальнейшую разработку в основных социальных структурах. Стоит подчеркнуть, что даже у бабуинов лучшие во-

ины проявляют «рыцарство», беря на себя более тяжелую работу и защиту слабых.

Итак, как для предков человека, так и для самого человека справедливо следующее: то, в каком отношении самка слабее, определяется не сравнением отдельных мускулов, способностей или признаков, а их функциональным назначением в организме, который в свою очередь вписывается в систему разделения функций.

Конечно, человеческое общество и технология вышли за рамки эволюции — стала возможной успешная культурная адаптация, но одновременно с этим часто встречается плохая физическая и психическая приспособляемость. Но когда мы говорим о сильных и слабых биологических сторонах женщины, для сравнения всех различий приходится принимать за биологическое основание половую дифференциацию. При этом продуктивное внутреннее пространство, возможно, является обязательным критерием, независимо от того, полностью или частично ее жизнь, в силу обстоятельств, ему соответствует. В любом случае можно показать, что многие поддающиеся проверке пункты в длинном списке «врожденных» различий между мужчинами и женщинами имеют большой смысл: как у всех млекопитающих, человеческий зародыш должен в течение определенного времени пробыть в утробе, после появления на свет младенца надо кормить грудью или, во всяком случае, растить в материнской обстановке, а для этого больше всего подходит именно мать (это способствует и пробуждению в ней самой материнских чувств). Но постепенно в этом начинают участвовать другие женщины. Речь идет здесь о годах специфического женского труда. Женщины более выносливы, чем мужчины. Отсюда и меньшая их смертность при рождении и меньшая подверженность некоторым опасным заболеваниям, например сердечным, у них выше средняя продолжительность жизни. Понятно и то, почему девочки раньше, чем мальчики, могут сосредоточивать внимание на непосредственно наблюдаемых в пространстве и времени мелочах и вообще тоньше различают все видимое, слышимое и осязаемое. Они реагируют на явления окружающего их мира острее, индивидуальнее, с большим состраданием. Более уязвимые и ранимые, они тем не менее быстрее восстанавливаются. Естественно предположить, что все это имеет большое значение для выполнения «биологической» задачи — удов-

летворения различных потребностей других, особенно тех, кто слабее; и поэтому не стоит рассматривать как достойное сожаления неравенство то, что в отношениях мускульной силы женщины слабее, у них ниже скорость и хуже координация. Маленькие девочки также привыкают легко довольствоваться более узкой сферой деятельности и меньше сопротивляться контролю, в них меньше той импульсивности, которая позже приводит к «правонарушениям» у мальчиков и мужчин. Все эти и более явные «различия» проявились и в игровых конструкциях.

Стало ясно, что многие из описанных здесь основных свойств женщин в каком-то виде присутствуют и у мужчин, и очень существенны у мужчин одаренных или у очень слабых. В своей внутренней жизни некоторые мужчины с художественными или творческими склонностями могут уходить в себя, в свой чуткий внутренний мир, обычно считающийся свойством женщин, и это, конечно, компенсирует их биологическую принадлежность к мужскому полу. Вынашивая свои идеи, доводя свой замысел до завершения, они подвержены циклическим сменам настроения. Дело в том, что основные свойства женщин существуют в рамках всеобщей модели, которая по понятным причинам формируется во всех культурах у большинства женщин: для обеспечения коллективного выживания и реализации каждого индивида в отдельности. В таком случае вряд ли имеет смысл, говоря об основных половых различиях, использовать в качестве аргументов недостатки или достоинства (или и то и другое сразу) незаурядных мужчин или женщин, не принимая во внимание многосторонность их личности, их внутренние конфликты, их биографию. С другой стороны, следует подчеркнуть и то (особенно в эпоху постпуританской цивилизации, которая по-прежнему навязывает определенный образ жизни, безжалостно штампуя людей по одному образцу), что разные этапы жизни предоставляют взрослеющим индивидам достаточно возможностей варьирования в определенных рамках.

Подростковый период я назвал периодом психосоциального моратория — узаконенным периодом отсрочки взросления. Юная девушка в отличие от маленькой девочки и зрелой женщины может быть относительно свободна от тирании внутреннего пространства. В самом деле, она может осмелиться на выход во «внешнее пространство», манера держаться и любознательность часто кажутся

не вполне женственными или даже совсем «мужеподобными». Тем самым репертуар ее поведения в пространстве увеличивается, и во многих обществах в противовес этому действуют специальные правила, предписывающие девушкам сдержанность. Однако там, где позволяют нравы, молодая девушка примеряет на себя целый ряд возможных идентификаций с фаллически подвижным мужчиной, даже тогда, когда она экспериментирует с возможностью быть его партнером и объектом его внимания. Это кажущееся противоречие. Постепенно она превратится в настоящую женщину — появится женский и свой личный стиль. Внутреннее пространство по-прежнему играет решающую роль в субъективном опыте, но выражается это только в постоянной и избирательно направленной привлекательности, потому что независимо от того, притягивает ли к себе молодая женщина своим внутренним миром, или откровенной направленностью на внешний мир, или чередованием того и другого, она привлекает к себе избирательно.

Молодые женщины часто задаются вопросом, можно ли найти свою идентичность до замужества. Поскольку какая-то часть идентичности молодой женщины должна быть открытой, чтобы вместить в себя особенности мужчины, с которым она соединится, и детей, которых она будет растить, я думаю, что идентичность молодой женщины в значительной мере определяется ее типом привлекательности и избирательностью поисков ею мужчин, которых она хочет привлечь. Это, разумеется, составляет лишь один, психосексуальный аспект ее идентичности, и она может надолго отсрочить его формирование, получая профессиональную подготовку и формируя себя как члена общества, развиваясь как личность в рамках ролевых возможностей своего времени. То особое очарование, тот блеск, который присущ молодым женщинам в областях деятельности, явно не связанных с будущей функцией деторождения, — одно из тех явлений эстетического порядка, которые, по-видимому, не связаны с какими бы то ни было целями и намерениями и символизируют самодостаточность бытия. Поэтому молодая женщина всегда была для искусства зримым воплощением идеалов и идей, а для художника — музой, душой и загадкой. И поэтому не очень хочется приписывать скрытое значение тому, что само по себе столь значимо, и предполагать, что во всем этом молчаливо присутствует внутреннее пространство.

Настоящий мораторий должен иметь определенный срок и конец: женская зрелость наступает тогда, когда привлекательность и избирательность женщины помогли ей выбрать того, кто будет допущен во внутреннее пространство «навсегда».

Итак, лишь интерпретация пространства — соматическая, историческая, индивидуальная — поможет нам разобраться в различиях функционирования и опыта в целом, а не прибегать к изолированным и бессмысленным сравнениям. Женщина не более «пассивна», чем мужчина, просто потому, что важнейшая ее биологическая функция вынуждает ее или позволяет ей проявлять активность в соответствии с происходящими в ней внутренними процессами, или потому, что она может быть наделена способностью к глубоко личным, содержательным и интенсивным переживаниям, или потому, что она иногда предпочитает существовать в защищенном кругу, где может проявлять свою материнскую любовь. Точно так же «мазохизм» менее свойственен ей, чем мужчинам, потому что она должна выносить и родовые муки, и менструации. Библия толкует это как вечное наказание за неправедное поведения Евы, а некоторые современные авторы — как чуждый элемент в ее собственном теле. Это, а также феномен половой жизни и материнства делают совершенно очевидным то, что боль, которую женщинам приходится испытывать, делает их большими «страдалицами» по сравнению с мужчинами. Именно женщина старается понять и облегчить страдания и может научить других самообладанию, необходимому для того, чтобы переносить неизбежную боль. «Мазохисткой» она становится лишь в том случае, когда использует боль извращенно или из мщения, но это не соответствует ее женскому предназначению и отнюдь не является его глубинным выражением. Точно так же пассивность женщины принимает патологический характер лишь тогда, когда она становится слишком инертной в женских сферах деятельности и в стремлении к обретению целостности своей личности.

Но один довод опровергнуть трудно. Женщина на протяжении всей истории (по крайней мере в эпоху патриархата) соглашалась на роли, позволяющие эксплуатировать заложенный в ней мазохизм: она соглашалась на замкнутую и неподвижную жизнь, позволяла порабощать себя и превращать в инфантильное существо. Ею торговали и

ее эксплуатировали, в лучшем случае она получала взамен то, что мы в психологии называем «вторичной выгодой», — возможность косвенно на что-то влиять. Но этот факт может получить удовлетворительное объяснение только в рамках новой биокультурной истории, которая (и это очень важно) сначала должна отказаться от предрассудка, что женщина должна быть и будет тем, чтó она представляла или представляет собой в определенных исторических условиях.

7

Означает ли все это, что «анатомия определяет судьбу»? Да, постольку поскольку она определяет физиологические границы, а в какой-то мере и рамки личности. Круг основных обязанностей и видов деятельности женщины, естественно, обусловлен ее физиологией. В другой связи я уже назвал «поглощение» доминирующим аспектом жизни даже самых маленьких детей и их игр[3]. Можно, между прочим, отметить способность женщины на многих уровнях существования активно *заключать в себя*, принимать, «не отпускать», *иметь и удерживать*, а также *держаться за что-то*. Она может очень избирательно опекать кого-то или слишком опекать всех подряд без разбору. Опека предполагает, что и она в свою очередь рассчитывает на чрезмерную опеку. А ее стремление помочь иногда действительно навязчиво и становится в тягость. Многие мужчины, и женщины тоже, когда речь заходит об особенностях женщины, думают именно о таких преувеличенных проявлениях и отклонениях.

Но, как уже было сказано, бессмысленно спрашивать, проявляет ли женщина все эти качества «в большей степени», чем мужчина. Вопрос в том, насколько женщины различаются и как эти различия проявляются в конкретный период времени, в данных исторических и экономических условиях. Пока я лишь напомнил о физиологической основе, значения которой нельзя ни отрицать, ни преувеличивать. Ведь человек помимо того, что он имеет тело, еще и является цельной личностью и членом определенной группы. В этом смысле изречение Наполеона «История -- это судьба», с которым, видимо, полемизировал Фрейд, утверждая, что судьба определяется анатомией (всегда нужно знать, с чем именно полемизирует

человек, высказывая весьма одностороннее мнение), столь же верно. Другими словами, анатомия, история и личность в совокупности определяют судьбу.

Мужчины всегда частично брали на себя некоторые женские заботы, точно так же как и женщины — мужские. Но присутствие естественной или компенсаторной мужественности у женщин и наличие некоторых женских, и даже материнских, черт у мужчин все же зависит от общественных нравов конкретной культуры.

Мне вспоминается один исторический пример того, как женщины сумели отстоять свою репродуктивную функцию, а их мужчины потерпели полное поражение.

Дважды я был участником конференций, проходивших на островах, расположенных в Карибском море. И дважды мое внимание привлекало устройство преобладающей там модели семьи. Осуждаемое церковью и ставшее предметом исследований антропологов устройство карибской семьи интерпретировалось двояко: как уходящее корнями в африканскую историю и как идущее из Бразилии со времен рабства. Наиболее интересно второе утверждение. Это связано с тем, что плантации представляли собой сельскохозяйственные фабрики, которыми владели и управляли люди, чья культурная и экономическая идентичность была идентичностью людей наднационального высшего класса. Работали на плантациях рабы, то есть люди, представляющие собой орудия труда, используемые по мере необходимости. Часто они не имели возможности обзавестись собственной семьей. Итак, женщины производили потомство от мужчин, которые не могли ни защитить их, ни обеспечить материально и обладали идентичностью низшего порядка. Возникшая в результате этого структура семьи называется в литературе не иначе, как группой индивидов, а семейные отношения лучше всего описываются термином «обмен сексуальными услугами» между людьми, для которых трудно подобрать более определенное слово, чем «любовники». «Предельная нестабильность» половой жизни молодых женщин, часто «бросающих» потомство на своих матерей, — это тоже одна из характерных черт данной семьи, описанная в литературе. Итак, эта семья представляет собой «группу людей, ведущих совместное хозяйство», живущих в одном доме, имеющих общий запас еды и управляемых «матримониально». Это слово дает неполное представление об огромной роли всемогущих ба-

бушек, стоящих во главе семей, — они одобрительно относятся к тому, что дочери, живущие с ними до тех пор, пока не перестают рожать, оставляют своих детей на них. Таким образом, материнство стало общественным делом, и там, где с точки зрения религии отсутствуют или почти отсутствуют моральные устои, а с точки зрения случайного наблюдателя нет или почти нет традиции, матери и бабушки вынуждены были взять на себя роли отцов и дедушек: только они оказывали непрерывное влияние, формирующее изменчивые, все время создаваемые заново правила материальной ответственности мужчин-отцов. Они следили за соблюдением запрета на инцест. Главное, как мне кажется, — то, что только они после порабощения мужчин обладали сознанием того, что ребенок представляет собой ценность независимо от того, кто его родители.

Хорошо известно, как много маленькие белые джентльмены получали от щедрой любви растивших их нянек: негритянок и креолок. Их необыкновенная заботливость принижается расистами, считающими ее проявлением африканской чувственности. Многие белые, разочарованные стилем жизни европейских женщин, превозносят эту заботливость как проявление истинной женственности. Но можно усматривать в этом акценте на материнстве («материализме») великое отражение человеческой приспособляемости, приведшее к формированию в Карибском ареале позитивной материнской идентичности и негативной — мужской. Ведь то, что рождение ребенка само по себе уже представляло собой ценность и было связано с идентичностью, несомненно, ослабляло экономические устремления мужчин.

Хочу привести здесь один исторический пример, связанный с именем освободителя Южной Америки Симона Боливара. Родился он в приморском районе Венесуэлы. Когда в 1927 г. Боливар с триумфом вошел в Каракас, он узнал в толпе негритянку Иполиту, свою бывшую кормилицу. Он слез с коня и «бросился в объятия плачущей от радости негритянки». За два года до этого он писал сестре в том роде, что, мол, прилагаю письмо своей матери Иполите, давай ей все, что ей нужно, и обращайся с ней как с моей матерью; она вскормила меня своим молоком, и у меня нет другого отца, кроме нее. Каковы бы ни были личные мотивы экспансивной любви Боливара к Иполите (в возрасте девяти лет он потерял мать), важ-

ность этого обстоятельства в его жизни прекрасно согласуется с тем, что в данный исторический момент он мог использовать эти отношения в целях пропаганды — в рамках той своеобразной идеологии, которая придавала ему такую притягательность на освобожденном им континенте.

Речь сейчас не о Южной Америке. Но что касается Карибского бассейна, матримониальность многое объясняет в том несоответствии между крайней доверчивостью и отсутствием инициативы, которое использовалось и местными диктаторами и иностранным капиталом, а сегодня стало предметом озабоченности как бывших хозяев колоний, так и лидеров различных группировок на освободившихся островах. Зная это, мы должны понимать, что бородатые мужчины и юноши, захватившие власть на одном из островов, являют собой осознанно новый тип мужчины. Они стремятся доказать, что карибский мужчина способен добиться успеха — как экономического, так и в продолжении рода — без помощи иностранных правителей или капитала.

Эта трансформация красочного острова во внутреннее пространство, структурированное женщиной, — почти клинический случай, требующий осторожного подхода. И тем не менее это лишь один пример из различных ареалов и эпох той неофициальной истории, которая еще не написана: история территорий и владений, рынков и империй, история незаметной творческой деятельности женщин по сохранению и восстановлению того, что официальная история разрушила. Некоторые попытки современной историографии дать подробные описания повседневной жизни в данной местности в данную историческую эпоху, видимо, свидетельствуют о том, что необходимость в целостной исторической картине осознается все сильнее.

* * *

Возникает вопрос, может ли какая-либо область знания предоставить данные, позволяющие верно судить о половых различиях. Мы говорим о фактах из области анатомии, истории, психологии, но надо ясно понимать, что факты, достоверно установленные методами лишь одной из этих наук, воспринимаются изолированно. Имея определенное телесное строение, человек в то же время является личностью и социальным существом. Назовем эти ас-

пекты его существования Сома, Психея и Полис, чтобы избежать их отождествления с традиционными областями знания; это попытка хотя бы обозначить новые области исследования — такие, как уже существующая психосоматика или еще не существующая психополитика. Каждый из этих аспектов в какой-то мере самостоятелен и предоставляет человеку возможность свободного выбора, поскольку человек существует во всех этих трех измерениях и должен разобраться в том, как они дополняют друг друга и в чем их «вечное» противоречие.

Сома — это принцип устройства организма, проживающего свой жизненный цикл. Но Сома женщины — это не только то, что находится у нее под кожей, или вариации ее облика, обусловленные сменой стилей одежды. Она включает в себя и функцию посредничества в эволюции, как генетического, так и социогенетического, создающего в каждом ребенке соматическую основу его физического, культурного и личностного развития. Эта миссия должна быть доведена до конца от момента зачатия до рождения и воспитания ребенка. В ней и состоит функциональная уникальность женщины. Но ни одна женщина не живет и не должна жить исключительно в рамках соматической сферы. Современный мир предоставляет ей все большие возможности выбора, сознательного и ответственного планирования или отказа от этих задач. Поэтому она может и должна принимать решения в качестве члена общества, работника и, разумеется, индивидуальности — или отказаться от их принятия.

Что касается Психеи, мы уже говорили об организующем начале, называемом «эго». Именно «эго» организует личный опыт, стоя на страже целостности индивида. «Эго» — посредник между соматическим и душевным опытом и политической реальностью в самом широком смысле этого слова. Для этого оно использует психологические механизмы, имеющиеся у обоих полов. Поэтому возможны нормальная коммуникация, взаимопонимание и социальная организация. Воинствующий индивидуализм и эгалитаризм до такой степени раздули значение ядра индивидуальности, что стало казаться, что соматические и социальные различия совершенно не важны. Но абсолютно ясно, что активная энергия «эго», и особенно идентичность внутри индивидуальности, нуждается в энергии соматического развития и социальной организации и исполь-

зует ее. И то, что женщина, кем бы она ни была, всегда остается женщиной, создает уникальное соотношение между индивидуальностью, соматическим опытом и ее социальным потенциалом, что ведет к необходимости изучения женской идентичности как самостоятельного объекта.

Называя сферу гражданской жизни Полисом, я хочу подчеркнуть, что она распространяется до границ того, что человек считает своим «городом». Современные коммуникации увеличивают размеры этой общности до почти глобальных. В сфере Полиса женщины и мужчины очень схожи по своей интеллектуальной ориентации и способности работать и руководить. Но и здесь влияние женщин не реализуется полностью, если оно не отразит без оговорок существование «внутреннего пространства», возможностей и потребностей женской души. Пока невозможно предсказать, какие задачи и роли, возможности и специальности откроются перед женщинами, когда они не просто будут приспосабливаться к мужским специальностям в экономике и политике, но научатся приспосабливать их к себе. Такая революционная переоценка может даже привести к мысли, что специальности, относимые ныне к мужским, и от мужчин требуют определенной приспособляемости.

Надеюсь, понятно, что мои рассуждения о значении природной способности женщины к деторождению — не возобновление мужских попыток «обречь» всех женщин на вечное материнство и отказать им в личном и гражданском равноправии с мужчинами. Но поскольку женщина всегда остается женщиной, она может ставить перед собой долгосрочные цели только в тех сферах деятельности, которые соответствуют ее природным возможностям. Мне кажется, что по-настоящему эмансипированная женщина отвергнет сравнения с «активностью» мужчин в качестве мерила равенства с ними, даже тогда, или именно тогда, когда уже совершенно ясно, что она может выступать на равных с мужчинами в большинстве сфер деятельности. Настоящее равноправие — это право на творчество.

Большинство известных половых различий (за исключением непосредственно связанных с сексуальностью и размножением) лишь очерчивают круг «естественных» для каждого пола признаков и свойств, то есть предрасположений, склонностей и предпочтений. Многие из них, разумеется, в результате больших или меньших усилий и при наличии особых склонностей могут исчезать или за-

меняться другими. Отрицать этого нельзя; при все более широком спектре возможностей, появившихся у женщины благодаря технологии и просвещению, вопрос только в том, сколько и каких своих природных склонностей женщина будущего сочтет естественным сохранить и развивать. «Естественным» означает, что они займут свое место в рамках трех упомянутых аспектов ее жизни.

Итак, как физическое существо, женщина проходит через стадии жизни, переплетенные с жизнью тех, чье физическое существование (это все больше определяется ее собственным выбором) связано с ее существованием. Но в качестве работника, скажем, в области математики женщина, как и любой мужчина, несет ответственность за независимые от пола или, вернее, не имеющие к нему отношения критерии истины. И наконец, как индивид она реализует свои биологически обусловленные склонности и технологически и политически обусловленные возможности, принимая решения, которые, по ее мнению, придадут ее жизни наибольшую цельность и смысл, одновременно позволив ей выполнять функции матери и члена общества. Вопрос в том, как соотносятся между собой эти три аспекта ее жизни. Конечно, конфликты и напряжение будут всегда, и все же единство целей не должно теряться из виду.

В заключение рассмотрим одну из областей профессиональной деятельности женщины: инженерное дело и точные науки, например, имеют мало отношения к тому, кто ими занимается, мужчина или женщина; научная квалификация не связана с предназначением женщины и матери. Я достаточно уверен в том, что компьютеры, сделанные женщиной, не работали бы по «женской» логике (хотя я не знаю, на чем основана эта уверенность — ведь не женщины их изобрели). Логика компьютера, хорошо это или плохо, носит надсексуальный характер. Но какие задания поручать, а какие не поручать этим «монстрам», когда им доверять жизненно важные решения, а когда нет — здесь, по-моему, квалифицированные женщины могли бы способствовать развитию нового подхода к дифференцированному применению научной мысли для решения гуманитарных задач.

Но я бы продолжил: знаем ли мы и можем ли знать, что́ произойдет в науке или любой другой области, если женщины будут представлены в ней в полной мере — не

несколькими блистательными исключениями, а рядовыми работниками научной элиты? Действительно ли вдохновение в науке столь безлично и в такой степени обусловлено методологией, что личность не играет в научном творчестве никакой роли? А если мы считаем, что женщина всегда остается женщиной, даже если она прекрасный ученый и сотрудник, и особенно если она уже не нуждается в снисхождении или защите ее позиций, зачем тогда так энергично отрицать, что и в науке существуют области, где женское мышление и творческие способности могут открыть если не новые способы установления истины, то новые области исследований и их применения? Я думаю, что отрицать или утверждать такую возможность можно будет лишь тогда, когда женщины будут представлены в науке в такой мере, чтобы не думать, насколько они соответствуют своей роли и задачам, а сосредоточиться на изучении еще не познанного.

Я хочу сказать, что, когда эти ограничения будут сняты, женщины, возможно, смогут развить биологически и физиологически заложенные в них свойства. В новых областях деятельности они, возможно, противопоставят беспорядочным попыткам мужчин укрепить (рискуя уничтожить человеческий род) свое господство над внешним пространством национальной и технологической экспансии решимость взять на себя в процессе воспитания детей ответственность за каждого ребенка в планируемом заранее потомстве. В процессе приспособления обоих полов к меняющимся условиям возникнет много трудностей, но это не оправдывает тех предрассудков, которые отстраняют половину человечества от планирования и принятия решений, особенно тогда, когда другая его половина путем эскалации и ускорения в процессе конкуренции технологического прогресса привела нас и наших детей, при всем нашем богатстве, на грань пропасти.

В те исторические эпохи, когда происходит слияние высвобожденной энергии индивида с потенциалом нового технологического и общественного устройства, адаптивность всегда повышается. Молодое поколение черпает жизненные силы в сочетании новых свобод, технологического прогресса и мечты о будущем. И это тоже повышает способность личности к синтезу, а с ней и ощущение единства человечества; и дети почувствуют это, даже если функции матерей изменятся. Социальная изобретательность и

новые знания будут способствовать повышению адаптивности в обществе, уверенном в своих ценностях. Но если этого нет, психология мало чем может помочь.

Итак, есть надежда на то, что в творческой натуре женщины есть нечто, что при условии более четкого ее соотнесения с мужским началом (в том числе и в ней самой) определит ее место в важнейших сферах человеческой деятельности, до сих пор находившихся исключительно в руках одаренных и энергичных мужчин, способность которых вести за собой людей иногда ставится на службу безудержному самовосхвалению. Ясно, что человечество нуждается сейчас в новых общественных идеях и институтах, которые защитят и поощрят ту, которая воспитывает и кормит, выхаживает и несет на себе все заботы, сохраняет и оберегает.

В нашем последнем разговоре Пауль Тиллих высказал беспокойство по поводу чрезмерной сосредоточенности медицины на «адаптивном» «эго». Она, по его мнению, может привести (я передаю своими словами) в будущем к дальнейшим попыткам сделать человечество настолько «адаптивным», что оно уже будет не в состоянии думать об «абсолютных целях». Я согласился, что психоанализ может встать на путь бессмысленного нивелирования человеческого существования, но что в своих истоках и по своей сути он нацелен на то, чтобы *высвободить* человека для достижения «абсолютных целей». Ведь эти цели становятся абсолютными только там и в тех редких случаях, когда невротические обиды исчезают и когда речь идет о чем-то большем, нежели просто приспособление. Кажется, он со мной согласился. Следует добавить, что абсолют слишком часто понимался как бесконечность, которая начинается там, где кончается завоеванное человеком внешнее пространство, как сфера, в которой признается наличие «еще более» всемогущего и всеведущего Существа. Но абсолют может обнаружиться и в непосредственно данном, которое обычно принадлежало женщине или было сферой внутреннего созерцания.

Глава VIII
Расовая и более широкая идентичность

1

Понятие, или по крайней мере термин, «идентичность» пронизывает бóльшую часть того, что написано в США о негритянской революции, а в других странах оно считается психологическим ядром революции цветных наций и народов, пытающихся освободиться от остатков колониального мышления. Что бы ни стояло за этим понятием, в данный исторический момент оно, видимо, многое говорит серьезным исследователям. Когда, например, Неру (со слов очевидцев) сказал, что «Ганди дал Индии идентичность», он явно поставил этот термин в центр своей религиозной и политической доктрины ненасильственных действий, при помощи которой пытался создать уникальное единство индийского народа, настаивая на его полной автономии в Британской империи. Но что Неру имел в виду?

Роберт Пенн Уоррен в своей книге «Кто защитит негров?» так реагирует на первое же упоминание этого слова одним из своих негритянских собеседников:

«Я хватаюсь за слово «идентичность». Это ключевое слово. Его повторяют все время. В этом слове сконцентрируются, на нем сойдутся десятки проблем, неотделимых друг от друга. Как осознает себя негр, отчужденный от мира, в котором он родился, и от страны, гражданином которой он является, и в то же время существующий в системе ценностей преуспевающего нового мира, как негр осознает себя?»[1]

Конечно, трудно сказать, насколько часто слово «идентичность» употребляется даже в соответствии с тем смыслом, который придаем ему мы. В сочетании со словом «кризис» совпадение наиболее вероятно. И действительно, часто имеется в виду национальный кризис, ведущий к

пробуждению сознания народа. В Индии, как и в других странах, было пробуждение от того, что Ганди назвал «четырехкратным крахом» — последствием любой колонизации: политическим, экономическим, а также культурным и духовным.

Стоит еще раз вернуться к некоторым аспектам проблемы идентичности и соотнести их с внезапным пробуждением самосознания негров в Соединенных Штатах.

Начнем с биографического материала: в начале этой книги я указал на то, что трудно было бы ожидать от негритянских писателей столь же позитивных заявлений, как те, что были сделаны У. Джеймсом и З. Фрейдом, — воодушевленных или торжественных признаний внутреннего ощущения тождества с самим собой и с частью окружающего мира. Чтобы быть столь же правдивыми, негритянские писатели должны с тем же пылом попытаться сформулировать ужасные последствия того психологического явления, которое мы называем идентичностью. И действительно, соответствующие высказывания негритянских авторов изложены в столь отрицательных терминах, что сначала возникает впечатление полного отсутствия идентичности или, во всяком случае, доминирования в ней *негативных* элементов. Существует классическое высказывание Дюбуа о неуслышанности негров, а следует помнить, что Дюбуа был расово «интегрирован» и вел в своем городе в Беркшире настолько привилегированную жизнь, насколько это вообще возможно для негритянского мальчика. Но вот этот отрывок:

«Трудно объяснить другим психологическое значение сегрегации. Это все равно что, выглядывая из темной пещеры в склоне нависшей над ней горы, смотреть на идущих мимо людей и пытаться заговорить с ними. Вы говорите вежливо и убедительно, объясняя, что эти заживо погребенные лишены возможности двигаться, выражать себя и развиваться, что освобождение их из тюрьмы — не просто вопрос любезности, сочувствия или помощи им; оно для всех явилось бы благом. Вы говорите спокойно и логично, но замечаете, что идущие мимо даже не оборачиваются, а если и обернутся, то лишь взглянут с любопытством и продолжают идти дальше. Постепенно узники начинают понимать, что эти люди их не слышат, что между ними и остальным миром какая-то невидимая

стеклянная стена. Они начинают волноваться, говорить громче, жестикулировать. Некоторые прохожие из любопытства останавливаются; эти жесты кажутся им бессмысленными, они смеются и идут дальше. Они все еще не слышат или слышат плохо, но не понимают, чего от них хотят. Тогда узники начинают выходить из себя: кричать, бросаться на стены, вряд ли понимая, что кричат в пустоту и что их гримасы снаружи кажутся смешными. Некоторым удается выбраться наружу ценой неимоверных усилий и страшных увечий. Здесь они оказываются лицом к лицу с огромной, испуганной и безжалостной толпой людей, дрожащих за свою жизнь»[2].

От «неуслышанного» негра Дюбуа лишь один шаг до Болдуина и Эллисона, у которых в самих названиях книг заложена идея *невидимости, безымянности, безликости.* Но я не склонен считать это просто печальным проявлением негритянского ощущения «я — никто», социальной роли, доставшейся им, видит Бог, по наследству. Я бы скорее объяснил отчаянную и упорную поглощенность этих авторов идеей невидимости как чрезвычайно энергичное и мощное требование быть услышанными и увиденными, быть признанными индивидуальностью, *имеющей возможность выбора*, а не людьми, выделяемыми по одному самоочевидному признаку — цвету кожи. Они упорно отстаивают существующую, но непроявленную, в каком-то смысле безгласную идентичность, которая не может пробиться сквозь заслоняющие ее стереотипы. Они хотят снова отвоевать для своего народа, а прежде всего (как и положено писателям) для себя то, что Ванн Вудворд называет «утраченной идентичностью». Этот термин нравится мне тем, что подразумевает не пустоту, как у многих современных авторов, а нечто, что нужно искать и можно найти, что может быть пожаловано или дано, создано или изготовлено, — нечто обретаемое заново. Я подчеркиваю это потому, что существующее латентно может стать реальностью, а значит, и мостом от прошлого к настоящему.

Итак, распространенная поглощенность идеей идентичности может пониматься не только как свидетельство «отчуждения», но и как корректив исторического развития. Возможно, поэтому писатели-революционеры, принадлежащие к национальным или этническим меньшинствам

(например, ирландские эмигранты или американские негритянские и еврейские писатели), стали выразителями и пророками расстройства идентичности. Художественное творчество выходит за рамки жалоб и разоблачений, оно предполагает этическую позицию: следует проявлять терпимость к болезненной идентичности, которая играет в сознании человечества роль критика, точка зрения писателя и его идеи нужны, чтобы избавиться от того, что более всего угрожает идентичности, а именно от разделения людей на так называемые *псевдовиды.*

В этой новой литературе ранее неосознаваемые или невыраженные факты осознаны и находят символическое выражение, этот процесс в каком-то смысле подобен психоанализу, но здесь не «клинический случай», а бунт, не внутренняя перестройка, а интенсивный контакт с исторической реальностью.

В конце концов, разве и эти писатели не провозглашают превосходство раздираемой противоречиями идентичности над теми, кто чувствует себя в такой же безопасности, как обитатели спокойного загородного дома?

Речь здесь идет не о чем ином, как об осознании факта существования человеческого рода и долга человека. Великие религиозные деятели пытались добиться этого осознания, но церковь не противостояла, а скорее солидаризовалась с той тенденцией, которую мы имеем в виду, а именно с глубоко укоренившимся убеждением в том, что провидение поставило данное племя, нацию, касту или даже религию «естественным образом» выше других. Это, как мы уже говорили, видимо, часть того психосоциального процесса, который привел к образованию *псевдовидов.* Конечно, его истоки — в племенной жизни и во всех тех особенностях эволюции, которые привели к возникновению человека. Среди них — затянувшееся детство, во время которого ребенок, наиболее «универсальное» животное, способное приспособиться к самой разной среде, приобретает особенности члена определенной группы, в нем взаимодействуют «внутренний мир» и социальная среда. Ему внушают убеждение, что именно его «вид» входил в замысел творения всеведущего Божества, что именно возникновение этого вида было событием космического значения и что именно он предназначен историей стоять на страже единственно правильной разновидности челове-

чества под предводительством избранной элиты и вождей. Слово «псевдо» подразумевает псевдологию, вид лжи, когда лгут, будучи по крайней мере временно убеждены в том, что говорят правду; и действительно, прогресс человечества в силу различных причин принял такое направление, что ему иногда бывает трудно нести груз разумности и человечности, еще не уничтоженных иллюзиями и предрассудками, уже не заслуживающими даже названия мифологии. Я имею в виду опасное сочетание технологической специализации (в том числе вооружение), сознания собственной праведности и того, что можно назвать *географической ограниченностью идентичности.* По всем этим причинам за поговоркой «hominem hominis lupum»* стоят вещи гораздо более страшные, чем то, что наблюдается среди волков. Ведь человек, обладающий смертельным оружием, проникнутый лицемерием и панически боящийся утратить идентичность, не только теряет ощущение принадлежности ко всему человечеству, но и восстает против другой его части с яростью, как правило нехарактерной для животного «социума». Видимо, технологическая изощренность лишь усугубляет проблему именно тогда (и это, вероятно, не случайно), когда для того, чтобы выжить, совершенно необходима более универсальная, широкая идентичность. Национал-социалистическая Германия — самое ужасное проявление убийственной массовой псевдологии, которая может охватить современную нацию.

Хотя все мы несем в себе какие-то зачатки, тенденции, объяснимые «привязанностью» нашей идентичности к какому-нибудь псевдовиду, после Второй мировой войны мы убедились в том, что это перестало быть невинной роскошью и что человечество, при всей своей адаптивности, третьей мировой не переживет. Но те, кто видит, как «сплоченное большинство» лицемерно продолжает это отрицать, должны понять, что для того, чтобы люди осознали свою принадлежность ко всему человеческому роду и перестали относить себя к псевдовидам, они должны не только создать новую общую технологическую вселенную, но и преодолеть предрассудки, характерные в прошлом для всех (или почти всех) типов идентичности. Ведь лю-

* «Человек человеку волк» (*лат.*). — *Прим. перев.*

бая *позитивная* идентичность, как мы убедились, определяется и через негативные образы, и следует признать то неприятное обстоятельство, что наша Господом дарованная идентичность живет за счет унижения других.

2

В поддержку своего утверждения о конструктивности акцента, делаемого негритянскими писателями на негативном, на хаотичном, я чуть не процитировал Эллисона: он сказал, что его книги были попыткой преодоления определенных обстоятельств, сравнимой с трудной ежедневной работой полицейских. Но я не стал этого делать. Я воспользовался его мыслями для того, чтобы точнее передать трудности, связанные с обостренным самосознанием, названным нами осознанием идентичности. За исключением редких моментов взаимопонимания, все те образы, которые когда-то служили посредниками между нами и миром американских негров, и в особенности такие, казалось бы, нейтральные, как образ полицейского, на наших глазах невероятно быстро обесцениваются или переоцениваются. Когда-то полицейский, возможно, был олицетворением позитивной идентичности и превосходства, даже когда он сталкивался с депрессией и безысходностью. Ни один современный писатель не может обойтись без старых образов, ставших теперь символом дискриминации, как бы имея в виду, что неграм надо просто бездумно приспособиться к периоду, наступившему после эпохи рабства. Но на место менее осознанной смеси вины и страха у белых и смеси ненависти и страха у черных теперь пришли более осознанные, но не всегда приводящие к практическим последствиям чувства раскаяния и недоверия. Сейчас у нас нет иного выбора, кроме как жить с этими стереотипами и эмоциями: конфронтация докажет ложность одних, история опровергнет другие. А пока было бы полезно связать с этой проблемой такие понятия, как осознание идентичности, чтобы увидеть в калейдоскопе как повторяющиеся картины, так и удивительные изменения.

Осознание идентичности снимается в чувстве своей идентичности, возникающем в процессе активной деятельности. Только тот, кто «знает, куда идет и кто идет с ним», являет собой безошибочно узнаваемое, если и не

всегда легко определяемое светлое единство внешнего облика и внутреннего содержания. И все же именно тогда, когда человек, как ему кажется, «нашел себя», о нем можно сказать, что он «теряет себя» в новых целях и во взаимодействии с другими: он преодолевает рамки осознания идентичности. Это, несомненно, верно для ранних этапов любой революции и верно в случае с молодыми деятелями негритянской революции и вообще всего поколения, которое нашло себя именно в решении посвятить свою жизнь напряженной борьбе. Обостренное сознание идентичности растворилось в действительности. Есть яркие и трогательные описания этого состояния, особенно в том, что говорил Говард Зинн о первых днях существования SNCC[3]. Несомненно, впоследствии эти анонимные поначалу герои пережили стадию вдвойне обостренного самосознания и теперь должны пожертвовать обычной цельностью бытия ради революционного сознания.

То, что подобное «психологизирование» не всегда приветствуется, более чем понятно, и судьба тех, кто теоретизирует, когда необходимо спонтанное действие, не всегда приятна. Вызвавший споры «доклад Мойнихэна» большой, сначала засекреченный доклад президенту Джонсону о пагубных последствиях безотцовщины во многих бедных негритянских семьях — выдвинул подобные возражения на первый план. Каковы бы ни были его методы, в намерениях Патрика Мойнихэна сомневаться не приходится. Но в поворотные моменты любые объяснения, в которых последствия прошлого объявляются необратимыми, воспринимаются, и, возможно, обоснованно, как еще одна попытка фаталистически предрешить будущее в соответствии с расовыми предрассудками.

Нельзя игнорировать и то, что это лишь усиленный вариант свойственного всем нам сопротивления внезапному осознанию некоторых подсознательных аспектов наших собственных личностных проблем. Даже исследователи, жаждущие истины и более всего преданные идее полной свободы исследования, не могут не задаться вопросом: если бессознательные факторы действительно формируют наше самосознание и сам пафос наших ценностей, не значит ли это, что все детерминировано, а свобода воли и этический выбор — иллюзия? Или: если считается, что идентичность отдельного человека связана

с идентичностью общества, не столкнулись ли мы с еще одним вариантом закамуфлированного марксизма, который превращает судьбу в слепую функцию диалектики истории? И наконец, если бы такие бессознательные факторы были обнаружены, была ли бы нам от этого польза?

У философов, конечно, есть ответы на все эти вопросы. Но надо помнить, что никому не избежать таких сомнений. Они неизбежны в рамках широкого направления в исследовании мотиваций поведения человека — от открытия Дарвином нашего эволюционного развития из животного мира и раскрытия Марксом классовой обусловленности поведения до системного изучения Фрейдом бессознательного.

3

В недавнем разговоре о негритянских семьях весьма информированный и влиятельный американский еврей неосторожно проявил свой собственный национальный скептицизм: «Некий инстинкт говорит еврейской матери, что она должна заставить ребенка учиться, что ум откроет ему дорогу в будущее. Почему негритянским матерям это безразлично? Почему у них этого инстинкта нет?» Я сказал, исходя из данных истории американских негров, что такой же «инстинкт» подсказывает большинству черных матерей, что надо уберечь детей, особенно способных и любознательных, от бессмысленной и опасной конкуренции, то есть ради их выживания удержать их в рамках, указанных равнодушным и злобным «сплоченным большинством».

То, что он сказал «матери», сразу высвечивает одну из проблем, с которыми сталкиваешься, говоря об идентичности негров. Еврейские матери опираются на поддержку своих мужей или действуют от их имени. Многие негритянские матери рассчитывать на это не могут. Негритянские матери обычно растят «подавленную идентичность», которая на протяжении многих поколений формировалась у черных мужчин. Это, судя по художественным произведениям, сделало многих негров отражением «негативного» восприятия, своего рода кривого зеркала. Как систематически подрывалась позитивная идентичность —

сначала отвратительной системой рабства в Северной Америке, затем системой порабощения, сохранившейся на сельском Юге и в городах Севера, — это широко, подробно и исчерпывающе отражено в документах.

Понятие «негативная идентичность» помогает прояснить некоторые связанные с этим трудные вопросы.

Психосоциальная идентичность любого человека, как мы показали, представляет собой иерархию позитивных и негативных элементов, негативные появляются потому, что на протяжении всего детства растущему ребенку указывают как на идеальные прототипы, так и на отрицательные. В культуре, говорили мы, они взаимосвязаны: в еврейской среде, где придается большое значение интеллектуальному развитию, достаточно таких отрицательных образов, как «Schlemihl»*. Человека предостерегают: не стань тем-то — а он часто и не собирается им становиться, — чтобы он научился опасаться того, чего следует избегать. Таким образом, позитивная идентичность — это совсем не статичный набор свойств или ролей, она постоянно в состоянии конфликта с прошлым, которое надо изжить, и с будущим, которое надо предотвратить.

Индивид, принадлежащий к подавляемому и эксплуатируемому меньшинству, который знает о доминирующих культурных идеалах, но лишен возможности им следовать, склонен сливать воедино негативные образы, преподносимые ему господствующим большинством, с негативной идентичностью, культивируемой в его собственной среде. Здесь можно поразмышлять о многочисленных нюансах слова «ниггер», когда оно служит обращением одного негра к другому.

Возможность эксплуатировать других (и соблазн эксплуатации) коренится в истории образования псевдовидов. Есть много свидетельств ощущения «неполноценности» и ненависти к себе у всех меньшинств, и нет сомнения, что то, как самоуверенно и умело черных рабов в Америке загоняли и удерживали в условиях, подавляющих у большинства независимость стремлений, по-прежнему проявляется в виде широко практикуемого и глубоко укорененного несоблюдения равенства даже там, где оно «полагается».

---

* Неудачник (*идиш*). — *Прим. перев.*

И опять в литературе много раз описано, как негры находили убежище в музыке или в религиозной жизни или выражали свой бунт посредством компромиссного поведения, сегодня рассматриваемого как издевательская пародия, например упрямое смирение, преувеличенная инфантильность или показная покорность. Но не очень ли часто «негритянская проблема» обсуждается слишком абстрактно, вне связи с другими проблемами, а о негативной идентичности говорят *исключительно* в связи с защитной реакцией на господствующее белое большинство? Знаем ли мы (и можем ли знать) достаточно о соотношении позитивных и негативных элементов в идентичности *самого* негра и в самой негритянской среде? Только так раскрылось бы конкретное содержание этих негативных и позитивных элементов.

Но есть еще одно обстоятельство: угнетатели заинтересованы в том, чтобы у угнетаемых была негативная идентичность, потому что их негативная идентичность — отражение бессознательной негативной идентичности самих угнетателей, отражение, которое до определенного предела позволяет ощущать свое превосходство, а также дает хотя и хрупкое, но все же ощущение цельности. Анализ представителей псевдовидов, возможно, кое-что прояснил бы в теоретическом плане, но сложившаяся ситуация требует немедленных действий.

Например, задаешь себе вопрос: как большинство, внезапно осознавшее, что в его среде образовался резкий раскол по тому поводу, что оно вызвало почти фатальный раскол в меньшинстве, вдруг пожелав вернуть утраченные моральные позиции и «взглянуть фактам в лицо», может неумышленно *поддерживать* в меньшинстве негативную идентичность, и делая это, одновременно не без удовольствия распространяется на тему грехов большинства? Врачу простительно усомниться в лечебном эффекте слишком большой дозы морализма. Например, само понятие «культурно обделенные» зазвучит несколько иронически (при том, что можно восхищаться многим из того, что было сделано под этим флагом), если учесть, что культура среднего класса, которой обделены дети, растущие в трущобах, лишает некоторых белых детей того опыта, который предотвратил бы многие невротические расстройства. Есть историческая справедливость в том, что многие белые мо-

лодые люди, чувствующие себя обделенными именно *в силу* принадлежности к этой культуре, обретают идентичность и чувство единения, живя и работая с теми, кто считается обделенным, не принадлежа к этой культуре. Подобное соприкосновение, конечно, важный шаг на пути к образованию более широкой идентичности, и я никогда и нигде не узнал ничего стоящего ближе к непосредственной данности человеческого опыта, чем в рассказах из жизни современного Юга, кроме, может быть, того, что я почерпнул у ранних последователей Ганди, писавших о своем открытии индийского народа.

4

Итак, даже раскаивающееся большинство должно проявлять осторожность, чтобы подсознательно не следовать привычным шаблонам. Видимо, скрытые предрассудки искажают сами мерки, по которым оценивается нанесенный ущерб. А диагноз, как мы помним, определяет прогноз.

Томас Петтигрю в своем замечательном сборнике «Образ черного американца» лишь мимоходом говорит об идентичности. Он приводит много убедительных и тем самым еще более потрясающих примеров невостребованности интеллекта черных американцев, неупорядоченности их семейной жизни. Я выбираю из примеров Петтигрю один из самых неясных и даже забавных — лишь затем, чтобы показать, как соотносится одна из очевидных *черт* народа с его историей.

Петтигрю вслед за Бертоном и Уайтингом говорит о том, что «мальчики из неполных семей лишь в позднем детстве вырабатывают в себе мужской образ «я». Сначала образ «я» формируется на основе единственного доступного им образца — образа матери. Некоторые исследования указывают на то, что у негров из низших слоев общества существует *проблема половой идентичности*».

Он сообщает, что «два объективных обследования весьма различных групп: заключенных тюрьмы в Алабаме и больных туберкулезом пожилых рабочих в Висконсине — показали, что для мужчин-негров в большей степени, чем для белых, характерны «женские» черты. Используемые в этом случае критерии — часть Миннесотского многофакторного опросника (MMPI), хорошо известного пси-

хологам. Он состоит в том, что респонденту предлагается определить, применимы ли к нему 500 простых утверждений. Обычно негры чаще, чем белые, выражали «женские» предпочтения. Например, *Я хотел бы быть певцом, Думаю, что я более впечатлителен, чем большинство людей*»[4].

Петтигрю с полным основанием заключает слово «женские» в кавычки. Допустим, что MMPI действительно «объективен» и «пригоден для весьма различных групп», в том числе заключенных и пациентов туберкулезного отделения, во всяком случае что его отдельные недостатки уравновешиваются статистическими закономерностями. Общие выводы, действительно, могут свидетельствовать о значительных различиях между неграми и белыми по показателям женственности и мужественности. Но то, что в нем желание «быть певцом» и большая эмоциональность квалифицируются как «женские» ответы, заставляет предположить, что сам набор утверждений и делающиеся на их основе выводы говорят о тесте и его авторах не меньше, чем о тестируемых. В той среде, на которой отрабатывался тест, видимо, только «женственные» мужчины признаются в том, что они хотели бы петь на сцене, или в том, что они эмоциональны. Но интересно, почему бы бедному негру, запертому в тюрьме или в туберкулезном отделении, не признаться, что он хочет быть похожим на таких мужчин, как Сидней Пуатье или Гарри Белафонте, или не считать, что он более эмоционален (если он понимает, что это такое), чем большинство окружающих? Петь на сцене или быть эмоциональным — может быть, это идеал мужчины, охотно признаваемый теми, кто вырос среди негров на Юге (или, коли на то пошло, в Неаполе), но недостаток в глазах большинства, воспитанного в других идеалах. В сущности, в Гарлеме и в Неаполе акцент на художественном самовыражении и эмоциональности — это следует отметить — может быть очень существенным элементом позитивной идентичности, настолько существенным, что утрата или обесценивание этих свойств в результате «интеграции» может превратить человека в утлую лодочку в океане меняющихся «ролей». Что касается сплоченного белого большинства, неприятие «эмоциональности» может в свою очередь быть одной из сторон негативной идентичности, немало способствующей предвзя-

тому неприятию эмоциональности негров. Тесты, содержащие подобные различения, возможно, и позволяют судить о национальных различиях, но, может быть, и сами являются их выражением. Если не учитывать этого, тест лишь выявит такие различия, психолог их опишет, а читающий это описание (белый или негр) лишь почувствует дистанцию, разделяющую «раздробленный» образ «я» негра и «целостный», по общему мнению, образ «я» белого.

В другом случае Петтигрю ставит себя на место тестируемого черного ребенка:

«...В конце концов, тест на определение коэффициента умственного развития — орудие белого среднего класса; это используемый белыми способ доказательства своих способностей и продвижения в мире белых. Высокий показатель для ребенка из бедной негритянской семьи будет иметь другой смысл, возможно, для него лично он даже будет представлять опасность. Поэтому не исключено, что низкий коэффициент умственного развития некоторых одаренных черных детей — разумная реакция на ощущаемую ими опасность»[5].

В самой процедуре теста заключена некая историческая и социальная относительность, требующая уточнения конфигурации идентичности. И кто может с уверенностью утверждать, что ребенок, подвергнутый такой процедуре, по ее завершении не станет совершенно другим человеком — например, как только встретится со своими сверстниками на игровой площадке или на улице. С другой стороны, слишком часто считается само собой разумеющимся, что исследователь с его собственными внутренними конфликтами не влияет на метод исследования, даже когда он сам принадлежит к прекрасно владеющей словом и, возможно, использующей это в целях самозащиты прослойке белых, и воспринимается как таковой (и сознательно и «подсознательно») почти неграмотными или происходящими из среды неграмотных испытуемыми.

В этой связи мне хотелось бы процитировать трогательное описание половой жизни «молодых людей из гетто», сделанное Кеннетом Кларком. Будучи уважаемым человеком, он понимает, что нельзя снисходительно относиться к тому, что ему тем не менее приходится защищать перед лицом беспощадных стереотипов.

«К проблеме внебрачных детей в гетто нельзя подходить с карательных, враждебных позиций, например считать, что незамужних матерей следует лишать пособия в случае рождения второго ребенка. Такой подход — бессмысленное, а иногда ханжеское морализирование, здесь упускается из виду отчаянное стремление молодых людей к признанию, к отождествлению с другим, потребность что-то значить в жизни другого, пусть временно, пусть без гарантии вечной верности и постоянства... Слишком велик риск неудачи в длительном и скрепленном взаимными обещаниями союзе. Единственная ценность такого союза — внутренняя, ибо другой быть не может»[6].

Здесь юридическая или моральная проблема переводится в план «реальности», который помогает что-то понять и в тех, кто чаще оценивает, судит и мыслит стереотипами, нежели старается понять: ведь *внутренняя ценность отношения* — это именно то (с трудом поддающееся определению, проверке, несущественное с юридической точки зрения), что бывает утрачено более привилегированной молодежью, запутавшейся в плюрализме ценностей[7].

5

Обратимся теперь к новому негритянскому поколению. «Боже мой, — воскликнула однажды студентка-негритянка на небольшом собрании, — от чего я должна отказаться? Я смеюсь так же, как моя бабушка, и я предпочла бы умереть, чем смеяться иначе». Наступила тишина, в которой, казалось, столкнулись два стереотипа, потому что даже смех стал одним из проявлений негритянской культуры и негритянской личности, которые стали некоторыми знаками покорности и фатализма, несбыточных мечтаний и замкнутости. Но девушка проявила характер: за этим не последовали машинальные извинения вроде «этим я, разумеется, не хочу сказать, что...» и в наступившей тишине столкнулись два самосознания. Потом раздался смех — смущенный, довольный, вызывающий.

Мне кажется, что молодая женщина выразила одно из тех тревожных ощущений, которые сопровождают быструю перегруппировку элементов идентичности: «должна» отражает ощущение утраты свободы активного выбора,

весьма существенной для идентичности, ощущение непрерывности актуального прошлого и ожидаемого будущего. Я говорил, что значимость отдельных компонентов поведения или системы образов может измениться в рамках новых конфигураций идентичности, но сами эти признаки когда-то были единственно возможным проявлением внутренней интеграции, а теперь они «должны» отброситься ради неопределенной внешней интеграции. Десегрегация, компенсация, гармония, примирение — не идет ли иногда спасение негра за счет такой абсорбции, которая мало что оставляет от него самого? То, что Эллисон называет «сложным утверждением и отвержением идентичности» негритянскими писателями, идет от очень простых вещей, простота которых не отменяет их трагизма.

Выкрик этой молодой женщины напоминает о том, что развитие идентичности имеет свое время, вернее, два типа времени: *стадию развития* в жизни индивида и исторический *период*. Биография и история, как мы показали, дополняют друг друга. За исключением тех случаев, когда «кризис идентичности» наступает преждевременно, что имеет губительные последствия (биографии негритянских писателей, а также непосредственные наблюдения над негритянскими детьми свидетельствуют о том, что так бывает), он наступает не раньше чем в начале отрочества, хотя и не обязательно завершается в его конце, когда организм, уже созревший, приобретает индивидуальный внешний облик; когда сформировавшаяся сексуальность ищет партнеров для чувственных игр и, рано или поздно, для продолжения рода; когда полностью развившееся сознание начинает обдумывать карьеру индивида в контексте исторической перспективы — все эти идиосинкразические процессы развития у детей, принадлежащих к меньшинствам, тут же начинают проявляться во множестве конфликтов.

Но юношеский кризис — это и кризис всего поколения, и проверка идеологической прочности данного общества: идентичность и идеология также взаимосвязаны. И если мы говорили, что кризис слабее всего проявляется у той части молодежи, которая в данный исторический период может быть верной идеологии технологической и экономической экспансии, например меркантилизму, колониализму или индустриализации, то невключенность в такую идеоло-

гию может иметь катастрофические последствия. Молодежь, которая стремится иметь доступ к господствующей технологии, но лишена его, почувствует себя отчужденной от общества; появятся нарушения и в половой жизни, но главное — агрессивная энергия не найдет конструктивного выхода. Возможно, сегодня многие молодые негры, так же как и белая молодежь из художественной и гуманитарной среды, чувствуют себя обделенными, и поэтому и те и другие переживают «кризис» и становятся «революционерами». Ведь молодые люди и из обеспеченных семей, и из бедных негритянских слоев могут не понимать, что и бабушкина любовь, и простая технологическая задача — часть одного и того же мира, разные стороны непрерывного и единого процесса развития. Можно пойти дальше, сказав, что эта часть американской молодежи пытается создать свою собственную идеологию и собственные обряды инициации, следуя призыву правительства служить на внешних и на внутренних границах американского мира (Корпус мира, крайний Юг) или пытаясь заполнить очевидную пустоту своей жизни учебой в университетах. Но когда молодые американцы смогут обрести реализм, чувство солидарности и убежденность, сплачивающие активную радикальную оппозицию?

Итак, идентичность содержит взаимодополнительность прошлого и будущего: как в индивиде, так и в обществе она связывает актуальность уходящего прошлого с актуальностью открывающегося будущего. Ни романтизация прошлого, ни меркантильный подход к будущему успеха не принесут. В «Образах» Петтигрю не упоминаются такие не поддающиеся проверке свойства, как духовность, материнство, музыкальность, общительность, спортивные качества, чувственность. Они все под подозрением как признаки ассимиляции, романтизированные белыми. Но если это так, то «Образы» — скорее исправление карикатуры, а не попытка сделать набросок к будущему портрету. И может ли новая или обновленная идентичность возникнуть из подправленной карикатуры? Тут вспоминаются все те, кто не в состоянии вывести идентичность из принятия «реальности» в ее худшем варианте (как это делают писатели и исследователи) и для кого отказ от *всех* старых конфигураций *может* означать лишь дальнейшее *подтверждение* никчемности и беспомощности.

Именно в этом контексте я также подверг бы сомнению следующее: во многих анкетах отцы черных детей фигурируют *исключительно* в графе «не имеется». Существует тесная взаимосвязь между распадом семьи, безотцовщиной и различными видами социальной и психической патологии. Многие дети действительно растут без отцов, это действительно национальная проблема, но считать ее *единственной* проблемой отцовства или материнства — не несправедливо ли это по отношению к очень многим матерям и к некоторым отцам? Как бы ни объяснять спасительную роль матери и бабушки (на всей территории бывших плантаций — от Венесуэлы через Карибский бассейн и дальше к американскому Югу) — с исторической, социологической или юридической точек зрения, — разве можно упускать ее из виду при рассмотрении идентичности обычного негра? Может ли негритянская культура позволить себе сделать стереотип «сильной матери» обязательным? Ведь идентичность и отдельного человека, и всего народа начинается в детстве, когда мать посредством множества невербальных способов дает ребенку понять, что родиться на свет — хорошо и что ребенок (пусть плохие люди называют его цветным или незаконнорожденным) достоин любви. Даже «невидимый человек» говорит:

«Кроме Мэри, других друзей у меня не было, да они были и не нужны. Собственно, я не считал Мэри «другом», она была чем-то большим — в ней была *сила, непоколебимая, привычная сила, откуда-то из моего прошлого, она удерживала меня от соскальзывания в какую-то неизвестность, которой я страшился.* Это было очень тяжело, потому что Мэри в то же самое время постоянно напоминала мне о том, что от меня чего-то ждут: ждут, чтобы я что-то возглавил, какого-то достижения, достойного того, чтобы попасть в газеты; и меня раздирало между обидой и любовью к ней за то, что она не давала погаснуть этой надежде»[8].

В то же время систематическое использование негров в качестве домашних животных и отрицание за ними права на отцовство и ответственность за свою семью — одна из самых постыдных страниц в истории нашей христианской нации. Ведь отсутствие одного из родителей всегда сказывается отрицательно, но особенно когда ребенок становится старше, потому что возникшее в раннем детстве доверие к

миру может быть резко подорвано. В промышленных городах это может стать очень сильным фактором внутренней дисгармонии. Но опять же «дисгармония» негритянской семьи не может измеряться исключительно тем, насколько она отличается от белой или негритянской семьи, принадлежащей к среднему классу, в котором каждая семья имеет свой дом, юридический и религиозный статус. Дезинтеграцию можно оценивать лишь как искажение *традиционной,* пусть и неофициальной, *модели негритянской семьи.* Нужна традиционная мудрость матерей, а также помощь мужчин, которые (вопреки обстоятельствам) становятся отцами в полном смысле этого слова.

Между тем наличие обоих родителей, каждый из которых имеет свои сильные стороны и оказывается на месте именно тогда, когда он больше всего нужен, — проблема, с которой сталкивается любая семья в любом индустриальном обществе. Общество должно обеспечивать всем равную возможность работать и в то же время давать возможность и матерям, и отцам выполнять свой долг по отношению к детям. Проблема материнства и отцовства связана и с тем, что для каждой стадии развития есть своя оптимальная среда и что гармония материнского и отцовского влияния достигается тогда, когда каждый из родителей в определенные периоды жизни ребенка пользуется наибольшим влиянием. Влияние матери сильнее всего в самый ранний период и поэтому имеет наибольшее значение. Как мы уже видели, существует глубокая связь между первичной «идентичностью», возникающей при первых чувственных и сенсорных соприкосновениях с матерью — первое узнавание, — и последней стадией интеграции в отрочестве, когда все предыдущие идентификации сливаются воедино и молодой человек оказывается лицом к лицу со своим обществом и своей эпохой.

6

В книге «Кто защитит негра» Уоррен вспоминает другое высказывание одной молодой студентки:

«Аудитория была набита битком, в основном неграми, но было и несколько белых. На трибуне молодая девушка с бледной кожей, нарядно одетая. Она стоит на высоких каблуках, слегка наклонясь вперед, и говорит звенящим

прерывистым голосом: "...и я говорю вам, я открыла великую истину. Великую радость. Я поняла, что я — черная. Я черная! А вы — да, лица у вас черные, но внутри вы белые, а ваше сердце, ваша душа — белые, вас отбелили!"»

Уоррен описывает реакцию на это одной белой женщины и полагает, что если бы «в этот момент она услышала внутри себя какой-то голос, то, скорей всего, это были бы слова Малькольма Х.: «Белые дьяволы». И наверное, она увидела бы его же лицо с сардонической и уверенной ухмылкой»[9].

И хотя это лишь один из его ликов, думаю, ее страх понятен. Она стала свидетельницей того, что мы назвали «тоталистской перегруппировкой образов», лежащей в основе многих идеологических движений современности. Мы назвали тотализмом внутреннюю перегруппировку образов, почти *негативную конверсию*, при которой элементы прежде негативной идентичности становятся *абсолютно* господстующими, в то время как позитивные совершенно устраняются[10]. Это, говорили мы, может быть преходящим явлением у молодых людей разных национальностей и социального статуса — бунтующих против чего-либо или примыкающих к какому-нибудь движению, отступников и замкнувшихся в себе. Оно может исчезать по мере разрешения возрастного кризиса или подчинить себе всего человека. В некоторых исторических и социальных условиях этот процесс может иметь губительные последствия, например в случае с «закоренелыми» извращенно-преступными или эксцентрично-экстремистскими настроениями и поведением. Опасные политические последствия этого процесса напоминают нам о том шоке, который мы испытали, когда молодежь послеверсальской Германии, прежде столь чувствительная к критике со стороны иностранцев, но в то же время отказавшаяся от привязанности к идее *Kultur**, не дававшей реалистической идентичности, соблазнилась нацистской переоценкой ценностей цивилизации. Однако преходящая нацистская идентичность, основанная на *тотализме*, для которого характерно полное *неприятие* всего иностранного и особенно еврейского, не смогла вместить в себя все богатство элементов германской

---

* Культура (*нем.*) — *Прим. перев.*

идентичности и привела вместо этого к псевдологическому извращению истории. Ясно, что как крайний расизм с горящими крестами, так и черное мусульманство — американские аналоги этого явления. Малькольм Х. — театральное проявление той специфической *ярости*, которая возникает, когда развивающаяся идентичность лишается перспективы достичь традиционной цельности, хотя этот замечательный человек и по своим личным и по политическим качествам выходил далеко за рамки движения, к которому принадлежал. Но и черные мусульмане иногда апеллировали к лучшим качествам своих сторонников.

Однако в целом в Америке тоталистские тенденции непопулярны, и неспособность, или скорее нежелание бунтующей молодежи придерживаться какой-то идеологической системы — само по себе показательный исторический факт. У нас пока еще нет базы для возникновения сильной «лояльной оппозиции», в которой радикализм сочетался бы с желанием получить власть. Временное вырождение «Движения за свободу слова» в Калифорнии в борьбу за свободу употребления ругательств было, вероятно, результатом смешения бесперспективного тотализма с имеющим будущее радикализмом. Однако нежелание служить никакой политической идеологии может сделать скрытую агрессивность нашей неблагополучной молодежи фактором, разрушительно влияющим на цельность личности, а временами — и на «законность и порядок». Вместе с тем, когда негритянское население стало принимать участие в акциях общественного протеста, уровень преступности и количество правонарушений в некоторых южных районах резко снизились. К сожалению, общество, основанное на насилии, принимает ненасильственные методы решения проблем за слабость и провоцирует насилие.

Мы предположили, что альтернативой абсолютному тотализму может стать цельность *более широкой идентичности*. На какую *историческую реальность* может опереться американский негр и какая широкая идентичность даст ему возможность ощущать себя негром (или потомком негров) *и* одновременно — американцем? Ведь следует понимать, что после того, как все *реальные возможности* определены и проанализированы, а результаты анализа получили оценку, остается вопрос: на какую *историческую реальность* может опереться развивающаяся идентичность?

Еще раз подчеркивая взаимосвязь биографии и истории, я должен упомянуть о досадном и странном, никогда мной не подразумевавшемся отождествлении термина «идентичность» с вопросом «Кто я?». Человек задает себе такой вопрос, либо временно находясь в болезненном состоянии, либо в момент плодотворного внутреннего конфликта, или в отрочестве, когда эти два состояния могут совпадать; вот почему, когда студенты говорят мне, что у них «кризис идентичности», я иногда спрашиваю, жалуются они или хвастаются. Вопрос, по существу (если его вообще можно задать в первом лице), был бы: «Каким я хочу стать и как этого добиться?» Но осознание внутренних мотивов в лучшем случае способствует замене детских желаний и юношеских фантазий реалистическими целями. Достичь большего поможет лишь обновленное и более чуткое ощущение исторической реальности; оно высвободит энергию, стимулирующую и в свою очередь стимулируемую перспективой развития. То, как эта перспектива становится исторической реальностью, видно на примере «культурно обделенных» негритянских детей, с удивительным достоинством и выдержкой реагирующих на требования, неожиданно предъявляемые историей. В исследование этой проблемы большой вклад внес Роберт Коулс: он изучал биографии рано «интегрированных» негритянских детей. Интерпретируя имеющиеся данные в обычном для психиатрии духе, многие предположили бы, что, например, одинокий негритянский мальчик, в прошлом страдавший серьезными расстройствами, конечно, не сможет противостоять враждебной обстановке в белой школе. Но Коулс, бывший очевидцем событий, рассказывает, как замечательно этот мальчик сумел ей противостоять на протяжении всех лет учебы[11].

Во многих странах сейчас ведется борьба за *более широкую идентичность*: то, что было движущей силой революций и реформаций, основания церквей и империй, превратилось в фактор мирового соперничества. Революционные теории обещают молодежи тех стран, которые должны преодолеть свое племенное, феодальное или колониальное прошлое, новое рабоче-крестьянское сознание; новые нации претендуют на территории, рынки. Мировое пространство расширяется, включая в себя космос в качестве «среды» всеобщей технологической идентичности.

Вопрос стоит шире (и Ганди много сделал для того, чтобы по крайней мере англичане это поняли), чем то, как раскаявшемуся или напуганному колонизатору распределить материальные блага так, чтобы смягчить потребность в новой идентичности. Вопрос скорее в том, каким образом ему воспринять более широкую идентичность, ведь она появляется тогда, когда две группы, чья идентичность прежде отталкивалась от негативного образа другой группы (в обстановке постоянной вражды или эксплуатации), найдут способ слить их, чтобы тем самым дать толчок развитию обеих.

Итак, какая же более широкая идентичность может стать идентичностью американских негров? Представляется, что некоторые варианты слишком широки, а некоторые — слишком узки. Идентичность «человека вообще», на мой взгляд, слишком широка. По странной привычке гуманистического нарциссизма последних лет она навязывается больным, женщинам, неграм и т.д. Иногда это странное выражение «человек вообще», возможно, свидетельствует о преодолении ментальности псевдовидов, но оно также подразумевает, что говорящий, пройдя через некие испытания, открывшие ему глаза на истину, имеет право причислять или не причислять остальных к человечеству. Я не удивился бы, узнав, что наши негритянские коллеги и друзья нередко ощущают этот остаток интеллектуального колониализма даже в «лучших» из нас. Но это выражение ни в коей мере не отражает специфики «человеческих» отношений. Ведь даже в рамках широкой идентичности человек воспринимает другого человека в определенных категориях (например, взрослый и ребенок, мужчина и женщина, работодатель и служащий, лидер и последователь, представитель большинства или меньшинства), и «человеческие» взаимоотношения всегда отражают различия в ролях и присущую им двусмысленность; вот почему я переформулировал золотое правило: вести себя надо так, чтобы содействовать развитию и своей идентичности, и идентичности другого.

Источником самой широкой и емкой идентичности, вероятно, являются сегодня *технические навыки*. Ленин, несомненно, имел в виду именно это, говоря, что прежде всего *мужику* надо дать трактор. Правда, он считал это предпосылкой возникновения пролетарской идентичности. Но

сегодня это приобрело более широкий смысл, а именно участие в той сфере деятельности, которая (к лучшему или к худшему — я анализировал обе возможности) определяет современного человека в качестве работника и строителя будущего. Одно дело — когда человек *сам* исключает себя из этого определения, будучи одарен в других областях и способен профессионально и эстетически состояться в рамках, определенных гуманизмом и эпохой Просвещения, — по крайней мере в достаточной степени для того, чтобы отчуждение от технологии стало элементом вполне приемлемой «общечеловеческой идентичности». И совершенно иное дело — быть из него *исключенным*, например, из-за недостаточной грамотности, что не позволяет человеку доказать, что он технически одарен, или из-за неправильного использования рабочей силы, когда люди не могут применить свои способности, даже доказав их. Израиль, маленькая страна, где умеют возрождать идентичность введением учебных занятий в армии, по общему признанию, в весьма специфических условиях, доказал, что неграмотность можно преодолеть, используя людей там, где они чувствуют себя нужными, и что боевой дух от этого совершенно не страдает.

Африканская идентичность, как показал Гарольд Айзекс, сильный конкурент американо-негритянской. Она опирается на реальное единство людей с черным цветом кожи и, вероятно, также дает американским неграм пусть отдаленный, но эквивалент того, чем могут гордиться остальные американцы или от чего они могут, наоборот, если им хочется, отречься: родину. Ведь те обстоятельства, при которых американские негры были разлучены с Африкой, даже не оставили им права на идентичность *иммигрантов*. Однако не вполне ясно, воспринимается ли американский негр африканцами как негр или скорее как американец и кем больше хочет быть американский негр, вступая с ними в контакт: американцем или негром. Даже черные мусульмане подчеркивали свою принадлежность к исламу, то есть мистическое единство, подразумеваемое всеми видами тотализма (сравните с «арийством» немцев).

Великий *средний класс* представляет идентичность потребителей, для которых сомнительный рецепт Петтигрю «деньги и достоинство», видимо, подходит больше всего; о его ограниченности говорили много. Средний класс, при

его сосредоточенности на собственности и потреблении, статусе и престиже, будет включать в себя все больше высокоодаренных и удачливых людей, но если он не будет открыт для расширяющейся идентичности американских негров, то обязательно воздвигнет новые барьеры между этой немногочисленной группой и большинством остальных негров, шансы которых на участие в конкуренции с белыми тем самым еще уменьшатся. «Работа и достоинство» — возможно, более удачный лозунг, при условии, что работа обеспечит достойную жизнь, дав заработок, а также стимул к приобретению навыков; без того и другого от рабства не избавиться.

Но в этом случае, как всегда, проблема идентичности черных американцев незаметно переходит в вопрос о том, кем хочет быть *данный* американец в технологическом будущем. В этом смысле большим достижением может считаться то, что врачи в Университете Хауэрд назвали прообщественными действиями негров[12]. Я имею в виду то обстоятельство, что дух ненасилия, пронизывающий этот негритянский бунт, и в то же время явное отрицание ими государственного закона и обычаев большинством населения воспринимаются как американское явление. Официальная риторика, а также судебная и законодательная власти предпринимали настойчивые попытки приспособить эту революцию к себе. Но этот процесс может иметь регулирующий и фактически оборонительный характер, а может — адаптивный и творческий; как повернется ход событий, пока неизвестно.

Между тем успех прообщественных действий негров не должен затушевывать важности антиобщественного момента, столь ярко отраженного в автобиографиях американских негров. Я имею в виду трагическое положение молодых людей, считающихся правонарушителями и преступниками. Они, несомненно, часто защищали те компоненты идентичности, которые были им доступны, и бунтовали единственно доступными им средствами, озлобленно и агрессивно, это был для них единственный способ обрести самоуважение и достичь единства. Как и изгоев американского фронтира, антисоциальный элемент в среде американских негров нельзя не принимать в расчет.

Но молодежь, действительно приверженная идеям гуманизма, будет привносить в расовые отношения *элемент ре-*

лигиозной идентичности, ведь в будущем проблема идентичности будет включать в себя и проблему гармонии в человеке его технологических устремлений, этических и абсолютных целей. Я думаю (но не стоит им это говорить — они с недоверием относятся к таким словам), что появление такой молодежи, которая, будучи ранее совершенно безгласной, стала прямо участвовать в делах страны, несет в себе новый религиозный момент, и его содержание — обещание избавить человечество от ментальности псевдовидов. Это утопия универсализма, провозглашенная всеми религиями самой важной своей целью, но снова и снова отдаляемая новыми догмами, которые берутся на вооружение новыми псевдовидами. Церковь также поняла, что людские предрассудки — фанатичные или прячущиеся за маской равнодушия — в сочетании с другими страшными факторами сегодня превратили человека, по выражению Лорин Эйзли, в «смертоносный фактор» во вселенной. Этот фактор, как мы убедились, объединяет в себе беспредельное технологическое честолюбие (в том числе стремление к обладанию средствами массового уничтожения), лицемерие устаревших моральных догм и непримиримость географически ограниченной идентичности. Противостоящая этому сила — идеология *ненасилия*, — видимо, станет реальной и действенной только в критический момент и лишь для «соли земли». Но Ганди уже сделал первые шаги на пути применения в политике принципов, ранее считавшихся чисто религиозными.

В начале книги я обещал показать необходимость таких понятий, как идентичность, расстройство идентичности, когда речь идет о болезни, биографии и истории. Там, где это удалось, я, вероятно, сумел ввести читателя в столь актуальные проблемы, что бросать их обсуждение на полпути покажется проявлением безразличия. Но эти понятия вырабатывались в рабочих дискуссиях, в которых психоаналитик пытался не прийти к окончательным выводам, а выработать свои подходы к проблеме. Участие психоаналитика в ее обсуждении само по себе «знак времени», но его подход остается прежним. Даже обращаясь к проблемам, стоящим ближе к «истории» и к предпочтениям исследователя, психоаналитик всегда сосредоточен на том, что, скорее всего, проявится на уров-

не бессознательного, тогда как впервые осознанное высветит те стороны человеческого опыта, которые прежде оставались в тени. В теоретических рассуждениях я пытался показать, что в процессе этого сами термины проверяются историей. Но даже тогда, когда наш подход применяется в анализе социальных проблем, по методу он все же остается медицинским. Иначе говоря, он годится лишь для стимулирования идей специалистов разного профиля. В медицине анализ проблем личности требует привлечения «истории болезни», локализации и диагностической оценки дезинтеграции, оценки внутренних ресурсов, примерного прогноза и разработки плана лечения — все это определяется особенностями подхода, а часто и темпераментом врача. Анализ социальных проблем предполагает такое же разнообразие методов. По мере того как медицинский, социальный и исторический подходы сближаются, появляется необходимость в новых терминах; но ценность терминов определяется тем, насколько они способствуют упорядочению и установлению связей между загадочными и на первый взгляд несвязанными явлениями, такому упорядочению, которое, помимо прочего, укажет путь от хаоса и кризиса к возрождению.

Литература

Глава I

1. См.: E r i k H. E r i k s o n. «A Combat Crisis in a Marine», *Childhood and Society,* Second Edition, New York: W.W. Norton, 1963, pp. 38-47.

2. *The Letters of William James,* edited by Henry James (his son), Vol. I, Boston: The Atlantic Monthly Press, 1920, p. 199.

3. S i g m u n d F r e u d, «Address to the Society of B'nai B'rith» [1926], *Standard Edition,* 20: 273, London: Hogarth Press, 1959.

4. См. гл. VIII.

5. См. гл. IV, разд. 5.

6. См.: J o a n M. E r i k s o n, «Eye to Eye», *The Man Made Object,* Gyorgy Kepes (ed.), New York: Braziller, 1966.

7. См. гл. VIII.

Глава II

1. См. гл. V.

2. См.: *The Psychoanalytic Theory of Neurosis,* New York: W.W. Norton, 1945.

3. См.: S i g m u n d F r e u d, «On Narcissism: An Introduction» [1914], *Standard Edition,* 14: 73-102, London: Hogarth Press, 1957.

4. S i g m u n d F r e u d. *An Outline of Psychoanalysis* [1938], New York: W.W. Norton, 1949, pp. 122, 123.

5. См.: E r i k H. E r i k s o n, «Hunters Across the Prairie», *Childhood and Society,* 2nd ed., New York: W.W. Norton, 1963, pp. 114-165.

6. См.: «Hunters Across the Prairie»; also, E r i k H. E r i k s o n, «Observations on Sioux Education», *Journal of Psychology,* 7: 101-156, 1939.

7. This case history is presented in more detail in *Childhood and Society,* pp. 25-38.

8. «Civilized' Sexual Morality and Modern Nervousness» [1908], *Collected Papers,* 2: 76-99, London, Hogarth Press, 1948.

9. См.: «A Combat Crisis in A Marine», *Childhood and Society,* pp. 38-47.

10. См.: A n n a F r e u d, *The Ego and the Mechanisms of Defence* [1936], New Yourk: International Universities Press, 1946.

11. См.: H. N u n b e r s, «The Synthetic Function of the Ego» [1931], *Practice and Theory of Psychoanalysis,* New York: International Universitites Press, 1955, pp. 120-136.

12. См.: H. H a r t m a n n, E. K r i s, D. R a p a p o r t, and others in D. R a p a p o r t, *The Organization and Pathology of Thought,* New York: Columbia University Press, 1951.

13. См.: E r i k H. E r i k s o n, *Childhood and Society*, Chapter II (esp. pp. 147ff.) and Chapter IV.
14. См.: E r i k H. E r i k s o n, «Ontogeny of Ritualization in Man», *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Series B, 251: 337-349, 1966.
15. См. гл. III.

Глава III

1. См.: M a r i e J a h o d a, «Toward A Social Psychology of Mental Health», *Symposium on the Healthy Personality*, Supplement II: Problems of Infancy and Childhood, Transactions of Fourth Conference, March, 1950, M.J. E. Benn (ed.), New York: Josiah Macy, Jr. Foundation, 1950.
2. См.: E r i k H. E r i k s o n, *Childhood and Society*, 2nd ed., New York: W.W. Norton, 1963, Part I.
3. См.: J.W. M a c f a r l a n e, «Studies in Child Guidance», I, Methodology of Data Collection and Organization, *Society for Research in Child Development Monographs*, Vol. III, No. 6, 1938, pp. 254ff.; also E r i k H. E r i k s o n, «Sex Differences in the Play Configurations of Preadolescents», *American Journal of Orthopsychiatry*, 21: 667-692, 1951.
4. См.: R.A. S p i t z, *«Hospitalism»*, *The Psychoanalytic Study of the Child*, 1: 53-74, New York: International Universities Press, 1945.
5. См.: *The International Encyclopedia of the Social Sciences* (in press).
6. См.: E r i k H. E r i k s o n, «Ontogeny of Ritualization in Man», *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Series B, 251: 337-349, 1966.
7. См.: E r i k H. E r i k s o n, *Young Man Luther*, New York: W.W. Norton, 1958.

Глава IV

1. См.: G. B. S h a w, *Selected Prose*, New York: Dodd, Mead, 1952.
2. См.: F. O. M a t t h i e s s e n, *The James Family*, New York: Alfred A. Knopf, 1948, p. 209.
3. *The Letters of William James*, edited by Henry James, his son, Boston: Atlantic Monthly Press, 1920, p. 145.
4. M a t t h i e s s e n, p. 161.
5. *Ibid.*, p. 162.
6. *The Letters of William James*, p. 147.
7. *Ibid.*, p. 148. (Italics mine.)
8. *Ibid.*, p. 169.
9. См.: Child Guidance Study, Institute of Child Welfare, University of California. Footnote 3, Chapter III.
10. См.: H. H a r t m a n n, *Ego Psychology and the Problem of Adaptation*, New York: International Universities Press, 1958.
11. См.: W i l l i a m J a m e s, «The Will to Believe», *New World*, V, 1896.

12. См.: «An Experiment in Group Upbringing», *The Psychoanalytic Study of the Child*, 6: 127-168, New York: International Universities Press, 1951.
13. См.: Edward Bibring, «The Mechanism of Depression» in *Affective Disorders*, P. Greenacre (ed.), New York: International Universities Press, 1953, pp. 13-48.
14. См.: Robert Knight, «Management and Psychotherapy of the Borderline Schizophrenic Patient» in *Psychoanalytic Psychiatry and Psychology*, Austen Riggs Center, Vol. I, R. P. Knight and C. R. Friedman (eds.), New York: International Universities Press, 1954, pp. 110-122, and Margaret Brenman, «On Teasing and Being Teased: and the Problem of «Moral Masochism'» also in *Psychoanalytic Psychiatry and Psychology*, pp. 29-51.
15. См.: D. Burlingham, *Twins*, New York: International Universities Press, 1952.
16. См.: Anna Freud, *The Ego and the Mechanisms of Defence*, New York: International Universities Press, 1946.
17. См.: Kai T. Erikson, «Patient-Role and Social Uncertainty — A Dilemma of the Mentally Ill», *Psychiatry*, 20: 263-274, 1957.
18. См.: August Kubizek, *The Young Hitler I Knew*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1955.
19. См.: Erik H. Erikson, *Young Man Luther*, New York: W.W. Norton, 1958, for a partial fulfillment of this incautious announcement.
20. См.: Sigmund Freud, «The Interpretation of Dreams», *The Basic Writings of Sigmund Freud*, A.A. Brill (ed.), New York: Modern Library, 1938, pp. 195-207.
21. См.: Erik H. Erikson, «The Dream Specimen of Spychoanalysis», *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 2: 5-56, 1954.
22. Sigmund Freud, *Aus den Anfangen der Psychoanalyse*, London: Imago Publishing Co., 1950, p. 344; published in English as *The Origins of Psychoanalysis: Letters to Wilhelm Fliess, Drafts and Notes: 1887-1902*, edited by Marie Bonaparte, Anna Freud, and Ernst Kris, New York: Basic Books, 1954.
23. См.: Sigmund Freud, *The Origins of Psychoanalysis.*
24. См.: William James, «A Suggestion About Mysticism», *Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods*, 7: 85-92, 1910.
25. См.: G. B. Blaine and C. C. McArthur, *Emotional Problems of the Student*, New York: Appleton, 1961, pp. XIII-XXV.

Глава V

1. См.: George H. Mead, *Mind, Self and Society*, Chicago: Univcersity of Chicago Press, 1934.
2. См.: Harry S. Sullivan, *The Interpersonal Theory of Psychiatry*, New York: W.W. Norton, 1953.
3. См.: P. Schilder, *The Image and Appearance of the Human Body*, New York: International Universities Press, 1951.
4. См.: P. Federn, *Ego Psychology and the Psychoses*, New York: Basic Books, 1952.

5. См.: Heinz Hartmann, «Comments of the Psychoanalytic Theory of the Ego», *The Psychoanalytic Study of the Child,* 5: 74-96, New York: International Universities Press, 1950.

6. См.: Sigmund Freud, «On Narcissism: An Introduction» [1914], Standard Edition, 14: 73-102, London: Hogarth Press, 1957.

7. Sigmund Freud, «The Anatomy of the Mental Personality», Lecture 31 in *New Introductory Lectures on Psychoanalysis,* New York: W.W. Norton, 1933, pp. 95, 96.

8. Sigmund Freud, «On Narcissism», p. 101.

9. См.: Heinz Hartmann, *Ego Psychology and the Problem of Adaptation,* New York: International Universities Press, 1958.

10. H. Hartmann, E. Kris, and R. M. Loewenstein, «Some Psychoanalytic Comments on "Culture and Personality"», *Psychoanalysis and Culture,* G. B. Wilbur and W. Muensterberger (eds.), New York: International Universities Press, 1951, pp. 3-31.

11. См.: *Insight and Responsibility* (New York: W.W. Norton, 1964).

12. Anna Freud, «Indications for Child Analysis», *The Psychoanalytic Study of the Child,* 1: 27-149, New York: International Universities Press, 1945.

Глава VI

1. См.: Ernest Jones, *Hamlet and Oedipus,* New York: W.W. Norton, 1949.

2. См.: Saxo Grammaticus, *Danish History,* translated by Oliver Elton, 1894. Quoted in Jones, *op. cit.*, pp. 163, 164.

3. См.: Sigmund Freud, «Three Essays on the Theory of Sexuality», *Standard Edition,* 7: 130-243, London: Hogarth Press, 1953; and Anna Freud, *The Ego and the Mechanisms of Defense,* New York: International Universities Press, 1946. For a newer work, see Peter Blos, *On Adolescence, A Psychoanalytic Interpretation,* New York: Free Press of Glencoe, 1962.

4. См.: B. Inhelder and J. Piaget, *The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence,* News York: Basic Books, 1958.

5. См.: Jerome S. Bruner, *The Process of Education,* Cambridge: Harvard University Press, 1960.

6. См.: Erik H. Erikson, *Yound Man Luther,* New York: W.W. Norton, 1958.

7. См.: Sigmund Freud, «Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria», *Standard Edition,* 7: 7-122, London: Hogarth Press, 1953.

8. *Ibid.*, p. 50.

9. Erik H. Erikson and Kai T. Erikson, «The Confirmation of the Delinquent», *The Chicago Review,* 10: 15-23, Winter, 1957.

Глава VII

1. См.: Preface, *Youth: Change and Challenge,* Erik H. Erikson (ed.), New York: Basic Books, 1963.

2. См.: Erik H. Erikson, *Childhood and Society,* 2nd ed., New York: W.W. Norton, 1963, Chapter II.

3. См.: *Childhood and Society,* p. 88.

Глава VIII

1. Robert Penn Warren, *Who Speaks for the Negro?*, New York: Random House, 1965, p. 17.

2. W.E.B. Du Bois, *Dusk of Dawn*, New York: Harcourt, Brace & Co., 1940, pp. 130, 131.

3. См.: Howard Zinn, *SNCC, The New Abolitionists*, Boston: Beacon Press, 1964.

4. Thomas F. Pettigrew, *A Profile of the Negro American*, Princeton: Van Nostrand, 1964, p. 19. (Italics added.)

5. *Ibid.*, p. 115.

6. Kenneth B. Clark, *Dark Gretto*, New York: Harper and Row, 1965, p. 73.

7. См.: *Crisis in Black and White* (New York: Random House, 1964).

8. Ralph Ellison, *Invisible Man*, New York: Random House, 1947, p. 225.

9. Robert Penn Warren, *Who Speaks For the Negro?*, pp. 20, 21.

10. См.: Robert J. Lifton, *Thought Reform and the Psychology of Totalism*, New York: W. W. Norton, 1961.

11. См.: Robert Coles, *Children of Crisis: A Study of Courage and Fear*, Boston: Atlantic — Little, Brown, 1967, Part II, Chapter 4.

12. См.: J. Fishman and F. Solomon, «Youth and Social Action», *Journal of Social Issues*, 20: 1-27, October 1964.

Комментарии

Стр. 25. ...«эго» — одно из ключевых понятий трехчленной формулы личности по З. Фрейду («ид» — «эго» — «супер-эго»), обозначает качество личности, происходящее от Эдипова комлекса и руководствующееся принципом реальности. «Эго» включает в себя элементы опыта «ид» и внешнего мира, разума и рассудительности, страха и совестливости. «Эго» замещает для «ид» внешний мир и поэтому отчасти контролирует слепые силы «ид».

Стр. 29. ...«моральная философия» — имеются в виду идеи Джорджа Эдуарда Мура, крупнейшего реформатора этики XX века (см.: М у р. Дж. Принципы этики. М., 1984).

Стр. 35. ...«психосоциальный мониторинг» — по Э. Эриксону, кризисный период между юностью и взрослостью, в течение которого в личности происходят многомерные сложные процессы обретения взрослой идентичности и нового отношения к миру. Согласно Э. Эриксону, психосоциальный мораторий может, при определенных условиях, принимать затяжной характер и длиться годами, что особенно характерно для наиболее одаренных людей. Непреодоленный кризис влечет состояние «диффузии идентичности», которая составляет основу специфической патологии юношеского возраста. В предельных случаях психосоциальный мораторий и «диффузия идентичности» сами по себе предполагают целесообразность применения соответствующих психотерапевтических мер.

Стр. 45. ...«маккартизм» — реакционное течение в жизни США начала 50-х годов, получившее свое название от имени сенатора-республиканца от штата Висконсин Джожефа Рэймонда Маккарти. С 1953 года Маккарти, занимая пост председателя сенатской комиссии по вопросам деятельности правительственных учреждений и ее постоянной подкомиссии по расследованиям, резко выступил за усиление «холодной войны», принятие антидемократического законодательства. 2 декабря 1954 года Сенат вынес решение, порицавшее поведение Маккарти.

Стр. 54. ...«эго-психология» — одно из направлений психоанализа, сформировавшееся под влиянием идей и трудов последователей З. Фрейда — его дочери Анны Фрейд и Гейнца Гартмана, — поставившее в центр своих исследований проблемы человеческого «я». Основные идеи «эго-психологии» отрабатывались на материале детского психоанализа и исследований личностной проблематики. При изучении человеческого «я» «эго-психология» уделяет особое внимание вопросам развития и адаптации личности, автономии, свободы и особенностям функционирования «я», взаимодействию «я» и влечений. С момента формирования «эго-психологии» в ней развиваются две доминирующие версии. В версии А.

Фрейд и ее последователей «эго-психология» акцентирует внимание на изучении «я» и его «защитных механизмов»; в версии Г. Гартмана и его последователей «эго-психология» исследует преимущественно вторичные функции «я» (рациональное мышление, рациональные действия и другие проблемы).

Стр. 55. ...«ид» — одно из ключевых понятий трехчленной формулы личности по З. Фрейду («ид» — «эго» — «супер-эго»), обозначает главенствующую сферу личности, руководствующуюся принципом удовольствия. Это — неорганизованная, но единая сила (включающая сферу бессознательного).

Стр. 55. ...«супер-эго» — одно из ключевых понятий трехчленной формулы личности по З. Фрейду («ид» — «эго» — «супер-эго»), как сфера личности возникает на основе «эго» под влиянием чувств раскаяния и вины и является преимущественно продуктом культуры. Эта сфера руководствуется принципом реальности и включает в себя совестливость, моральные чувства и пр. «Супер-эго» осуществляет посредничество между «ид» и «эго» и пребывает в постоянном конфликте с «эго».

Стр. 55. ...«нарциссизм» («аутоэротизм», «нарцизм») — самовлюбленность. Термин Х. Эллиса, которым З. Фрейд обозначал состояние и направленность либидо на «я». По З. Фрейду, нарциссизм является нормальной стадией полового развития, характеризующейся отождествлением объекта и субъекта любви. Одной из отличительных черт невротиков является их задержка на этой стадии психосексуального развития. Представление о нарциссизме и соответствующее понятие восходят к древнегреческому мифу о красивом юноше Нарциссе, который, увидев свое отражение в воде, влюбился в него, от этой любви умер и был превращен богами в цветок нарцисс. Обычно понятие нарциссизма употребляется как синоним самовлюбленности, хотя довольно часто оно используется как обозначение и символ человеческого самопознания.

Стр. 68. ...«архетип» — термин аналитической психологии К. Юнга, обозначающий суть, форму и способ связи наследуемых бессознательных первичных человеческих первообразов и структур психики, обеспечивающих основу поведения, структурирование личности, понимание мира, внутреннее единство и взаимосвязь человеческой культуры и взаимопонимание людей. По К. Юнгу, архетипы лежат в основе символики творчества, ритуалов, мифов, сказок, сновидений, комплексов и т.д.

Стр. 68. ...«гештальт» — (от нем. Gestalt — образ, структура, целостная форма) — одно из основных понятий гештальтпсихологии, описывающее качественно своеобразных, несводимых к совокупности частных образов, или психологических структур.

Стр. 74. ...«сопротивление» — по Фрейду, сила и процесс, производящие вытеснения и поддерживающие его посредством противодействия переходу представлений и симптомов из бессознательного в сознание.

Стр. 75. ...«перенесение» («трансфер») — спонтанное отношение человека к человеку, характеризующееся бессознательным переносом на него сформировавшихся ранее в результате предшествующего взаимодействия с другими людьми положительных или отрицательных чувств. В психоанализе открытому З. Фрейдом явлению трансфера придавалось особое значение как средству и способу, оказывающему мощное психо-

терапевтическое воздействие в процессе психоаналитического лечения. В этом плане перенесение понималось как формирующееся в ходе психоаналитических сеансов особое отношение больного к лицу, проводящему психоанализ.

Стр. 76. ...«псевдология» – вид лжи, когда лгут, будучи по крайней мере временно убеждены в том, что говорят правду.

Стр. 76. ...«эго-тревога» — тревога, испытываемая «эго».

Стр. 80. ...«объектное либидо» — либидо, привязанное к сексуальным объектам.

Стр. 84. ...«фрустрация» – психическое состояние переживания неудачи, возникающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к достижению цели.

Стр. 84. ...«толерантность» — (от лат. tolerantia – терпение) — отсутствие или ослабленное реагирование на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию.

Стр. 86. ...«авторитарная личность» — понятие, фиксирующее и объясняющее существование особого типа личности, который является основой тоталитарных режимов. По Э. Фромму, для этого типа личности характерны жажда самоутверждения и власти, агрессивность, ориентация на авторитет лидера, группы и государства, стереотипность мышления и конформизм и др.

Стр. 100. ...«витальный» — жизненный, живой, принципиально несводимый к силам и законам неживой природы.

Стр. 108. ...«фрустрационная толерантность» — способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты своей психологической адаптации; в основе ее лежит способность человека адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидения выхода из ситуации — с другой.

Стр. 109. ...«модальность» — способ существования какого-либо объекта или протекания какого-либо явления, или же способ понимания суждений об объекте, явлении или событии.

Стр. 109. ...«модус» — свойство предмета, присущее ему только в некоторых состояниях (в отличие от атрибутов как неотъемлемых свойств предметов).

Примечание

При составлении данных комментариев использованы следующие литературные источники:

Краткий психологический словарь. Под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. М., 1985.

Овчаренко В.И. Психоаналитический глоссарий. М., 1994.

Психологический словарь. Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и др. М., 1983.

Райнкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. СПб., 1995.

Сэмьюэлз Э., Шортер Б., Плот Ф. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга. М., 1994.

Оглавление

Эрик Эриксон

ИДЕНТИЧНОСТЬ: ЮНОСТЬ И КРИЗИС